

Шкапъ <u>Ш</u> Полка У № **3**/36.

89-278.

950

Въ память имист Рицы ЕНАТЕРИНЫ II, 4-хъ классное городское училище. СПБ., Миргородская д. 16—5.

1-е МУКСКОР

ВЪ ПАМЯТЬ И ПЕРАТРИЦЫ

ЕКАТЕРИНЫ II,

1-хъ классное городское училище.

СПБ., Миргородская д. 16—5.

89-278

Библіотека "СВЪТОЧА"

подъ редакціей С. А. Венгерова.

NºNº 71-75.

Пкапь Полка Ns 31/36

Проф. Н. А. КОТЛЯРЕВСКІЙ.

89-48Литературныя

W B Jamstol u

направленія



1 348

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЭПОХИ.

Цпона 1 р. 25 н.



1-е МУЖСКОЕ
ВЪ ПАМЯТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ II,
4-хъ классное городское училище.

СПБ., Миргородская д. 16-5.

С.-ИЕТЕРБУРГЪ.
 Типо-Литографія А. Э. Винеке, Екатерингофскій пр., № 15.
 1907.

Broom H. A. COTUSPERENT

«Литературныя

направленія

A. IEKCAH APOBUKON BIOXIL



1-е МУЖСКОЕ
ВЪ ПАППТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕКАТЕРИНЫ II,
4-хъ классное городское училище.

СПБ., Миргородская д. 16—5.

Предиеловіе.

Книга эта написана по слъдующему поводу. За многіе годы моей преподавательской дъятельности, мнъ часто приходилось встръчаться съ однимъ требованіемъ слушателей, которое ставило меня всегда въ большое затрудненіе. "Укажите намъ, — говорили мнъ слушатели, — такую книгу, которая, при наименьшей затрать времени съ нашей стороны дала бы намъ связный очеркъ развитія русской литературы за протекшее стольтіе". Требованіе это было, конечно, вполнъ законное. Сначала слова "при наименьшей затрать времени" были мнъ непріятны, такъ какъ я въ нихъ предполагалъ желаніе поскоръй отдълаться отъ предмета, съ которымъ, на мой взглядъ, каждый русскій челов'якъ долженъ знакомиться подробно, въ деталяхъ, въ возможной полнотъ. Мнъ пришлось, однако, скоро измънить мое мнъніе, когда аудиторія моя стала расширяться. Пока я преподавадъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, я могъ требовать исключительнаго вниманія къ моему предмету, но когда вольная аудиторія стала наполняться публикой самыхъ различныхъ профессій, учениками и ученицами средней школы, учениками разныхъ профессіональныхъ училищъ, наконецъ, рабочими, мнъ естественно пришлось подумать объ экономіи ихъ времени. Когда за день имъешь дватри часа свободныхъ, которые надлежить употребить на самообразованіе, поневолъ, прежде чъмъ читать книгу, посмотришь, сколько въ ней страницъ и какой матерьялъ въ нее вложенъ.

Составляя такія программы для самообразованія по исторіи русской литературы XIX вѣка, я очутился передъ почти невыполнимой залачей.

Первое, что надлежало опредълить, это быль размъръ литературнаго чтенія. Какихъ авторовъ читать, и

какихъ не читать? и какія произведенія опредъленнаго автора—читать, а какія обойти?

Второе—надлежало найдти учебникъ самый краткій и самый полный, т. е. среди десятковъ книгъ надле-

жало найдти самую "подходящую".

Наконецъ, нужно же было по каждому, въ особенности классическому писателю, указать такъ называемую "литературу предмета", т. е. опять-таки найдти самое "подходящее" теперь уже не изъ десятковъ, а изъ сотенъ статей и книгъ. При выполнени всъхъ этихъ трехъ задачъ надлежало кромъ того неуклонно дер-

жаться минимума.

Первая задача способна отдать преподавателя въ жертву страшнымъ угрызеніямъ совъсти. Возмнить себя безконтрольнымъ судьей надъ всеми русскими писателями и ихъ произведеніями-едва ли ръшишься, даже имъя на то всъ юридическія права. Ставить надъ однимъ произведеніемъ "да", надъ другимъ "нътъ", наконецъ, поставить "нътъ" надъ цълымъ авторомъ – для этого нужна особая смёлость. А между тёмъ, нётъ сомнёнія, что этой смълостью обладать нужно. Конечно, когда рѣчь заходить о первоклассныхъ писателяхъ, то машинально повторяещь нъсколько именъ, къ сочетанію звуковъ которыхъ какъ-то привыкъ. Но трудность даетъ себя чувствовать когда переходишь къ второстепеннымъ, уже потому, что относительно нѣкоторыхъ писателей такъ и не знаешь, въ какой разрядъ ихъ отчислить- въ разрядъ первоклассныхъ или второго сорта-за неимъніемъ въсовъ, на которыхъ можно талантъ взвъшивать. А сортировать надо.

Трудность возрастаеть, когда оть сортировки авторовь переходишь къ сортировкъ ихъ произведеній. Пока дъло идеть о критикахъ и публицистахъ, то здѣсь можно еще руководиться серьезностью или историческимъ значеніемъ затронутаго ими вопроса, но когда приходится дълать выборъ изъ полнаго собранія сочиненій худож-

ника-беллетриста или поэта, то поневодъ готовъ сказать такъ, какъ отвъчають иногда педагоги, которымъ такіе вопросы наловли: "Читайте все, что написано нашими классиками". Совъть, конечно, очень хорошій, когда читатель не стъсненъ временемъ, но не всегда достигающій ціли даже и при этомъ условіи. Мніз очень часто приходилось встрвчаться со слушателями. которые заявляли, что у нихъ не хватало терпънія, а потомъ и желанія читать, наприміть, всего Жуковскаго, всего Лермонтова, даже всего Пушкина. "Всего Тургенева и Толстого, - говорили они, - еще можно прочитать, Достоевскаго уже труднъе, а на чтеніе всего Писемскаго и всего Шедрина терпънія уже не хватаетъ" – и слушатели были правы. И намъ, преподавателямъ и спеціалистамъ д'вла, трудно и скучно читать, такъ называемыя, полныя собранія сочиненій даже весьма извъстныхъ авторовъ, въ особенности старыхъ. Но преподаватель читаеть, зная все-таки, кого онъ читаеть; если же тоть, кто въ первый разъ знакомится съ такимъ старымъ, хотя бы и очень извъстнымъ авторомъ, начнеть его читать съ первой страницы, то я готовъ върить, что книга можетъ выпасть изъ его рукъ до окончанія перваго тома. Я им'влъ возможность провърить это, когда мнъ возвращали полныя собранія сочиненій Жуковскаго, Пушкина, Лермонтова, Баратынскаго и другихъ, которыя я давалъ неподготовленнымъ слушателямъ. Книги были разръзаны лишь на первыхъ листахъ, и каждый, возвращая ихъ, просилъ съ довольно сердитымъ видомъ отмътить карандашемъ то, что читать должно.

Казалось бы, что хрестоматіи могли бы въ данномъ случав прійти на помощь и, конечно, до изв'єстной степени он'в помогають, но если въ подныхъ собраніяхъ сочиненій дано слишкомъ много, то въ хрестоматіяхъ

дано слишкомъ мало.

Вторая, и неменьшая трудность, это—указаніе учебника. Учебниковъ новой русской литературы у насъмного, отъ краткихъ до достаточно объемистыхъ. Входить въ ихъ оцѣнку я не стану, а выскажу только нѣсколько общихъ соображеній, на которыя меня навело знакомство съ ними и разговоры по поводу нихъ со слу-

шателями. Нътъ, конечно, большей муки для спеціалиста, какъ читать внимательно учебникъ—здъсь для ума и души ничего не получишь. Но я боюсь, что и средній слушатель не получить того, что ему нужно.

Всѣ наши учебники, болѣе или менѣе удовлетворяющіе своей задачѣ, писались для средней школы, т. е. имѣлось въ виду, что учитель на каждомъ урокѣ будетъ разъяснять этотъ учебникъ, вычеркивать изъ него, что не нужно, добавлять то, чего нѣтъ въ немъ, подкрашивать всѣ облѣзлыя мѣста, что онъ вообще сдѣлаетъ эти литературные консервы вполнѣ съѣдобными и вкусными. Такъ оно всегда на самомъ дѣлѣ и бываетъ, и учитель, точно придерживающійся учебника, неминуемо рискуетъ потерять свой престижъ. Такимъ образомъ, ученикъ и учитель въ концѣ концовъ смотрятъ на учебникъ далеко не дружелюбными глазами. Нужно признаться, впрочемъ, что установившаяся форма учебниковъ заслуживаетъ такого отношенія, и виноваты въ этомъ, конечно, не составители учебниковъ, а про-

граммы.

Кром' того наши учебники заран' какъ будто предполагають, что всв ученики непременно поступять на филологическій факультеть, чтобы стать спеціалистами по русской литературь, или они предполагають, что ни одинъ изъ учениковъ на филологическій факультеть не поступить и потому спъщать на всю жизнь снабдить ихъ достаточнымъ количествомъ знаній. Но цъль не достигается, потому что вмъсто знанія дается огромное количество механически сгруппированныхъ свъдъній. Книга пестрить именами и заглавіями сочиненій и хронологическими датами, которыя ученикъ береть памятью, съ бою. Спрашивается, нужно ли такое обиліе св'ядіній для перваго знакомства съ исторіей дитературы? Въдь все-таки самое цънное въ этой исторіи есть художественное творчество крупныхъ талантовъ. Зачъмъ заставлять ихъ теряться въ толиъ талантовъ болве слабыхъ или даже совсвмъ посредственныхъ? Экономія времени и м'вста, которую при такомъ грузномъ матерьялъ долженъ соблюдать составитель учебника, заставляеть его обсчитывать крупныхъ людей въ пользу менве яркихъ, и стоить въ любомъ учебникъ

просмотрѣть отдѣлы, посвященные, напримѣръ, Жуковскому, Пушкину, Лермонтову, Гоголю, и другимъ корифеямъ нашей словесности, чтобы убѣдиться, что сказаннаго объ этихъ художникахъ недостаточно для полной и яркой ихъ характеристики.

Наконецъ, составитель учебника почти всегда расширяеть до возможныхъ предъловъ понятіе о "литературъ". Въ ея область онъ зачисляеть и церковное краснорвчіе, и политическіе трактаты, иногла ученыя сочиненія, им'вющія изв'єстную дитературную стоимость. публицистику, критику, переводную дитературу и многое другое. Нъть сомнънія, что все это имъеть свое значеніе въ исторіи нашей культуры, но по праву ли оно занимаеть мъсто въ исторіи литературы? Не дучше ли добрую половину всего этого перенести въ учебникъ исторіи или, наконецъ, создать особый предметъ, очень и давно желательный въ нашей средней школъ, а именно-исторію русской общественной мысли? Но если ужъ удълять всъмъ перечисленнымъ отраслямъ писательской дъятельности мъсто въ исторіи словесности, то отнюдь уже не столь обширное, какое обыкновенно отводится.

Всв эти недочеты учебника учитель можеть однако до извъстной степени исправить въ классъ. Но какъ быть, когда съ просьбой объ учебникъ обращается ученикъ, который осужденъ на самообразованіе? Дайте ему любой учебникъ-и литература въ тъсномъ смыслъ этого слова потонеть для него въ общей массъ словеснаго производства: въ глазахъ у него зарябитъ отъ огромнаго количества именъ ему совершенно неизвъстныхъ авторовъ и заглавій книгъ, которыхъ онъ не читалъ и никогда не прочтетъ. Наконецъ, истинные мастера слова предстанутъ передъ нимъ въ такомъ видъ, что едва ли онъ почувствуеть всю силу ихъ мысли и фантазіи, всю глубину ихъ настроенія. Самъ учащійся предугадываеть свое разочарование и обыкновенно послѣ просьбы объ учебникѣ сейчасъ же просить указать ему по каждому крупному писателю подходящую литературу предмета. Для преподавателя начинается третье испытаніе.

Ему надлежить изъ необъятнаго количества книгъ и статей выбрать самое существенное. Повидимому недостатка въ матерьялъ нътъ, но при подборъ его замъчается слъдующее. За ръдкимъ исключениемъ, почти всѣ крупные наши писатели и по сію пору ждуть біографовъ и комментаторовъ. Есть біографы, но они не комментаторы, а лишь разсказчики, и притомъ крайне добросовъстные, неутомимые и потому требующіе отъ читателя столь же неутомимаго интереса. Такія біографіи въ двадцать слишкомъ листовъ нельзя давать начинающимъ. Есть комментаторы, иногда очень талантливые, которые того или другого писателя дълаютъ предметомъ обследованія въ интересахъ разныхъ идей, имъ, т. е., комментаторамъ, дорогихъ. Такія книги или статьи предполагають уже подробное знакомство съ разбираемымъ авторомъ и кромъ того въ большинствъ случаевъ онъ очень субъективны. Такія книги и статьи вполнъ годятся для самообразованія, въ общемъ смыслъ слова, но едва ли онъ пригодны для перваго знакомства съ писателемъ: онъ слишкомъ налегаютъ на читателя и дають мало простора его собственному сужденію. Наконецъ, существуєть цълая масса цънныхъ работъ, разъясняющихъ отдъльные вопросы жизни и творчества того или другого писателя. Въ этихъ статьяхъ и книгахъ, разрабатывающихъ детали, заключенъ очень богатый матерьяль и очень много научныхъ выводовъ, которые, сведенные во-едино, могли бы дать исчерпывающую оцънку творчества и полную картину жизни многихъ писателей, но этотъ трудъ-а именно сведеніе итоговъпока еще не сдъланъ. Давать же въ руки учащагося списокъ статей, въ которыхъ разработаны детали вопроса-ему пока еще незнакомаго-безполезно. Онъ не сможеть сгруппировать эти детали въ цъльную картину и въ нихъ неизбъжно запутается.

Итакъ, вотъ съ какими трудностями приходится считаться преподавателю новой русской литературы, когда онъ имъетъ дъло со смъщанной аудиторіей, для которой экономія времени—вопросъ очень важный.

И можеть прійти педагогу въ голову мысль—какъ хорошо было бы, если бы подъ руками имълась книга небольшого размъра, въ которой всъ три указанныя

трудности были бы облегчены, насколько это возможно. Въ такой книгъ должны были бы быть указаны: во 1-хъ, тъ писатели, знакомство съ которыми всякому образованному человъку обязательно; во 2-хъ, указаны тъ сочиненія авторовъ, въ которыхъ исторія ихъ творчества, ихъ идей и настроенія всего ярче отражается. Эти свъдьнія должны быть, въ 3-хъ, даны въ формъ связнаго разсказа, по формъ своей не похожаго на учебникъ, но способнаго до извъстной степени замънить его. Наконецъ, въ 4-хъ, въ этомъ разсказъ должны быть сгруппированы тъ выводы, къ какимъ пришла наука и критика въ оцънкъ творчества того или другого художника.

Такая книжка, если бы она когда-нибудь была написана, была бы весьма пригодна для перваго ознакомленія съ предметомъ, и пусть она не давала бы большого запаса знаній, она во всякомъ случаѣ могла бы пробудить вкусъ и интересъ къ судьбамъ нашей сло-

весности въ ея прошломъ.

Очертанія такой книги рисовались мнѣ, когда я принимался за свою работу; теперь, когда часть этой работы окончена, я вижу, насколько исполненное далеко оть желаемаго. Впрочемъ, иначе оно и быть не могло: настоящая работа есть лишь первый опыть въ новомъ направленіи и, конечно, надо произвести много такихъ опытовъ и не одному лицу, а многимъ, прежде чѣмъ опредѣлится типъ такой общеобразовательной книжки, которая удовлетворила бы всѣмъ вышеизложеннымъ требованіямъ.

Сознавая всё недостатки своей работы, я все-таки считаю нужнымъ указать на основныя мысли, какія я

положилъ въ ея основаніе.

Первая и руководящая мысль въ томъ, что исторія литературы есть прежде всего исторія художественнаго творчества и потому первое мѣсто въ ней должно принадлежать памятникамъ съ истинно художественной цѣнностью. Я пошелъ дальше и въ свою книгу включилъ только такіе памятники, отстранивъ всѣ остальные. Мѣрило художественности всегда очень субъективно, но если число разобранныхъ въ книгѣ памятниковъможетъ быть увеличено, то я надѣюсь, что уменьшено оно ни въ коемъ случаѣ быть не можетъ.

Я намъревался, такимъ образомъ, говорить лишь о художникахъ и о памятникахъ искусства, но это не значить, что я цънилъ въ нихъ только одну лишь красоту. Я полагалъ наоборотъ, что каждый литературный памятникъ долженъ быть оцъненъ прежде всего какъ историческій памятникъ эпохи, и какъ документъ, объясняющій психику поэта. Въ виду этого становилось неизбъжнымъ ввести въ разсказъ историческую переспективу и біографическія данныя. Эти части работы выполнены мною съ наивозможной краткостью. Да и число упомянутыхъ художниковъ весьма не велико, но я думаю, что въ годы, о которыхъ идетъ ръчь, —другихъ и не было.

Всв второстепенные белетристы и поэты, всв критики, публицисты и политическіе писатели—умышленно мною опущены, какъ не имъющіе прямого отношенія къ развитію художественнаго слова. Страннымъ можеть показаться отсутствіе Карамзина, но мнъ кажется, чго если въ его сочиненіяхъ была крупица истинной поэзіи, то она всецьло растворилась въ поэзіи Жуковскаго.

Выдъливъ художниковъ, надлежало выдълить изъ ихъ сочиненій то, что мнъ казалось наиболье цыньмъ и характернымъ. Это "цыное" (опять-таки количество его можно увеличить, но уменьшить нельзя) поименовано въ тексты и частью перепечатано. Тыхъ, для кого эта книга предназначается, я просиль бы непремыно прочитать всь отмыченныя сочиненія, прерывая чтеніе самой книги. Чтеніе полныхъ собраній сочиненій подрядъ я никогда бы не рекомендоваль начинающему, хотя бы рычь шла о самомъ Пушкинъ.

Отмътивъ произведенія, миъ надлежало по нимъ возстановить исторію творчества художниковъ и исторію развитія словеснаго искусства вообще. Сдълать это нужно было, считаясь, конечно, съ выводами критики и науки. На эти выводы я и опирался, но считалъ совершенно излишнимъ въ такой книгъ, какъ моя, дълать какія-либо ссылки. Въ "Общемъ обзоръ" (Глава Х) читатель найдетъ тъ выводы, за которые лишь я одинъ отвъчаю.

Поясненія иностранных словъ я не давалъ, считая большинство изъ нихъ общеизвъстными и полагая, что

при современномъ обиліи энциклопедическихъ словарей всегда легко навести справку, а такія справки, на мой взглядъ, для начинающаго будуть очень полезны. Книгъ и статей общаго содержанія по исторіи эпохи, о которой идетъ рѣчь, я тоже не указывалъ, такъ какъ онѣ указаны С. А. Венгеровымъ и мной въ петербургскихъ программахъ для самообразованія. ("Программы чтенія для самообразованія", Спб., 1905, Изд. 5-е).

Въ заключение я очень просилъ бы всѣхъ заинтересованныхъ въ нашемъ дѣлѣ лицъ сообщить мнѣ свои замѣчанія, которыя не пропадуть, если этой книжкѣ суждено дожить до второго изданія.

(Опб. Кабинетская 12, кв. 8).

Несторъ Котляревскій.

1-e MYCKOE ВЪ ПАМЯТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ - В СТЕРИНЫ И 4-хъ классное городское училище.

an tiput altimon principalità di presidente della contrata di presidente СПБ., Миргородская д. 16—5. about a constitutive and now a constitutive of the constitution of

І. Когда родилась наша изящная словесность.

1. Исторію челов'яческой жизни, для удобства ея обозрънія, принято обыкновенно дълить на стольтія. Дъленіе это представляетъ безспорно нъкоторыя удобства, такъ какъ и взгляды, и нравы людей, и строй ихъ общественной и политической жизни за столътній промежутокъ времени существенно мѣняются. Но перемъны во внутреннемъ и внъшнемъ строъ человъческой жизни происходятъ медленно, и старое сливается съ новымъ и переходитъ въ новое не сразу, а постепенно. Даже тъ историческія событія первостепенной важности, съ которыхъ мы начинаемъ новый счетъ цѣлыхъ историческихъ эпохъ, какъ напримъръ, христіанская проповъдь, паденіе римской имперіи, возрожденіе классическаго міросозерцанія, реформація, великая революція-при ближайшемъ изученіи теряютъ свой характеръ новизны и представляются простымъ неизбъжнымъ продолжениемъ и слъдствиемъ того стараго, которое они отрицаютъ и, навсегда или на время, уничтожають. Жизнь человъчества есть непрерывная цъпь причинъ и слъдствій, и если мы эту цъпь разсъкаемъ и дълимъ на части, то мы должны помнить, что мы это дълаемъ для удобства обозрънія и что на самомъ дълъ самое новое и неожиданное въ исторіи есть лишь наиболъе яркое выражение давно ожидаемаго и неизбъжнаго. Если это справедливо въ отношеніи къ цълымъ

Security of the property of the second security of the second sec A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

эпохамъ исторіи, то еще болѣе справедливо примѣнительно къ тѣмъ болѣе мелкимъ подраздѣленіямъ нашей жизни на періоды, которыя мы называемъ "столѣтіями". При такомъ мелкомъ дѣленіи жизни на вѣка или столѣтія встрѣчается еще и другая трудность: очень рѣдко новое направленіе жизни совпадаетъ съ первыми годами новаго столѣтія. Иногда то новое, которое характеризуетъ какой-нибудь вѣкъ, сказывается уже совершенно опредѣленно и ясно въ концѣ, или въ серединѣ вѣка предшествующаго, и историкъ, говоря о какомъ-нибудь "вѣкъ", долженъ подразумѣвать нѣсколько иную серію лѣтъ, чѣмъ та, которая укладывается въ рамки круглаго столѣтія: 1701—1800, 1801—1900 и т. д.

2. Эти соображенія не должно упускать изъ виду когда дізлишь на періоды и нашу отечественную исторію. Обычное ея дізленіе на древнюю, до Петра Великаго, и на новую — со времени его реформы — вполніз удобно и допустимо, если помнить, что реформа Петра во всізхъ ея частяхъ была уже вполніз намізчена въ XVII візкіз, и самъ Петръ, являясь новаторомъ и реформаторомъ, быль въ то же время завершителемъ и исполнителемъ уже назрізвшихъ потребностей. Случай захотізль, что "реформа" совпала съ самымъ концомъ XVII візка и съ первыми годами візка новаго.

Такой же случайностью было и совпаденіе первыхъ пътъ царствованія императора Александра Павловича съ первыми годами наступавшаго девятнадцатаго стольтія. Съ этихъ первыхъ лътъ XIX въка привыкли мы также начинать счетъ особаго періода въ нашей исторіи. Но всъ отличительныя и характерныя черты нашей политической и общественной жизни при императоръ Александръ Павловичъ достаточно ясно обрисовались еще при Петръ, при Елисаветъ и, въ особенности, при Екатеринъ II. Симпатіи къ Западу, либерализмъ въ политикъ внутренней, затъмъ побъда консервативной программы, господствовавшее тогда въ интеллигентномъ обществъ сентиментальное міропониманіе, пробужденіе критическаго отношенія къ дъйствительности, ростъ религіозной свободной мысли и тяготъніе къ

постановкъ философскихъ вопросовъ - всъ эти черты нашей жизни, ярко проступившія наружу въ царствованіе Александра I, отчетливо нам'ячены уже въ XVIII въкъ. Симпатіи Екатерины II къ западной цивилизаціи, ея увлеченіе западной свободомыслящей литературой и публицисткой, ея "Наказъ" и затъмъ преследование всякой смелой общественной мысли бросають немалый свъть на аналогичное поведение ея внука въ вопросахъ внъшней и внутренней политики его времени. Такъ же точно литературная дъятельность Карамзина, вполнъ закончившаяся въ Екатерининское царствованіе, религіозно-нравственные кружки массонскіе и піэтистическіе и ростъ общественной и критической мысли въ сатиръ Новикова, въ комедіяхъ Фонвизина, въ публицистикъ Радищева-должны намь объяснить возможность расцвъта въ началъ XIX въка сентиментализма, религіозно-нравственной мысли и либеральной общественной тенденціи. Связь Александровской эпохи съ XVIII въкомъ-связь самая тъсная, тъмъ болъе, что внутренній укладъ нашей жизни крѣпостной строй и административная централизація остаются въ объ эти эпохи неизмънными.

3. Нъсколько иначе обстоитъ дъло, когда мы суживаемъ нашу точку зрѣнія и, говоря о періодахъ развитія нашей жизни, имъемъ въ виду не всю жизнь въ ея совокупности, а лишь отражение этой жизни въ памятникахъ искусства и, главнымъ образомъ, въ памятникахъ словесности. Когда мы говоримъ объ эпохахъ въ развити русской литературы, то установление такихъ эпохъ можеть быть сдълано съ нъсколько большей опредъленностью. Конечно, всякое литературное теченіе, всякое направленіе художественной мысли и пріемы ея выраженія никогда не бывають явленіями случайными: какъ все въ жизни, и они являются звеномъ въ общемъ органическомъ развити; и литературное теченіе, которое мы пріурочиваемъ къ какомунибудь въку, такъ же точно можетъ корениться своими началами и достичь вполнъ яснаго выраженія въ годы, предшествующіе этому в'єку, задолго до числового нарожденія его въ нашемъ лътосчисленіи. Но въ исторіи развитія искусства самое главное есть все-таки само искусство, т. е. бол'є или мен'є совершенный плодъ того, что называется "эстетическимъ отношеніємъ" челов'єка къ окружающей его жизни. Матеріалъ для искусства даетъ, конечно, сама жизнь, но жудожественная обработка этого матеріала зависитъ отъ степени талантливости самихъ художниковъ. Появленіе такихъ талантовъ значительно облегчаетъ д'ъленія исторіи литературы на періоды, хотя трудность д'ъленія

этимъ не вполнъ устраняется.

Таланты могутъ родиться, но могутъ и не родиться, могутъ появиться въ изобиліи или въ очень ограниченномъ числъ. Бываютъ великія эпохи жизни, которыя не находять себъ непосредственнаго отраженія въ искусствъ, какъ, напримъръ, эпоха великой французской революціи, или находять отраженіе слабое, несоотвътствующее своему содержанію, какъ, напримъръ, у насъ въ Россіи, годы общественнаго броженія, предшествовавшіе эпох'в великих в реформъ (1848—1855). Случается наоборотъ, что совсъмъ вялая по общественному настроенію эпоха изобилуетъ талантами, какъ, напримъръ, въ Германіи конецъ XVIII въка и начало XIX-го, или у насъ эпоха Николаевскаго царствованія. Наконецъ. многое зависить и отъ размъра силы этихъ талантовъ. Бываютъ періоды, когда талантовъ много, но когда среди нихъ нътъ художника первоклассной силы.

Въ виду всего этого, установленіе періодовъ въ исторіи развитія изящной литературы также дѣло не легкое. Всегда рискуешь внести въ это дѣленіе много произвольнаго, или обратить его въ дѣленіе чисто внѣшнее, по царствованіямъ, по десятилѣтіямъ, по хронологической послѣдовательности появленія тѣхъ или другихъ литературныхъ памятниковъ.

4. Если им'єть въ виду лишь ближайшія къ намъ времена, то исторію русской словесности отъ Петра до нашихъ дней можно разд'єлить на два періода: на періодъ, когда литературный нашъ языкъ медленно слагался и когда настоящихъ художниковъ слова у насъ еще не было; и на періодъ, когда литературный языкъ былъ выработанъ и когда такіе истинные художники народились.

Первая эпоха обнимаеть весь XVIII въкъ, въкъ Ломоносова, Сумарокова, Екатерины II, Новикова, Радищева, Фонвизина, Державина и Карамзина; второй періодъ начинается съ первыхъ годовъ XIX столътія, съ расцвъта творчества Жуковскаго и длится по сію пору!

Дъйствительно, въ XVIII въкъ нашъ литературчый языкъ переживалъ годы медленнаго и труднаго развитія, постепенно освобождаясь отъ славяно-русской старины и отъ вліянія иноземнаго. Но до Жуковскаго и Батюшкова этотъ языкъ не обладалъ достаточной гибкостью, образностью, самобытно-русскимъ богатствомъ словъ и оборотовъ, несмотря на писательскій талантъ Ломоносова, Фонвизина и Державина. Даже языкъ Карамзина не можетъ назваться вполнъ художе+ ственной русской рѣчью, не смотря на всѣ свои стилистическія достоинства. Лексиконъ Карамзина ограниченъ, иностранныхъ оборотовъ въ его языкъ много и плавность его стиля монотонна, изысканна и малоестественна. XVIII въкъ не располагалъ художественной ръчью ни для стиховъ, ни для прозы. Не знавалъ онъ и истинныхъ художниковъ. Нельзя, конечно, отрицать большой поэтической силы въ нъкоторыхъ одахъ Ломоносова и Державина; нельзя не признать трезвое, реальное воспроизведение жизни въ нъкоторыхъ сценахъ комедій Фонвизина и на нъкоторыхъ страницахъ Новиковской сатиры, -- но всъ наши самые талантливые писатели XVIII въка все-таки истинными художниками не были. Имъ всъмъ недоставало истиннаго художническаго темперамента, который не позволялъ бы имъ мънять свою роль художника на роль проповъдника или "увеселяющаго" разсказчика. Наши писатели XVIII въка были въ большой степени дидактики, которые цънили въ своемъ творчествъ всего больше то назиданіе, которое въ немъ заключалось. Кромъ того, они находились еще подъ сильнымъ вліяніемъ писателей западныхъ, у которыхъ заимствовали содержание своихъ произведеній, часто совству не совпадавшее съ нашей жизнью.

Писатель XVIII въка, иногда при большомъ природномъ дарованіи, не умълъ свободно, художнически овлад'ять жизнью, изъ которой онъ пытался взять содержаніе для своихъ произведеній, и, кром'я того, въ его распоряженіи не было еще вполн'я литературнаго, гибкаго, самобытнаго и богатаго литературнаго языка. Наши истинные художники слова народились и развились въ XIX стол'ятіи, и первый изъ нихъ былъ Жуковскій.

5. Въ этомъ смыслѣ все XIX столѣтіе отъ Жуковскаго до нашихъ дней можетъ быть признано за одну цѣльную и связную эпоху, отличительными чертами которой являются, во-первыхъ, обиліе вполнѣ художественныхъ произведеній словесности, удовлетворяющихъ, какъ искусство, всѣмъ строгимъ его правиламъ и, во-вторыхъ, истинно литературный языкъ, достигшій въ необычайно короткій срокъ уже въ произведеніяхъ Пушкина степени высокаго совершенства.

Если эту длинную эпоху литературнаго развитія, обнимающую свыше ста л'єть, мы пожелали бы, въ свою очередь, разд'єлить на періоды, то намъ при такомъ д'єленіи сл'єдуеть держаться уже не т'єхъ соображеній, на основаніи которыхъ мы отд'єлили XVIII в'єкъ отъ

ХІХ-го.

Девятнаддатое стольтіе въ исторіи развитія русской изящной словесности есть въкъ сознательнаго
и цълостнаго эстетическаго отношенія художника къ
жизни. Въ этомъ смыслъ годы, когда творилъ Пушкинъ, ничъмъ не отличаются отъ годовъ, когда писалъ
Тургеневъ или пишетъ Левъ Толстой. И Пушкинъ, и
Левъ Толстой одинаково — художники; и то, что ими
создано, — создано ими въ удовлетвореніе ихъ эстетическаго чувства. Измънился матеріалъ, которымъ они
пользовались, измънилось отношеніе художника къ
этому матеріалу, измънились наконецъ техническіе
пріемы творчества, но оба они остались художниками,
служителями единаго на всъ въка искусства.

Мы сказали, что измѣнилось отношеніе художника къ матеріалу, которымъ онъ пользуется, и это-то измѣненіе и даетъ намъ право произвести новое дѣленіе длиннаго вѣкового періода нашей словесности. На протяженіи XIX вѣка въ этомъ отношеніи художника къ обрабаты-

ваемому имъ матеріалу замъчается, дъйствительно, весьма важная перемъна.

Сначала, въ первыя десятильтія XIX въка-во времена такъ называемаго, "классицизма", "сентиментализма" и "романтизма", художникъ занятъ преимущественно своей личностью; для него-онъ самъ, съ его мыслями, настроеніями, полетомъ своей фантазіи—самое главное. Онъ говоритъ преимущественно о томъ, какъ весь окружающій міръ отражается въ немъ-въ поэть. Его отношеніе къ этому міру, какъ принято говорить, --болъе или менъе субъективно. Со средины, приблизительно съ сороковыхъ годовъ XIX стольтія, это субъективное отношеніе художника къ окружающей его жизни начинаетъ мъняться и очень быстро преображается. Художникъ стремится какъ можно върнъе и полнъе охватить и изобразить окружающую его жизнь: она во всемъ своемъ разнообразіи, она, отъ него отличная, становится главнымъ предметомъ его интереса: онъ анализируетъ ее и затъмъ стремится возсоздать ее въ цълости или по частямъ. Художникъ считаетъ для себя большой заслугой, когда въ его произведени не видно его самого, когда его симпатіи и антипатіи скрыты. Онъ стремится какъ можно объективние взглянуть на тоть матеріаль, который онъ обрабатываетъ.

Такова въ общихъ чертахъ перемъна, замътная въ развитии нашей художественной словесности за цълое XIX столътіе, и она даетъ намъ основаніе раздълить этотъ длинный періодъ на двъ части—на періодъ, когда художникъ относился къ міру преимущественно еубъективно, и періодъ, когда онъ стремился стать къ нему

преимущественно въ объективное отношение.

Въ самомъ дѣлѣ, бѣгло обозрѣвая послѣдовательное чередованіе художественныхъ памятниковъ нашей словесности за XIX столѣтіе, мы видимъ, что художникъ въ способѣ отношенія своего къ жизни рѣзко измѣнился. Поэзія Жуковскаго, Батюшкова, Баратынскаго, Языкова, Веневитинова, Кольцова, Лермонтова, Полежаева была личной субъективной исповъдью художника. Басня Крылова была картиннымъ доказательствомъ той практической, довольно узкой мудрости, которую Кры-

ловъ для себя усвоилъ; сатира Грибоъдова была выраженіемъ его личныхъ взглядовъ на одно изъ самыхъ характерныхъ явленій того времени — на столкновеніе стараго поколѣнія съ молодымъ — выраженіе очень субъективное, не смотря на безспорное дарование художника изображать типы, съ которыми онъ самъ не имълъ никакого сходства. Даже всеобъемлющая поэзія Пушкина, которую такъ привыкли превозносить за ея объективность, за способность воспроизводить жизнь во всемъ ея объемъ, даже она, эта широкая поэзія, носить на себъ, какъ увидимъ, печать своего въка: Пушкинъ былъ очень субъективенъ, именно, какъ художникъ. Онъ бралъ изъ жизни лишь то, что онъ непосредственно созерцалъ какъ художникъ — будь то сказка русская или иноземное преданіе, будь то страница прошлаго, родного или чужого - но отъ художественнаго всесторонняго воспроизведенія жизни его окружавшей Пушкинъ воздерживался и, какъ увидимъ, кромъ неоконченнаго "Евгенія Онъгина", онъ въ своихъ произведеніяхъ почти не говорилъ о русской дѣйствительности того времени. Такъ незначителенъ былъ въ началѣ XIX въка объективный интересъ художникаписателя къ жизни, въ которой онъ участвовалъ. Такое же субъективное отношение къ ней замътно и въ тогдашней литературной критикъ. Бълинскій и вся университетская молодежь триднатыхъ годовъ были очень субъективные эстетики и философы, которые иногда даже позволями себъ совсъмъ забывать о русской дъйствительности. Если крупные таланты той эпохи не могли въ своемъ художественномъ творчествъ выйти изъ круга личныхъ убъжденій, чувствъ и настроеній, то въ произведеніяхъ талантовъ второстепенныхъ эта "субъективность" сказывалась еще ръзче... Примъръ тому-произведенія Полевого, Марлинскаго, Загоскина, Лажечникова Бенедиктова, Подолинскаго и др.

Только съ Гоголя въ нашей литературъ сталъ явственно замътенъ поворотъ художника къ истинно объективному творчеству, и въ "Ревизоръ", и въ "Мертвыхъ Душахъ" даны были намъ первыя широкія картины той дъйствительной жизни, которая насъ окру-

жала. Но Гоголь со своимъ творчествомъ стоялъ всетаки на распутьи двухъ дорогъ. Всѣмъ своимъ міросоверцаніемъ и настроеніемъ онъ принадлежалъ прошлому, и только его талантъ, одинъ талантъ заставилъ его вступить на дорогу новую. Какъ человѣкъ, онъ былъ натура крайне субъективная, какъ писатель, онъ обладалъ даромъ трезваго объективнаго отношенія къ жизни. И мы знаемъ, какъ этотъ разладъ человѣка и художника отозвался болѣзненно и на самомъ писателъ, и на его творчествъ. Но, во всякомъ случаъ, творчество Гоголя отмѣчаетъ ясно готовящуюся совершиться перемѣну въ томъ отношеніи, въ какое художникъ становился къ жизни.

Со времени Гоголя и со времени торжества, такъ называемой, "натуральной" школы, нашъ художникъ сдълалъ окружавшую его жизнь предметомъ тщательнаго изученія и наблюденія, стараясь художественно воспроизводить эту жизнь въ ея цъломъ или по частямъ и стремясь скрыть, стушевать въ этомъ изображеній свою собственную личность. Такъ относились къ нашей жизни всъ наши большіе художники, начиная съ сороковыхъ годовъ, и Тургеневъ, и Достоевскій, и Островскій, и Гончаровъ, и Толстой, и Щедринъ. Если каждый изъ нихъ проводилъ въ своихъ сочиненіяхъ свое міросозерцаніе и съ особой любовью останавливался на типахъ, которымъ симпатизировалъ; если иногда, въ реальную картину онъ вставлялъ отъ себя цълыя разсужденія и позволялъ себъ косвенно исповъдываться передъ читателемъ, то все-таки его сочиненія были прежде всего обстоятельной и широкой картиной живой дъйетвительности, были историческимъ документомъ его эпохи, и главной заботой художника было не выражение его личныхъ чувствъ и взглядовъ, а уловленіе смысла и общаго облика той жизни, которая на его глазахъ развертывалась. Такова была задача всъхъ нашихъ крупныхъ писателей второй половины XIX въка. Писатели съ меньшимъ дарованіемъ шли той же дорогой, и въ своемъ стремленіи изображать реальную жизнь; гнались также прежде всего за точностью въ этомъ изображеній; они жертвовали ради этой точности художественной цъльностью произведенія и красотой композиціи, какъ то д'єлали, напр., Писемскій, Помяловскій, Боборыкинъ, Левитовъ, Ръшетниковъ, Слепцовъ и др. Реализмъ сталъ лозунгомъ и тъхъ, кто писалъ стихами, хотя за исключеніемъ Никитина и Некрасова, поэзія реализма не им'єла у насъ крупныхъ представителей: она оставалась въ лицъ наиболъе даровитыхъ поэтовъ, попрежнему очень субъективной (и такая субъективность поэзіи Майкова, Тютчева, Фета, Полонскаго и А. Толстого вызывала въ въкъ торжествующаго реализма ожесточенные и часто несправедливыя нападки.) Реальной по существу стала и литературная критика. Она также стремилась говорить не столько о писателѣ, какъ художникѣ, сколько "по поводу" него о той жизни, которую онъ изображалъ. Аполлонъ Григорьевъ стремился одно время обуздать такую слишкомъ публицистическую критику, но успъха не имълъ, и руководящимъ образцомъ литературной критики стали публицистическія статьи Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева.

Реализмъ остался и до сего дня господствующимъ геченіемъ въ нашей литературъ, не смотря на то, что количество яркихъ талантовъ къ концу въка значительно убавилось и рядомъ съ реализмомъ начало пробиваться наружу прежнее чисто субъективное отношеніе художника къ жизни, сказавшееся въ произведеніяхъ такъ называемыхъ эстетовъ, символистовъ и декадентовъ.

Итакъ, въ нашемъ изложеніи мы будемъ придерживаться вышеизложеннаго дѣленія. Оставивъ въ сторонѣ XVIII вѣкъ, когда мы не обладали еще литературнымъ языкомъ достаточно совершеннымъ и когда среди нашихъ писателей не было истинныхъ сильныхъ худоственныхъ талантовъ, мы обратимся къ вѣку XIX съ первыми годами котораго совпалъ и первый расцвѣтъ художественнаго русскаго творчества.

Это творчество въ первые десятильтія своего развитія отличалось, какъ мы сказали, субъективнымъ отношеніемъ художника къ окружающей его жизни, т. е. такимъ отношеніемъ, при которомъ художникъ былъ

не столько занять воспроизведеніемъ въ искусствъ той дъйтвительности, которая его окружала, сколько художественнымъ выраженіемъ тъхъ чувствъ, мыслей, настроеній, какія она, эта реальная жизнь въ немъ, какъ человъкъ и художникъ, будила.

- 6. Для развитія художественнаго творчества эпоха царствованія Александра I была очень благопріятна, и наша изящная словесность своимъ быстрымъ ростомъ безспорно обязана тъмъ условіямъ внъшней и внутренней жизни, какія сложились въ это достопамятное царствованіе. Если самое существованіе изящной литературы зависить отъ степени талантливости писателей, т, е. отъ извъстной случайности, то успъщное развитіе этихъ талантовъ находится въ прямой зависимости отъ общественныхъ условій ихъ времени. Эти общественныя условія въ царствованіе Александра I были исключительно благопріятны для нашей литературы. Пусть строгость цензуры и давала себя тогда сильно чувствовать, пусть во вторую половину царствованія весъ ходъ внутренней и внъшней жизни былъ ретроградный, пусть, наконецъ, общая народная масса была темна и инертна,-но въ интеллигентныхъ кругахъ того времени, въ кругахъ, гдъ развивалась и цвъла литература, нарило большое оживленіе мысли, чувства били ключемъ. и художникъ имълъ благопріятный случай для всесторонней шлифовки своего таланта.
- 7. Первое, что должно отмътить, когда говоришь о царствованіи Александра I, это—довольно тъсную связь, въ какую мы вступили тогда съ нашими западными сосъдями. Стремленіе къ духовному общенію съ Западомъ сказывалось у насъ очень ръшительно еще съ Петра Великаго, было модой въ царствованіе Екатерины II, но замерло въ послъдніе годы Екатерининскаго царствованія и въ годы правленія Павла Петровича. Съ Александромъ I эта порванная на нъкоторое время связь возобновилась. Александровское правительство на первыхъ порахъ не препятствовало притоку западной мысли въ Россію, и наше образованное общество стало нагонять западную цивилизацію. Въ этой погонъ общество торопилось и западная мысль захватывала быстро

очень широкіе круги, давая нашему уму самую разнообразную и очень богатую пищу.

Въ началъ XIX въка, послъ краткаго затишья, мы очутились подъ перекрестнымъ огнемъ самыхъ разнообразныхъ западныхъ міросозерцаній и настроеній. Французскіе энциклопедисты, скептики и матерьялисты, англійскіе сентименталисты, романтики и религіозные сектанты, нъмецкіе гуманисты, піэтисты и мечтателиэстетики-всв эти представители неустойчивыхъ міросозерцаній, развившихся на Запад'в и быстро см'внявшихъ другъ друга со средины XVIII въка, имъли въ Александровское царствование у насъ и учениковъ, и просто любопытствующихъ слушателей. Книги самыя разнообразныя ходили тогда по рукамъ, возбуждая работу пока еще не вышколенной нашей мысли. Читался съ одинаковымъ интересомъ скептикъ Вольтеръ, религіозно настроенный Руссо, восторженный Шиллеръ, сдержанный Гёте, мрачный Байронъ, жизнерадостный Вальтеръ-Скоттъ, тихій мечтатель Тикъ и страстный фантазеръ Шатобріанъ, читались "безбожники" французскіе энциклопедисты и мистикъ піэтисть Эккартсгаузенъ, читались проповъди квакеровъ и фанатическія разсужденія Жозефа де Местра: однимъ словомъ, читалось все выдающееся и, вмъстъ съ тъмъ, самое противоръчивое въ наукъ, философии, публицистикъ и литературъ. Все возбуждало интересъ и находило откликъ. Если въ большинствъ случаевъ этотъ откликъ и не былъ вполнъ продуманный и не будилъ самостоятельной творческой работы ума, то онъ имълъ другое важное значеніе. Онъ показываль, что русскій умъ быль полонъ интереса и обладалъ способностью быстраго усвоенія. Для писательскаго таланта такая атмосфера разностороннихъ умственныхъ интересовъ была очень благопріятнымъ условіемъ развитія. Кругозоръ писателя быстро расширялся, и въ немъ поддерживалась чуткость къ впечатлъніямъ самымъ разнообразнымъ. Нужно помнить, однако, что эти впечатлънія нашъ писатель выносилъ не непосредственно изъ жизни, а чаще изъ книгъ, - почему въ своихъ собственныхъ произведенияхъ онъ въ тъ годы бывалъ такъ часто и такъ невольно

подражателемъ. Но, во всякомъ случаѣ, свобода обрашенія, какой пользовалась западная мысль у насъ въ первые годы Александровскаго царствованія, должна быть выставлена какъ одна изъ характерныхъ чертъ того времени, и народившіеся тогда художественные таланты отъ этой свободы выиграли очень много.

8. Сближение наше съ Запаломъ не ограничилось одной идейной областью. Политическія событія начала XIX въка привели насъ въ непосредственное столкновеніе съ нашими сосъдями, и случилось это при такихъ обстоятельствахъ, которыя были для насъ весьма почетны. Мы явились какъ бы избавителями Европы отъ Наполеонскаго самовластія. Прежде съ нами считались лишь какъ съ грубой силой, и, хотя и въ данномъ случать сила ръшила дъло, но помощь, оказанная нами Европъ, была столь значительна, что наши сосъди въ благодарность готовы были признать русскій наролъ равноправнымъ членомъ своей семьи. Намъ это очень польстило и мы поторопились признать себя европейцами. Ръшительное вступленіе наше въ семью европейскихъ народовъ, не только на правахъ должника, но и кредитора, - вступленіе сначала въ эпоху первыхъ войнъ съ Наполеономъ и въ особенности въ годы 1813-1815, когда наши войска прошли черезъ всю Европу, затъмъ вниманіе, съ какимъ къ намъ относился Западъ послъ Вънскаго конгресса, - были также однимъ изъ условій, благопріятныхъ для роста нашего художественнаго творчества. Отечественная война 1812 года, война за освобождение Европы отъ Наполеона 1813—1815 годовъ и участіе нашей дипломатіи въ ръшеніи всъхъ международныхъ вопросовъ послѣ 1815 года сопровождались у насъ въ Россіи большимъ подъемомъ національнаго самосознанія. Если наша политика на Запаль и на Ближнемъ Востокъ и не могла назваться дальновидной, то все-таки сознаніе нашей силы сопровождалось подъемомъ энергіи, смѣлости, рѣшительности въ сужденіяхъ, подъемомъ въры въ себя, какъ въ націю; и такое учащеніе пульса жизни вліяло и на художественное творчество, на самосознаніе художниковъ, у которыхъ явилось желаніе и въ сферъ искусства дать почувствовать силу нашей самобытности. Мы торопились во всемъ изъ положенія учениковъ стать поскоръе учителями.

При господствующемъ вліяніи этихъ двухъ факторовъ жизни, т. е. при необычайно разностороннемъ богатствъ идей и чувствъ, которыя приходили къ намъ съ Запада, и при сильно окръпшемъ національномъ самосознаніи, выражавшемся иногда очень ръзко, — стала быстро развиваться наша умственная и общественная жизнъ въ началъ XIX въка.

Говоря, однако, объ этой умственной и общественной жизни, надо помнить, что все ея движеніе свершалось въ кругу довольно ограниченномъ, въ кругу почти исключительно дворянскомъ—военномъ, чиновномъ и помъщичьемъ. Вся остальная громадная народная масса, слагающаяся изъ другихъ классовъ, въ этомъ движеніи принимала самое ничтожное участіе, или совсъмъ на него не откликалась.

9. Но въ классахъ интеллигентныхъ работа мысли шла ходомъ очень оживленнымъ и въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. Упорно работала, прежде всего, мысль религіозно-нравственная. Хотя развитіе ея и было съ внъшней стороны обставлено многими стъснительными условіями, но потребность въ этой мысли была такъ велика, что она вопреки этимъ условіямъ прорывалась наружу. Въ интеллигентномъ обществъ сталкивались самыя различныя направленія этой мысли, выросшія частью на русской почвъ, а въ большинствъ случаевъ пришедшія къ намъ съ Запада. Православная мысль, раскольничья и сектантская всевозможныхъ видовъ сталкивались съ мыслью католической и језуитской, съ разнообразными оттънками мысли протестанской, піэтистической, массонской, квакерской и другими. Мысли эти сталкивались не тайно, а довольно явно, проникая иногда даже въ печать и соединяя людей въ особые кружки, въ которыхъ то или другое ученіе проповъдывалось. Нельзя сказать, чтобы эти оттънки общехристіанской религіозной мысли принесли большой плодъ въ смыслъ ихъ богословскаго и научнаго развитія, но ихъ обращеніе въ нашемъ обществъ-тогда

на всякую новизну очень падкомъ—безспорно способствовало расширенію нашего умственнаго кругозора, направляя наше вниманіе на такія стороны общечелов'теской культурной жизни, на такія идеи, которыя требують живого и сердечнаго отношенія, а не только отношенія пассивнаго. Терпимость въ вопросахъ в'троиспов'ть в вобще религіозной мысли—большой культурный факторъ, и если эта терпимость въ царствованіе Александра I и не была вполн'ть признаннымъ фактомъ, а въ посл'ть поды его жизни даже подверглась самому р'ты потокъ нашей мысли и держала ее н'тькоторое время въ весьма напряженномъ состояніи. Дала она толчекъ и воображенію, такъ какъ въ религіозной мысли было искони много поэзіи.

Вмъстъ съ мыслью религіозной обнаруживала нъкоторое движеніе и мысль философская. Она была тогда новинкой для свътскаго общества, такъ какъ въ XVIII въкъ только въ самыхъ замкнутыхъ кругахъ въ Москвъ можно было подмътить нъкоторое ея присутствіе. И въ царствованіе Александра Павловича она широкаго распространенія не получила, но въ университетскихъ кругахъ имъла своихъ представителей. Въ особенности характернымъ явленіемъ былъ тотъ интересъ, который обнаружила въ 20-тыхъ годахъ московская молодежь къ ученію знаменитаго нъмецкаго философа Шеллинга. Ученіе это, пытавшееся всю вселенную и природу и человъка объять единымъ философскимъ взглядомъ, ученіе, трудно усвояемое, но необычайно поэтичное, было воспринято кружкомъ московскихъ студентовъ и благодаря талантливости нъкоторыхъ изъ нихъ, какъ напр., кн. В. Ө. Одоевскаго и Д. В. Веневитинова оставило свой слъдъ даже на русской поэзіи и на страницахъ журналистики. Конечно, это была пища для немногихъ, и еще совсъмъ незрълое теченіе мысли, которому суждено было окрыпнуть лишь въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ. Однако движеніе этой отвлеченной мысли въ Александровское царствование не должно быть оставлено безъ вниманія. При очень поверхностномъ отношении къ философскимъ вопросамъ,

какое тогла госполствовало, при большомъ количествъ дилетантовъ, которые въ ръшении высшихъ вопросовъ придерживались старомоднаго скептическаго взгляда. взятаго безъ всякой провърки изъ просвътительной французской философіи XVIII въка, плохо понятой, такая серьезная, глубокая мысль, какъ мысль Шеллинга, была самой желанной поправкой въ раздумьи русскаго интеллигентнаго человъка надъ коренными вопросами жизни. Не должно забывать также, что нъмецкая отвлеченная мысль искупала всъ свои трудности поэтичностью своего замысла и своихъ построеній.

10. Наряду съ отвлеченной религіозно-философской мыслью большое оживление обнаруживала тогда мысль политическая и общественная. Самъ царь, какъ извъстно, въ первые годы своего царствованія былъбольшимъ либераломъ. Мрачныя стороны нашей русской дъйствительности-невъжество и рабство массъ, нравственое растление всей чиновной машины, отсутствие въ обществъ интеллигентной самодъятельности мысли и неразвитость въ немъ гражданскаго чувства, наконецъ, несовершенство самой системы управленія, - на все это царь обратилъ свое вниманіе, и ц'єлый рядъ самыхъ ръшительныхъ реформъ былъ имъ сдъланъ для наискоръйшаго исправленія всьхъ этихъ недостатковъ. Этимъ реформамъ часть общества пошла съ энтузіазмомъ на встрѣчу, и, такъ какъ на первыхъ порахъ царь поощрялъ такой откликъ въ своихъ подданныхъ и правительство развитію политической мысли въ обществъ большихъ преградъ не ставило, то слъдствіемъ этого въ короткій срокъ было весьма замътное повышение интереса къ вопросамъ общественнымъ и вопросамъ политики. Росту этого интереса не мало способствовало и наше сближение съ Европой. Европейская политическая мысль съ одной стороны, знакомство съ государственными учрежденіями Европы и непосредственное столкновение съ европейской общественной жизнью-произвели огромное впечатлъніе на наше интеллигентное общество. Многимъ тогда показалось, что ръзкая перемъна въ формъ правленія могла бы очень благотворно отозваться на нашемъ общественномъ развитіи, и такъ какъ самъ царь такой перемъны, судя по его словамъ, не стращился, то въ нашемъ обществъ скоро образовалось совершенно опредъленное теченіе политической мысли, которое хотя и сосредоточивалось въ "тайныхъ" обществахъ, но гласности не особенно боялось. Это развитіе политической мысли привело въ концъ царствованія Александра Павловича къ образованію цълаго политическаго общества, которое имъло въ виду перемъну политическаго строя, и послъ смерти государя выразилось въ извъст-

номъ возмущении 14 декабря 1825 года.

Легко себъ представить, какое движение вносила въ жизнь нашего интеллигентнаго общества эта политическая мысль, тьмъ болье, что по своимъ оттънкамъ она была чрезвычайно разнообразна. Рядомъ съ вольнодумцами стараго Екатерининскаго въка, со служаками во вкусть Павла Петровича, съ консерваторами и ретроградами, отрицавшими всякія общественныя и политическія новшества, при благосклонной на первыхъ порахъ терпимости высшей власти, пробивали себъ дорогу либералы безъ опредъленной программы, либералы съ ясными конституціонными стремленіями и, наконецъ, люци, позволявшие себъ мечтать даже о республикъ. Всв эти разношерстные взгляды сталкивались, спорили между собой, и если сама действительность отъ ихъ обращенія выигрывала мало, то для ума, для полета фантазіи, для выработки темперамента и характера, весь этотъ наплывъ мыслей былъ очень плодотворенъ. Не мудрено, что они нашли себъ ранній отголосокъ и въ литературъ.

11. Когда говоришь объ идейныхъ теченіяхъ того времени, нужно отмътить и чисто національную идею, которая тогда стала очень замътной. Въ силу народнаго самосознанія, въ силу историческихъ условій, которыя предоставили Россіи такую видную роль въ судьбахъ культурнаго міра, - мы были тогда увлечены мыслью имъть собственную самобытную науку и самобытную литературу. Намъ хотълось, что было вполнъ естественно, -- имъть свою національную физіономію среди другихъ народовъ и мы хотъли, чтобы всъ эти наши національныя особенности отразились и въ нашей умственной дъятельности и въ хупожественномъ творче-

1048.

ствъ. Уже тогда сказывалось въ нъкоторыхъ слояхъ общества желаніе провести между нами и Западомъ разграничительную черту, отстоять противъ западныхъ идей, запалныхъ обычаевъ и образцовъ западной словесности нашу русскую жизнь въ ея духовномъ и реальномъ проявленіи. Это стремленіе легло въ основаніе столь нашумъвшихъ впослъдствіи споровъ между такъ называемыми "западниками" и "славянофилами". Для удовлетворенія такого національнаго чувства у насъ тогда было мало средствъ. Наука была еще въ зародышъ, литература только что начинала развиваться. Тъмъ не менъе труды сторонниковъ этой національной идеи дали хорошіе результаты. Попытки создать "самобытный" литературный языкъ при помощи внесенія въ него словъ и оборотовъ старой славянской ръчи потерпъли неудачу, но разработка народной старины вообще шла успъшно. Издавались памятники стараго народнаго творчества, дълались археологическія розысканія, собирались историческіе документы. Карамзинымъ въ его "Исторіи Государства Россійскаго вся эта старина была сведена въ одно цълое, а поэты и романисты принялись за обработку народныхъ или мнимонародныхъ сюжетовъ нашего легендарнаго или историческаго прошлаго. Художники, а за ними и критики, стали задумываться надъ вопросомъ о водвореніи "народности" въ литературъ, разумъя подъ этимъ неопредъленнымъ словомъ все, что носило на себъ хотя бы внъшній только отпечатокъ родной старины или действительности.

12. И вотъ, при живомъ обмѣнѣ и движеніи всѣхъ этихъ мыслей—религіозно-нравственной, философской, политической, общественной и національной, при достаточно близкомъ, и идейномъ, и непосредственно житейскомъ общеніи нашемъ съ Западомъ пришлось работать нашимъ первымъ художникамъ слова. Ихъ положеніе, какъ видимъ, было выгодное, просторъ для ума былъ большой и поле для наблюденія широкое. Имъ недоставало только формъ, въ какія могли бы облечься плоды ихъ художественнаго созерцанія.

Прежде чѣмъ художники наши выработали самостоятельно такія формы, имъ пришлось пользоваться чужими формами, созданными на Западѣ. Подражаніе иноземнымъ образцамъ, по крайней мѣрѣ подражаніе внѣшнее, на первыхъ порахъ было неизбѣжно, и черезъ эту полосу подражанія прошли всѣ, даже самые сильные наши художники, прежде чѣмъ форма ихъ прозведеній стала принадлежать имъ самимъ безъ разпѣла.

Выборъ такихъ готовыхъ внъшнихъ формъ и стилей быль тогда достаточно богать. Въ большомъ ходу были въ тѣ годы на Западѣ два литературныхъ стиля: 1) "классическій", античный, либо непосредственно заимствованный у древнихъ писателей, либо подновленный французами, и 2) стиль "сентиментальный", болъе простой, болъе современный, распространенный во всей Европ'в очень широко, приблизительно со средины XVIII въка. Между этими двумя стилями была большая разница въ техникъ и въ настроеніи. Классическій стиль предпочиталъ аллегоріями и символами выражать свои настроенія и мысли, пользовался богатыми внъшними формами античной словесности, формою эпической поэмы, высокой трагедіи, посланія, сатиры, вакхической пъсни, любовной элегіи, эпиграммы и оды. Стиль "сентиментальный предпочиталь разсказь, повъсть, романъ въ формъ писемъ, дневникъ, задушевную исповъдь въ стихахъ, т. е. всъ тъ формы, которыя облегчали художнику возможность большаго углубленія въ свою душу и большей интимности съ читателемъ. "Классическій" стиль любилъ возвышенные, патетическіе, веселые, игривые мотивы. Стиль "сентиментальный" предпочиталъ мотивы нъжные, меланхолические, печальные, религіозные и мечтательные.

Оба эти стиля, въ которыхъ отражались цълыхъ два міросозерцанія, господствовавшія тогда на Западъ, были нами усвоены, конечно, прежде всего, чисто внъшнимъ образомъ, какъ внъшнія формы для выраженія нашихъ чувствъ и мыслей. "Классическій" стиль, разрабатываемый у насъ еще съ половины XVIII въка, съ Ломоносова и Сумарокова, и художественно подновленный въ первыя десятильтія XIX стольтія, въ поэзіи Батюшкова и молодого Пушкина продержался не долго. "Сентиментальный", проникшій въ нашу литературу при Карамзинъ, держался дольше, потому что, какъ уви-

димъ, онъ соотвътствовалъ вполнъ кругу понятій и настроеній, широко распространенныхъ въ нашемъ интел-

лигентномъ обществъ.

Кром'в этихъ двухъ самыхъ ходкихъ литературныхъ стилей въ тѣ годы къ намъ проникалъ съ Запада и еще одинъ новый стиль, тогда на Западѣ только что расцвѣтавшій, — стиль, какъ его называютъ, "романтическій". Это былъ очень красивый стиль, по богатству оттѣнковъ вполнѣ соотвѣтствующій тому настроенію и умственному теченію, которые извѣстны въ исторіи XIX вѣка подъ неопредѣленнымъ названіемъ "романтизма". О немъ будетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ, когда Пушкинъ и его друзья начнутъ ломать за него копья и проводить его въ нашей литературѣ. Пока замѣтимъ, что сравнительно съ классическимъ и сентиментальнымъ, этотъ романтическій стиль отличался необычайной тревогой въ своемъ темпѣ, мрачностью образовъ, драматичностью положеній и большой повышенностью чувствъ.

13. Итакъ, нашимъ писателямъ, которымъ надлежало создать художественную русскую литературу, пришлось жить въ эпоху, богатую умственнымъ движеніемъ, эпоху, знаменательную по историческому своему смыслу и уже обладавшую разработанными и красивыми литературными стилями. Положимъ, все это богатство принадлежало Западу, а не намъ, но мы на немъ могли съ успъхомъ воспитаться, что мы и сдълали въ корот-

кій срокъ.

Переходя къ разсказу о томъ, какъ зародилась и окръпла наша самобытная художественная словесность, напомнимъ еще разъ, что на первыхъ порахъ отношеніе нашего художника къ жизни было преимущественно субъективное, т. е., что онъ интересовался не столько самой окружавшей его жизнью, сколько тъмъ поэтическимъ впечатлъніемъ, какое она производила на его умъ и на его сердце.

II. Жуковскій.

1. Молодое поколъніе писателей и поэтовъ, которые въ началъ XIX въка положили основание нашей художественной словесности, признавало единогласно Жуковскаго своимъ наставникомъ. Когда заходила ръчь о томъ, кому мы обязаны наиболъе мелодичными стихами, кто далъ намъ первый почувствовать поэзію жизни человъка и природы, кто умълъ всего сильнъе тронуть наше сердце, возбудить нашу фантазію возвышенными мыслями о Богъ, о нравственномъ призваніи человъка на земль, о подвигахъ человъчества и его страданіяхъ,наши дъды всегда вспоминали Жуковскаго. Его имя было не только окружено ореоломъ славы поэта: Жуковскаго любили и уважали какъ наставника, какъ истинно просвъщеннаго и добродътельнаго человъка; и эта любовь осталась за нимъ на долго. Говорять, что современники не умѣють цѣнить выдающихся людей, съ которыми они запросто сталкиваются. Къ Жуковскому современники были однако справедливы; они вполнъ поняли и оцънили его, потому что его думы и его настроеніе, весь складъ его души и его міросозерцаніе, какъ нельзя лучше отражали въ очень полной и очень красивой формъ тъ мысли и чувства, какими жило большинство образованных в людей его времени. Ръдко когда между поэтомъ и обществомъ было установлено такое согласіе, сердечное и умственное, какое объединяло Жуковскаго и его современник овъ.

Признавая вст заслуги Жуковскаго передъ нашей словесностью, надо однако помнить, что и онъ имълъ своихъ учителей и предшественниковъ, которымъ былъ не мало обязанъ. Лержавинъ въ своихъ одахъ достигалъ высоты истинно патетическаго и героическаго, и еще не вполнъ художественный его языкъ былъ уже приноровленъ къ выраженію настоящаго поэтическаго восторга-религіознаго и патріотическаго. Вм'єсть съ этимъ порядкомъ чувствъ, оттъняющихъ въ жизни ея величественную, иногда трагическую сторону, -- нашли себъ поэтическое воплощение и чувства иного порядка, чувства болъе мягкія, нъжныя, не менъе серьезныя, но болье обыденныя. Ихъ проводиль въ своихъ повъстяхъ, стихотвореніяхъ, въ прозаическихъ разсужденіяхъ, и въ своихъ извъстныхъ "Письмахъ русскаго путешественника"-Николай Михайловичъ Карамзинъ. Его стилистическому таланту обязаны мы красотой и гибкостью нашей прозаической ръчи; а его благочестивому настроенію, теплому сердцу и уму, мало анализирующему и легко примиряющемуся съ самыми трудными вопросами жизни. — тъми вполнъ литературно написанными разсказами, въ которыхъ такъ отчетливо выразилось столь распространенное въ то время "сентиментальное" настроеніе и міросозерцаніе. Карамзинъ былъ непосредственный предшественникъ и учитель Жуковскаго. Жуковскій на всю свою долгую жизнь сохраниль къ нему неизмънное чувство самаго благоговъйнаго уваженія, признавая открыто, какое идейное и вообще воспитательное значение имълъ для него этотъ талантливый писатель. Дъйствительно, Жуковскій въ своемъ міропониманіи, въ своемъ отношеніи ко всъмъ задачамъ жизни не выходилъ изъ того круга понятій, а отчасти и того круга литературныхъ вкусовъ, какого держался Карамзинъ. Итакъ, какое же мъсто должны мы отвести Жуковскому въ исторіи нашей поэзіи?

2. Значеніе его не должно преувеличивать теперь, когда мы можемъ взглянуть на него издали, и когда вся его д'ятельность представляется намъ уже въ исторической перспектив'ъ. Жуковскій не принадлежаль къ

числу тъхъ поэтовъ, въ которыхъ всъ думы и настроенія его въка находятъ себъ откликъ. Время, когда онъ жилъ. было значительно богаче идейнымъ содержаніемъ, чъмъ его поэзія, и она отразила только одинъ порядокъ мысли и одно настроеніе, правда, широко распространенное въ тогдашнемъ обществъ. Поэзіи Жуковскаго непоставало очень существеннаго, чтобы вполнъ стать голосомъ своего времени. Въ ней совсъмъ не было критическаго и аналитическаго элемента. А это критическое отношение писателя къ жизни, отношение, при которомъ онъ расчленяетъ жизнь и судитъ ее въ ея деталяхъ, было уже достаточно сильно распространено въ литературъ къ тому времени, когда Жуковскій выступилъ со своими стихами. Романъ, повъсть, комедіи, журнальныя статьи, басни-однимъ словомъ, всевозможные виды сатиры пріучили насъ относиться къ нашей повседневной жизни съ посильной критикой. Жуковскій не ум'єль и не хот'єль быть судьей отд'єльныхъ житейскихъ явленій, изъ которыхъ слагается общественная или политическая жизнь человъка въ данный историческій моменть. Онъ любилъ созерцать жизнь въ ея пъломъ на протяжении многихъ, многихъ въковъ и отыскивать въ ней оправданія и доказательства того религіозно-нравственнаго міросозерцанія, которое онъ самъ себъ выработалъ въ тихомъ уголкъ своей скромной личной жизни. Но если Жуковскій, какъ поэтъ, и не смогъ откликнуться на всю полноту жизни своего времени, тъмъ не менъе его поэзія все-таки составляетъ цълую эпоху въ исторіи нашей словесности. И вотъ въ чемъ заключается его заслуга какъ писателя. Изъ всѣхъ предшествовавшихъ ему писателей онъ былъ первый настояшій поэть.

Какъ настоящій художникъ воспринималь Жуковскій явленія внѣшней и внутренней жизни человѣка и выражалъ ихъ какъ художникъ, не примѣшивая къ нимъ постороннихъ, искусству чуждыхъ соображеній. Онъ имѣлъ тонкій эстетическій вкусъ, и этотъ вкусъ уберегалъ его отъ фальши: реторика, которой такъ много у Державина, у него почти отсутствовала; неестественная слащавость, столь обычная у Карамзина, у него также попадалась рѣдко. Онъ, какъ человѣкъ

со вкусомъ, умѣлъ естественное и живое отличать отъ натяжки и преднамъренно созданнаго. Это его первое преимущество, какъ поэта: онъ былъ настоящій художникъ.

Затъмъ, особая цънность его поэзіи заключалась въ томъ, что она сознавала свою собственную силу именно какъ поэзія, т. е. Жуковскій смотрѣлъ на художественную дъятельность, какъ на особое "святое" дъло, направленное ко благу человъчества, дъло совершенно самостоятельное и отличное отъ другихъ дълъ человъка. Поэзія сама по себъ была для него святыней. которая облагораживаеть всъхъ, на кого ея лучи падаютъ. Не между дъломъ и при случат долженъ человъкъ отдавать себя ей и ея служеню; онъ долженъ посвятить себя ей всецъло, и, кромъ нея, не знать иного Бога. Жуковскій быль первый, который стремился вселить намъ такое возвышенное понятіе объ искусствъ; до него въ XVIII въкъ оно, по мнънію многихъ, даже очень талантливыхъ художниковъ, было лишь "украшеніемъ" жизни, благородной забавой или непосредственнымъ нравоученіемъ. Жуковскій всей своей жизнью показаль, какъ должно безкорыстно любить искусство, и онъ неустанно въ своихъ стихахъ твердиль объ его святости и самостоятельности среди другихъ проявленій человъческаго духа. Въ этомъ заключалась его вторая заслуга передъ поэзіей—заслуга тъмъ болъе цънная, что эти мысли приходилось тогда высказывать въ первый разъ среди общества, мало подготовленнаго къ ихъ усвоенію.

Особую цъну придавала поэзіи Жуковскаго также и ея безусловная искренность. Нельзя, конечно, сказать, что у его предшественниковъ это качество совершенно отсутствовало, но тотъ фактъ, что Жуковскій понималь поэзію, какъ "святое служеніе", исключалъ возможность всякой умышленной натяжки въ чувствахъ, которыя онъ пзливалъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Его предшественники, цънившіе поэзію, какъ придатокъ къ жизни, какъ украшеніе ея, или косвенное наставленіе, могли, исполняя "долгъ пъвца", заставить себя иной разъ говорить не отъ вдохновеннаго сердца—что они неръдко и дълали. Жуковскій писалъ всегда подъ властью глубокаго и захватившаго его чувства.

Еще одинъ даръ дала природа Жуковскому, даръ, которымъ до него не обладалъ ни одинъ изъ нашихъ писателей. Это былъ необычайно тонкій поэтическій слухъ, который обусловливалъ мелодичность его стихотворной рѣчи. Въ техникъ русскаго стиха рѣчь Жуковскаго произвела цѣлый переворотъ. Никогда еще этотъ стихъ не былъ такъ звонокъ, такъ музыкаленъ, такъ гибокъ. Обиліе размѣровъ, богатство рифмъ, мелодичность звуковъ его рѣчи поражали всѣхъ современниковъ и для подрастающихъ художниковъ стали мѣриломъ истинно поэтической рѣчи. На музыкъ стиховъ Жуковскаго воспитались Пушкинъ и всѣ его то-

варищи по вдохновенію.

Такова была сила таланта Жуковскаго. Но помимо своей собственной поэтической цънности, она имъла еще большую стоимость, какъ сила образовательная. Жуковскій быль опять-таки первый писатель, который открыль намъ широкій доступъ ко всѣмъ богатствамъ иностранной словесности. Никто изъ нашихъ писателей, не исключая и тъхъ, которые пошли за Жуковскимъ, не пользовался такъ широко всемірными литературными мотивами, какъ онъ. Онъ переводилъ, пересказывалъ и передълывалъ художественные памятники словесности всъхъ странъ и народовъ, и сочиненія его, помимо многаго, лично ему принадлежащаго, были настоящей хрестоматіей лучшихъ образцовъ изъ произведеній лучшихъ поэтовъ. Если онъ изъ этихъ поэтовъ выбиралъ только тъ стихотворенія, которыя соотвътствовали его личному настроенію и совпадали по смыслу съ его образомъ мыслей, то все-таки это были стихотворенія лучшія, и читатель находиль въ нихъ богатую пищу для ума и удобно могъ развивать на нихъ свое собственное эстетическое чувство. Поэзія Жуковскаго была, такимъ образомъ, настоящей образовательной силой, цълымъ курсомъ изящной словесности.

Итакъ, если поэзія Жуковскаго и не отражала, какъ мы уже зам'ьтили, вс'ьхъ теченій мысли и вс'ьхъ чувствъ, какими жило его время, то все-таки она была, во-первыхъ, поэзіей художественной, искренней пъснью поэта, уб'ъжденнаго въ святости своего дъла, и человъка съ очень широкимъ литературнымъ образованіемъ.

Наконецъ, эта изящная поэзія была самымъ полнымъ выраженіемъ очень распространеннаго тогда міровоззрѣнія, извѣстнаго въ исторіи и въ литературѣ подъ названіемъ "сентиментальнаго". Въ чемъ же сущность

этого міровоззрѣнія?

3. Сентиментальное настроеніе и міропониманіе, широко распространенное на Западъ въ концъ XVIII въка и процвътавшее у насъ въ началъ XIX въка, отражаетъ одно очень опредъленное и ясное отношеніе человъка къ самымъ существеннымъ вопросамъ жизни. Оно не есть отношение критическое, при которомъ человъкъ анализируеть явленія жизни и судитъ ихъ безпристрастно, сохраняя къ нимъ отношение вполнъ независимое. Сентиментальный человъкъ руководствуется въ оцънкъ жизни не умомъ, а чувствомъ. У него есть заранъе составленный отвътъ на самые существенные вопросы бытія, и онъ въ жизни обращаетъ вниманіе только на то, что съ этими отвътами согласуется, а то, что не согласуется, онъ либо игнорируетъ, либо истолковываетъ въ свою пользу. Онъ не поправляетъ своихъ взглядовъ фактами жизни; онъ, наоборотъ, стремится всѣ явленія жизни перетолковать по-своему, въ угоду своимъ чувствамъ. Чувства эти, въ свою очередь, гръшатъ односторонностью и монотонностью. Всъ они нъжныя, мирныя, теплыя чувства, въ которыхъ ръзкія, страстныя движенія почти не встръчаются; преобладаетъ настроеніе томное, мечтательное, очень слабо реагирующее на волю человъка, но зато весьма благотворно дъйствующее на его способность тъшиться игрой собственнаго воображенія. Такое настроеніе мало привязываетъ человъка къ жизни реальной, заставляетъ его бользненно относиться къ житейской сутолокъ, къ шуму повседневныхъ событій и развиваетъ въ немъ склонность къ созерцательному, примиряющему обобщенію явленій жизни. Въ конечныхъ своихъ выводахъ сентиментальное міросозерцаніе оптимистично; если сентименталисть бываеть преимущественно меланхолически и грустно настроенъ, то не потому, что онъ жизнь считаетъ печальнымъ даромъ или думаеть, что на земль зло и страданіе одерживають всегда верхъ надъ добромъ и радостями. Онъ печаленъ потому, что то добро и счастье, которое онъ считаетъ вполнъ осуществимымъ на землъ, вполнъ доступнымъ для человъка, по винъ самого человъка такъ часто отсутствують въ жизни. Онъ потому живеть въ міръ мечтаній и потому такъ часто думаеть о небъ и о загробной блаженной жизни, что чувствуетъ себя слишкомъ рано родившимся и слабымъ для того, чтобы дъятельно торопить наступленіе на землъ лучшаго и болъе счастливаго времени. Но онъ при всей своей грусти и томленіи по загробному бытію считаеть нравственное усовершенствование человъка первымъ дъломъ и первой обязанностью здѣсь, на землѣ и всегда, гдѣ можетъ, отзывается на всякое доброе начинаніе. Кругъ его убъжденій не особенно широкъ, но убъжденія его тверды и сводятся они къ нъкоторымъ очень простымъ основнымъ мыслямъ. Первое убъждение-въра въ добраго, милосерднаго, пекущагося о людяхъ Бога, личнаго или безличнаго, Бога, который испытуетъ людей ради ихъ собственнаго блага, который, въ концъ концовъ, не дастъ злу восторжествовать и всегда наградитъ добродътель, на землъ ли или въ небесномъ царствіи. Второе убъжденіе — увъренность въ томъ, что наша земная жизнь, государственная, общественная и даже личная, находятся подъ постояннымъ контролемъ божественной силы, которая направляетъ ее къ лучшему, руководитъ ею для блага всъхъ живущихъ. Божественный Промыслъ знаетъ, что онъ творить, и человъкъ долженъ быть очень остороженъ въ своемъ гнъвъ. Когда онъ видитъ явное нарушеніе справедливости, несложное, бросающееся въ глаза, то онъ, конечно, въ правъ вознегодовать и вмъшаться, но, напр., въ сложныхъ вопросахъ политическихъ и соціальныхъ, въ которыхъ трудно разобраться, человъкъ долженъ быть очень осмотрителенъ и не подаваться искушенію протеста. Жизнь массовая движется по предустановленнымъ законамъ, и всякое ръзкое вмъшательство въ нихъ отдъльнаго человъка можетъ оказаться посягательствомъ на Божіе Предопредѣленіе. Лучше будеть, если человъкъ займется нравственнымъ самовоспитаніемъ. Это его первое и главное дъло. Создавъ свою собственную нравственную личность и расширивъ ея благотворное вліяніе на самыхъ близкихъ людей — на свою семью и друзей — человъкъ можетъ успокоиться въ сознаніи совершеннаго имъ нравственнаго долга. Что касается конечнаго итога его скромной работы, то пусть его не тревожатъ сомнънія. Побъда и награда суждены въ міръ добру, и всякій человъкъ, даже самый преступный, даже самый злой, способенъ на нравственное совершенствованіе. Сентименталистъ въритъ въ основы добра, заложенныя въ душу каждаго человъка, и, поэтому, быть можетъ, его борьба со зломъ не принимаетъ никогда формы ръзкаго, ръши-

тельнаго или злобнаго протеста.

4. Таковы основоположенія сентиментальнаго міропониманія и настроенія. Въ такомъ чистомъ своемъ видъ оно встръчается ръдко, и нужны особыя общественныя условія, чтобы такое благодушное, инертное, смирное настроеніе охватило цълые круги общества и держалось въ нихъ долго. Обыкновенно оно долго и не держится-и критическій разумъ, и волевое отношеніе челов'яка къ жизни быстро идутъ на см'яну этому покорному и спокойному взгляду на жизнь. На Западъ сентиментализмъ достигъ своего полнаго расцвъта къ концу XVIII въка. Онъ непосредственно слъдовалъ за торжествомъ критическаго разсудочнаго решенія всехъ вопросовъ жизни, которое известно въ исторіи подъ именемъ эпохи раціонализма, и предшествовалъ тому періоду волевого энергическаго разрушенія всѣхъ устоевъ старой жизни, которое закончилось французской революціей. Въ разныхъ культурныхъ странахъ этотъ сентиментализмъ принималъ и разные оттънки. Наиболъе спокоенъ и благодушенъ сылъ онъ въ Германіи и въ Англіи — опять-таки, въ силу общественныхъ условій, въ которыхъ жили эти страны, а также и въ силу особенностей національнаго темперамента. Во Франціи онъ сразу, въ ученіи Руссо, отказался отъ своей пассивной общественной программы и примѣшалъ къ своему настроенію большую дозу страстности, которая и превратила сентименталиста въ революціонера.

У насъ, въ Россій сентиментальное міровоззрѣніе и настроеніе расцвѣли также въ концѣ XVIII вѣка, но

продержались дольше, чъмъ на Западъ, —до тридцатыхъ годовъ XIX столътія. Характеръ русскаго сентиментализма былъ въ общемъ необычайно спокойный и мирный; пожалуй, болъе благодушный, чъмъ гдъ-либо.

Проводниками и выразителями нашего сентиментализма въ его чистомъ видъ были Карамзинъ и Жуковскій. Карамзинъ изложилъ это міросерцаніе въ своихъ повъстяхъ, и въ "Письмахъ русскаго путешественника". Жуковскій первый облекъ его въ художественную форму. Онъ остался ему въренъ во всю свою долгую жизнь, и даже тогда, когда оно совсъмъ исчезло изъ русскаго общества, Жуковскій продолжалъ напоминать о немъ, хотя и не находилъ уже прежнихъ внимательныхъ и восторженныхъ поклонниковъ.

 Сама личная жизнь Жуковскаго предрасполагала его къ усвоенію этого сентиментальнаго міросозерца-

нія и къ неизм'єнному согласію съ нимъ.

Василій Андреевичъ родился въ 1783 году, въ семействъ Аванасія Ивановича Бунина. Мать его была турчанка. Крестнымъ его отцемъ былъ нъкій дворянинъ Андрей Жуковскій, который и передаль ему свою фамилію. Семейство, въ которомъ воспитывался ребенокъ, любило его, какъ родного сына, и обставило его дътство условіями, весьма благопріятными для его умственнаго и нравственнаго развитя. Семья была патріархально-дворянская, въ которой религіозныя и нравственныя основы жизни поддерживались убъжденно и настойчиво. Въ семьъ, кромъ того, были очень сильно развиты интересы умственные и литературные, и ребенокъ съ дътскихъ лътъ имълъ возможность удовлетворять и развивать врожденную ему склонность къ сознательному и поэтическому воспріятію впечатлівній жизни. Начальное образованіе Жуковскій получилъ дома, а затемъ въ городе Туле, въ одномъ частномъ пансіонъ. На образъ его мыслей и на укръпленіе въ немъ врожденнаго поэтическаго настроенія большое вліяніе оказалъ московскій университетскій благородный пансіонъ, куда онъ поступилъ въ 1797 году. Это было въ тв годы, пожалуй, самое лучшее изъ нашихъ учебныхъ заведеній, какъ по составу преподавателей, такъ и по общему своему педагогическому направленію. Наука была въ этомъ пансіонъ въ большомъ уваженіи и притомъ наука самая разносторонняя-до архитектуры и фортификаціи включительно. Рядомъ съ научнымъ образованіемъ большое вниманіе было обращено на образованіе художественное, и музыка и живопись преподавались вмъстъ съ древностями и математикой. Въ особой чести была словесность, процватание которой въ пансіонъ было довърено самимъ воспитанникамъ. Они имъли свое литературное "собраніе", предсъдателемъ котораго одно время быль Жуковскій. Акты этого заведенія были настоящими литературными праздниками, и всъ литературныя знаменитости того времени оказывали воспитанникамъ особое внимание и покровительство. Большое значение для умственнаго и нравственнаго развитія учащейся молодежи им'єль и общій духъ, въ какомъ велось въ этомъ заведении и воспитание, и обученіе. Это былъ религіозно-нравственный духъ нъмецкихъ гуманистовъ "піэтистовъ" средины и конца XVIII въка, которые съ особымъ благоговъніемъ относились ко всъмъ возвышеннымъ сторонамъ человъческой жизни. Критики и анализа въ ихъ міропониманіи было мало, но зато религія, свободная и основанная на свободномъ и глубокомъ чувствъ, нравственность, самая альтруистическая, любовь и уважение къ просвъщенію, преклоненіе предъ искусствомъ и широкое признаніе достоинства челов' вка-были основными положеніями ихъ ученія. На сентиментальную натуру Жуковскаго это ученіе оказало самое благотворное вліяніе. Оно помогло ему осмыслить еще неукръпившіяся мысли и неустановившееся настроеніе, которые зат'ємъ, по выходъ Жуковскаго изъ пансіона, сложились быстро въ цълое міросозерцаніе.

Васили Андреевичь очень рано созналъ свое собственное призваніе и, окончивъ ученіе, записался въ литераторы. Два года, съ 1808 до 1810, былъ онъ редакторомъ очень извъстнаго тогда журнала — "Въстникъ Европы". Мирное теченіе его литераторской жизни было, однако, скоро нарушено. Ему пришлось пережить семейную драму, которая оставила неизгладимый слъдъ на всей его послъдующей жизни и на его твор-

чествъ. Это была его любовь къ его племянницъ Маріи Андреевнъ Протасовой, —любовь, которая сулила и ему, и ей большое счастье, если бы мать дъвушки (сестра Жуковскаго по отцу) не воспротивилась этому браку, подъ предлогомъ родства жениха и невъсты (которое на самомъ дълъ было родство очень отдаленное). Молодымъ людямъ пришлось склониться передъ волею старшихъ, но съ этимъ ръшеніемъ Жуковскій всю жизнь не могъ помириться, хотя и сохранялъ наружное, видимое спокойствіе, когда племянница его вышла замужъ, кажется, уступая болъе волъ матери, чъмъ собственной склонности. Эта печальная исторія завершилась ранней смертью Маріи Андреевны, и неудовлетворенная любовь, трагедія людьми разлученныхъ любящихъ сердецъ и ранняя могила-стали излюбленными поэтическими мотивами въ стихотвореніяхъ Жуковскаго. По сентиментальной своей природъ, и безъ того склонный къ меланхоліи, Жуковскій им'влъ теперь реальное оправдание своей грусти, и нътъ сомнънія, что этотъ эпизодъ, омрачившій его юность, наложиль свою печать на все сентиментальное міросозерцаніе Жуковскаго, придавъ ему особенно мечтательный и меланхолическій характеръ.

Въ годъ Отечественной войны мы находимъ Жуковскаго въ рядахъ ополченцевъ: онъ участвуетъ въ Бородинскомъ сраженіи, и въ лагерт подъ Тарутиномъ пишеть свой патріотическій гимнъ-"Пъвецъ въ станъ русскихъ воиновъ", про который современники говорили, что за него должно дать автору Георгія 1-ой степени. Патріотическое воодушевленіе, охватившее тогда все наше общество, а также и сердечная тоска заставили Жуковскаго искать славы воина. Но военнаго духа было въ немъ менъе, чъмъ въ комъ-либо, и онъ тотчасъ же послъ войны вернулся къ мирнымъ занятіямъ. Жилъ онъ поперемѣнно то въ столицахъ, то въ деревнъ, то въ городъ Дерптъ, куда переселились его родственники, жилъ тихой жизнью литератора и художника. Въ эти годы падаетъ окончательная выработка его сентиментальнаго міросозерцанія, которое онь развиваеть подробно въ своей перепискъ и обле-

каетъ въ художественную форму въ своихъ стихотво-

реніяхъ. Онъ пишетъ много и бодро принимаетъ участіє въ литературномъ движеніи молодыхъ силъ, вступающихъ въ защиту новизны и "народности" противъ старыхъ литературныхъ формъ и подражанія. Успѣхъ его у читателей растетъ очень быстро; талантъ его зрѣетъ

съ каждымъ годомъ.

Къ этому времени относится и первое сближение Жуковскаго съ Императорскимъ Домомъ – сближеніе, которое имъло такое ръшающее вліяніе на всю его пальнъйшую жизнь. Его патріотическія стихотворенія: "Пъвецъ въ станъ русскихъ воиновъ", "Посланіе къ Императору Александру І" и "Пъвецъ въ Кремлъ" обратили на него внимание Двора. Онъ былъ представленъ императрицъ, ему дали пожизненную пенсію, а въ 1817 году онъ былъ назначенъ учителемъ русскаго языка при великой княгинъ Александръ Өеодоровнъ. Наконецъ, въ 1827 году императоръ Николай Павловичъ поручилъ ему воспитание наслъдника, будущаго императора Александра II. Эта близость ко Двору оградила Жуковскаго отъ всякихъ внъшнихъ тревогъ жизни, дала ему возможность спокойнаго наблюденія надъ нею. но налагала на все, что онъ писалъ и говорилъ, извъстныя обязательства. И безъ того спокойный и ровный ходъ его мыслей сталъ еще спокойнъе и осторожнъе, и педагогическое, дидактическое направление его поэзіи-еще зам'ятн'я. Жуковскій понялъ свою роль воспитателя при Наследнике въ самомъ возвышенномъ и отвътственномъ смыслъ: онъ все свое внимание и время отдалъ этому дълу, и любимыя литературныя занятія стали заполнять лишь часы его досуга, Много лътъ прожилъ Жуковскій при Дворъ, и только съ совершеннольтіемъ Насльдника могь считать свой трудь законченнымъ. Этотъ періодъ его жизни былъ богатъ впечатлъніями. Жуковскій неоднократно ъздилъ за границу, сначала одинъ, а въ 1838 г. и съ Наслъдникомъ. Съ нимъ же объездилъ онъ и Сибирь, и Россію въ 1837 году. Дворцовая жизнь не измънила его характера и той сердечной простоты, которая всегда его отличала, и много добра смогъ онъ сдълать нашей литературѣ въ лицѣ многихъ ея представителей, за которыхъ заступался передъ царемъ, либо обращая его вниманіе на лицъ талантливыхъ, либо защищая ихъ отъ слишкомъ придирчивой цензуры, либо, какъ это было съ декабристами, стремясь добиться улучшенія ихъ участи. Жуковскій былъ посредникомъ между русской словесностью и правительственной властью, которая въ тъ годы крайне подозрительно относилась къ печат-

ному слову.

Годы текли; Жуковскій быль уже старикъ, когла и ему улыбнулось, наконецъ, семейное счастье. Въ 1841 г. онъ женился на дочери своего стараго пріятеля, нѣмпа Рейтерна. Хоть ему самому было тогда лъть полъ шестьдесять, и жена его годилась ему въ дочери, тъмъ не менъе этотъ неровный бракъ былъ счастливымъ. хотя и недолгимъ. Жуковскаго и его молодую жену соединяла не только любовь, но и общность ихъ сентиментальнаго и религіознаго настроенія. Это настроеніе въ душъ Жуковскаго съ годами кръпло, въ семьъ Рейтерна оно нашло себъ живую поддержку, и послъдніе годы его жизни протекли въ мирномъ религіозномъ размышленіи и тихой литературной работъ. Живя въ Германіи, куда онъ переселился, старикъ вновь почувствовалъ приливъ вдохновенія, и въ последнія 10 летъ своей жизни съ бодрымъ духомъ отдался литературной работъ, и она была очень плодотворна. Скончался Жуковскій въ апрълъ 1852 года; жена его скоро за нимъ послъдовала.

6. Такова была жизнь поэта. Огражденная отъ всякихъ бурь внъшнихъ и богатая внутреннимъ содержаніемъ, эта жизнь не располагала къ напряженію воли или къ борьбъ, она была полна раздумья и мечтанія. Вся поэтическая дъятельность Жуковскаго была отраженіемъ этихъ думъ и этихъ мечтаній, и во всемъ, что онъ создалъ, много теплоты, искренности, живости воображенія, порой глубокой мысли, въ особенности много добрыхъ чувствъ, но почти совсъмъ нътъ энергіи, порыва и смълаго критическаго отношенія къ жизни.

Литературное наслъдство Жуковскаго значительно и очень разнообразно по внъшней формъ, хотя и одно-

образно по содержанію.

Прежде чъмъ давать обзоръ его произведеній, нужно однако коснуться одного основного вопроса, отъ ръще-

Если не считать самыхъ раннихъ стихотворныхъ

нія котораго многое зависить въ оцінкі Жуковскаго какъ поэта. Онъ былъ преимущественно переводчикъ. Правда, у него не мало оригинальныхъ пъсенъ, но настроеніе и смыслъ этихъ пъсенъ повторены, и гораздо глубже, и ярче въ его переводахъ. Кто же онъ-искусный переводчикъ или оригинальный поэтъ? Самъ Жуковскій, самомнъніемъ никогда не отличавшійся, не хотълъ признать себя только переводчикомъ, и всъ переводные свои стихи считалъ "своими", и онъ былъ правъ. Онъ, во-первыхъ, никогда не переводилъ ради перевода, а переводилъ лишь тъ произведенія, которыя по духу своему были ему родственны. Онъ переживалъ каждое стихотвореніе чужого автора, вынашивалъ его въ своемъ умѣ и сердцѣ, и только тогда, когда оно вполнъ выражало его собственную мысль и его настроеніе, онъ переводилъ его, или по-своему излагалъ его, приноровляя иногда къ русской жизни. Неръдко дълалъ онъ также въ чужихъ стихотвореніяхъ вставки отъ себя, примънительно къ собственному настроению или фактамъ своей жизни. Онъ пользовался, такимъ образомъ, иностранными образцами для колоритнаго и яркаго выраженія того міросозерцанія, которое было плодомъ его собственнаго долгаго раздумья и поэтическаго проникновенія въ жизнь. Оставаясь вполить свободнымъ въ выборъ темъ для переводовъ, онъ всегда влагалъ нъчто ему самому принадлежащее въ каждаго автора, съ которымъ онъ знакомилъ нашу публику.

7. Въ исторіи развитія творчества нашего поэта нельзя установить какихъ-нибудь рѣзко другъ отъ друга отличныхъ періодовъ, такъ какъ никакихъ переломовъ Жуковскій, какъ мыслитель и поэтъ, не переживалъ. Онъ въ старости былъ тотъ же молодой Жуковскій. Если ужъ группировать его стихи, то ихъ надобно дѣлить по отдѣльнымъ мыслямъ: религіознымъ, нравственнымъ, патріотическимъ, или эстетическимъ, какія входятъ въ его цѣлое "сентиментальное" міропониманіе. И тогда стихи ранняго періода окажутся тѣсно слитыми со стихотвореніями, написанными въ послѣдніе годы его жизни. Прежде чѣмъ излагать собственными словами поэта и его образами это цѣльное сентиментальное міровоззрѣніе, дадимъ краткій очеркъ развитія творчества нашего поэта.

опытовъ, мало характерныхъ, то литературная дъятельность Жуковскаго началась въ 1802 году, когда онъ перевель извъстную элегію Грея "Сельское кладбище" тихое, мирное стихотвореніе, въ которомъ уже вполнъ выразилось основное "сентиментальное" настроение нашего автора. Религіозное преклоненіе передъ тайнами жизни, отказъ отъ сильныхъ страстей, мысль о близости кончины и о тщетъ всего земного, кротость сердца, смиренное исполнение нравственнаго долга, мечтательная любовь-воть тоть кругь настроеній и чувствъ, въ какихъ утопалъ тогда молодой мечтатель. Онъ очень любилъ такое кроткое, отъ всякихъ требованій отръшенное настроеніе, и всю жизнь выискивалъ его преимущественно у англичанъ и у нъмцевъ. Въ нъмецкой и англійской поэзіи конца XVIII въка и начала XIX в. такихъ мотивовъ было очень много, и еще въ стихотвореніяхъ Гебеля, Маттисона, Томсона они достигали достаточной степени художественной разработки. Но Грей, кажется, больше всего пришелся по душъ Жуковскому, судя по тому, что онъ подъ самый конецъ своей жизни вновь къ нему вернулся и перевелъ во второй разъ то же самое "Сельское Кладбище", съ котораго началась его литературная работа. Скоро, однако, къ этому совсѣмъ мирному и кроткому тону въ поэзіи Жуковскаго прибавился новый болъе тревожный и по краскамъ болъе яркій. Подъ впечатльніемъ патріотическаго подъема чувствъ въ 1812 году муза Жуковскаго стала воинственна и въ достаточной степени горда. Такія стихотворенія, какъ "П'євецъ въ станъ русскихъ воиновъ" (1812), "Императору Александру" (1814), "Пъвецъ въ Кремлъ" (1814). "На рождение В. К. Александра Николаевича" (1818) - образцы патріотическихъ одъ и гимновъ, красивыхъ, звучныхъ, полныхъ восторженнаго подъема. Жуковскій сохранилъ къ нимъ склонность на всю свою жизнь, хотя не злоупотребляль этимъ родомъ творчества. Въ общемъ, очень мирно и элегически настроенный, онъ въ этихъ гимнахъ поднимался до паеоса, и кажется, что изъ всъхъ страстей земныхъ онъ былъ доступенъ одной только этой національно-патріотической страсти.

Почти одновременно съ этими патріотическими стихами, въ лирикъ Жуковскаго подмъчается и другая тревожная нота. Онъ увлекается стихами Шиллера и усваиваетъ тотъ драматизмъ, который Шиллеръ такъ. любилъ вносить въ свое стихотворенія. Тема религіозная, нравственное наставленіе, въ особенности борьба. добраго и злого начала облекаются въ форму балладъ, съ очень занятной интригой, страстной, полной движенія, иногда съ примъсью элемента страшнаго и ужаснаго. Подъ впечатлъніемъ балладъ Шиллера и родственныхъ ему въ этомъ смыслѣ англичанъ и нѣмцевъ, какъ, напримъръ: Уландъ, Бюргеръ, Саути и Вальтеръ-Скотть, Жуковскій самъ сочиняеть оригинальныя баллады и тъмъ обогащаеть нашу русскую стихотворную форму. Къ числу этихъ полныхъ драматизма балладъотносятся "Кассандра" (1809), "Ивиковы журавли" (1810), "Ахиллъ" (1814), "Графъ Габсбургскій" (1818), "Смальгольмскій баронъ" (1822), "Торжество поб'єдителей" (1828), "Поликратовъ перстень" (1829), "Жалоба Цереры" (1829), "Ленора" (1829), "Кубокъ" (1829), "Перчатка" (1829), "Покаяніе" (1829), "Сраженіе созм'вемъ" (1831), "Рыцарь Роллонъ" (1832).-Всв эти произведенія, при всемъ различіи въ ихъ содержаніи, связаны одной общей мыслью, которая и руководила Жуковскимъ, когда онъ ихъ обрабатывалъ. Эта мысльнравственная и религіозная въ одно и то же время, мысль о Провиданіи, которое ведеть насъ къ добру, мысль о томъ, что всякій порокъ найдеть рано или поздно свою кару, и что доброе, нѣжное, смиренное чувство — лучшій залогь земного счастья. Это были излюбленныя мысли Жуковскаго, и тъ даже самые даровитые писатели, которые недостаточно эти мысли оттъняли или въ ихъ правотъ сомнъвались, не привлекали къ себъ сердца Жуковскаго, и онъ бралъ изъихъ стиховъ очень мало. Такъ напримъръ, онъ очень мало взялъ у Гете, и изъ всехъ стихотвореній Байрона перевелъ только самое его смиренное стихотвореніе-"Шильонскій узникъ" (1821). Жуковскій любилъ, чтобы нравственная мысль проступала явственно наружу. Къчислу балладъ съ такой нравственной тенденціей относится и извъстная его длинная поэма "Двънадцать

«пящихъ дѣвъ" и "Вадимъ" (1810) — въ которой проведена мысль объ искупленіи преступленія покаяніемъ и о наградъ за любовь и смиреніе. Поэма эта съ сюжетомъ очень драматическимъ (также заимствованнымъ изъ западной литературы) - самое цъльное произведеніе Жуковскаго первыхъ льтъ его творчества. Она замъчательна также, какъ попытка пригнать иностранный сюжетъ къ легендарной древне-русской обстановкъ. Религіозно-нравственная мысль съ богатымъ драматическимъ движеніемъ проведена и въ повъсти Фуке "Ундина", которую Жуковскій переложиль въ стихи. И въ этой повъсти любовь и смиреніе торжествують свою побъду надъ страстью, и страсть несеть наказаніе за свою жестокость и за забвеніе нравственнаго долга. Эта же мысль о забвеніи нравственнаго долга - мысль, понятая очень строго, даже слишкомъ жестоко, — заставила Жуковскаго такъ полюбить извъстную драму Шиллера "Орлеанскую Дъву", которую онъ и перевелъ съ удивительнымъ мастерствомъ (1821).

Религіозная и нравственная идея облекалась у Жуковскаго иногда и въ форму менъе драматичную, боболъе спокойную и эпическую. Къ числу такихъ произведеній можеть быть отнесень, напримърь, переводъ мзъ "Мессіады" Клопштока--"Аббадонна" (1814) -- элегія на тему о грусти, съ какой падшій и грізшный человъкъ вспоминаетъ о раъ, т. е. объ утраченной чистотъ своего сердца. Много религіознаго чувства вложено поэтомъ и въ стихотвореніе "Выборъ Креста" (1844), въ необычайно спокойный разсказъ о томъ, сколь тщетенъ бываетъ ропотъ человъка на Бога, который знаеть, какой кресть какому человъку нести въ жизни должно. Религіознымъ смиреніемъ проникнута и знаменитая драматическая поэма "Камоэнсъ" (1839), заимствованная Жуковскимъ у Гальма. Въ этомъ разсказъ о стойкости, съ какой истинно вдохновенный и религіозно настроенный поэтъ переноситъ всъ удары судьбы, всв несчастья земной жизни, нашъ поэтъ изложилъ свой личный взглядъ на призваніе художника въ міръ, и поэма "Камоэнсъ" стала какъ бы исповъдью Жуковскаго. Такою же исповъдью была и широко задуманная поэма "Агасверъ" (1852), надъ которой Жу-

ковскій работаль въ последній годь своей жизни. Смерть пом'вшала ему окончить поэму, но ея основная мысль ясна и въ отрывкъ. Это - переложение старой легенды объ Агасверъ, который осужденъ былъ скитаться по землѣ до второго пришествія за то, что оттолкнулъ Христа отъ порога своего дома, когда Христа вели на распятіе. Въпоэмѣ Жуковскаго Агасверъ, гръхомъ отягченная душа, которая жажетъ покоя, Покой и спасеніе мыслимы для нея только въ въръ, въ въръ во Христа, Котораго она не признала. И самое сильное мъсто поэмы Жуковскаго, - это тъ страницы, на которыхъ разсказано покаяніе Агасвера и смиреніе его мятежной души передъ всепрощающей благостью въры. Эти страницы имъютъ автобіографическое значеніе: въ нихъ излилась собственная предсмертная молитва автора.

Мирный и ровный тонъ "Агасвера" вполнъ гармонируетъ съ тономъ всѣхъ стихотвореній, надъ которыми Жуковскій работаль въ послѣдніе годы своей жизни. По натуръ своей вообще человъкъ спокойнаго созерцанія, Жуковскій подъ старость сталь совстямь благочестивымъ и набожнымъ мыслителемъ и моралистомъ. Это сказалось на его поэзіи не только въ выборъ религіозныхъ сюжетовъ, но и въ пониженіи тревожнаго настроенія въ самихъ стихотвореніяхъ. Онъ съ особенной любовью обратился къ народному эпическому творчеству, художественно пересоздалъ нъсколько народныхъ сказокъ и обогатилъ нашу литературу чудесными переводами: "Одиссеи". "Наля и Дамаянти" (1841) и "Рустема и Зораба" (1844-7). Излюбленныя христіанскія мысли автора — смиреніе передъ высшей волей, искупленіе гръха, награда праведному и отстрадавшему человъку - проступали наружу въ этихъ языческихъ поэмахъ изъ греческой, индійской и старо-персидской жизни, и въ нихъ чувствовалось религіозное настроеніе смирившагося созерцателя, который на жизнь смотритъ какъ на подвигъ, совершаемый человъкомъ во имя чего-то иного и болъе высокаго, чъмъ наша кратковременная и страстями сжигаемая земная жизнь.

Такъ цълостно и въ себъ замкнуто было міросозерцаніе и настроеніе Жуковскаго за всю его жизнь. Началась литературная дѣятельность Василія Андреевича словами: "Да будетъ Воля Твоя" и этими же словами и кончилась. "Неподвижною" назвалъ эту поэзію одинъ изъ близкихъ друзей Жуковскаго, и она, дѣйствительно, въ мысляхъ и настроеніяхъ была неподвижна, хотя, какъ мы видѣли, и обнаруживала нѣкоторое движеніе во внѣшнихъ формахъ. Она была въ самыхъ раннихъ годахъ своего развитія элегически мирная, ровная и тихая; затѣмъ въ ней сталъ преобладать драматическій элементъ и, наконецъ, въ послѣдніе годы она вновь пріобрѣла, но уже не лирическое, только, а эпическое, ясно религіозное спокойствіе.

Мирное чувство на зарѣ жизни, слегка тревожное въ зрѣлые годы и примиренно-созерцательное подъ старость — вотъ въ какой внѣшней оболочкъ являлось передъ русскимъ читателемъ — впервые въ художественныхъ стихахъ — то "сентиментальное" міровоззрѣніе, которое въ началѣ XIX вѣка было очень обычнымъ

отвътомъ на всъ серьезные вопросы жизни.

8. Первое, что должно отмътить, когда говоришь о сентиментальномъ настроеніи, это - его искреннюю религіозную основу. На ней, собственно, построено все сентиментальное міропониманіе; и въ нашей литературъ Жуковскій наиболье религіозный поэть: мысль о Богьего постоянная мысль, которую онъ облекаетъ то въ стихотворную форму, то въ форму прозаическихъ разсужденій. Богъ — всему цѣль, и цѣль науки, и вообще всей духовной жизни человъка. Онъ одинъ только паеть знанію жизнь. Весь смыслъ науки въ томъ, чтобы помочь намъ понять Бога. Богъ есть и высшая нравственность. Религія истинная и нравственная совершенно одно и то же. Кто возвышаетъ душу свою, тотъ сближается съ Богомъ. Богъ есть каждое прекрасное чувство, — оно есть Его видимый или слышимый и чувствуемый образъ. Человъкъ образуется для въры въ Бога и для безусловнаго преданія воли своей въ высшую волю:

На потребу мнѣ одно — Покорность и предъ Господомъ всей воли Уничтоженіе. О, сколько силы, Какая сладость въ этомъ словѣ сердца:

"Твое, а не мое да будеть!" Въ немъ Вся человъческая жизнь! въ немъ наша Свобода, наша мудрость, наши всѣ Надежды; съ нимъ нѣтъ страха, нѣтъ заботъ О будущемъ, сомнѣній, колебаній; Имъ все намъ ясно; случай исчезаетъ Изъ нашей жизни; мы своей судьбы Властители, понеже власть Тому Надъ нею предали смиренно, Кто Одинъ всесиленъ, все за насъ, для насъ И нами строитъ, намъ во благо.

Богь—источникъ и конецъ нашъ, и если нѣтъ вѣры въ Него, то нѣтъ и жизни. Вѣра есть добровольное покореніе разсудка, и въ то же время любовь къ Тому, кто даетъ откровеніе. Откровеніе есть голосъ съ того свѣта. Одна вѣра возвращаетъ душѣ человѣческой утраченное ею подобіе Божіе, и въ этой вѣрѣ вся награда праведника.

Я съ Нимъ, Онъ мой, Онъ все, въ Немъ все, Имъ все,

Все отъ Него, Все одному Ему.

Жуковскій върилъ въ неустанную и благую опеку Божества. Неправда сама себя губитъ, — говоритъ онъ, — и никогда правда не имъла губительныхъ послъдствій: это правило жизни, не терпящее исключеній. Мы здъсь, на землъ—не что иное, какъ путешественники по землъ Провидънія. Всякій случай жизни есть средство къ прекрасному. Даже зло посылается Богомъ для нашего же добра. Умъть во всякое время, во всъхъ обстоятельствахъ жизни произносить смиренно: "Да будетъ Твоя воля" есть верховная наука жизни. Отецъ небесный готовитъ насъ для въчности. Все истекаетъ отъ Бога, и явное благо, называемое нами добромъ, и неявное, которое кажется намъ зломъ. Случая нътъ. Все, что ни встръчается съ нами въ жизни—есть Богъ въ разныхъ видахъ.

Лучшій другь намъ въ жизни сей Въра въ Провидънье. Благъ Зиждителя законъ; Здъсь несчастье—лживый сонъ; Счастье — пробужденье.

9. При такомъ религіозномъ взглядѣ на жизнь, какъ упрощается вся жизненная задача! Сколько страховъ

отпадаетъ и сколь несложными являются всѣ наши обязанности! "Одного, душа, не позволяй себѣ, -говоритъ поэтъ, —ропота и отрицанія"... Это бѣдствіе не отъ Бога. Все прочее есть имъ даруемый крестъ. Пусть будетъ кругомъ мракъ — Богъ разсѣетъ его, когда найдетъ нужнымъ:

Еще лежитъ на небѣ тѣнь; Еще далеко свѣтлый день; Но живъ Господь, Онъ знаетъ срокъ: Онъ вышлетъ утро на востокъ.

При такой вѣрѣ никакое осужденіе жизни не имѣетъ власти надъ душой человѣка; и Жуковскій былъ рѣшительный противникъ такого осужденія. Отчаянія и осужденія не можетъ быть тамъ, гдѣ есть свѣтъ евангельской истины, —говорилъ онъ. —Какъ скоро откровеніе освѣтило душу, и вѣра сошла въ нее, ея скорбь обращается въ высокую дѣятельность, не производитъ въ душѣ раздора съ окружающимъ міромъ и оцѣниваетъ его блага. Пусть прекрасное гибнетъ въ пышномъ цвѣтѣ— "таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ", пусть въ нашей жизни "вѣрны лишь утраты и милому мгновенье лишь дано" —мы будемъ неправы и совершимъ грѣхъ, если начнемъ роптать или просить у Бога, чтобы онъ прервалъ нашу жизнь; надо высоко думать о жизни и человѣкѣ, въ ожиданіи лучшей небесной жизни:

Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы, И жизнь мить земная священна; При мысли великой, что я — человткъ, Всегда возвышаюсь душою.

Но мысль о загробномъ блаженствъ не должна мъшать намъ быть добрыми и въ этой жизни:

Довъренность къ Творцу!
Что бъ ни было — Незримый Ведетъ насъ къ лучшему концу Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно вслъдъ!
Прочь низкое, прочь злоба!
Духъ бодрый на дорогъ бъдъ
До самой двери гроба;

Лишь тому, въ комъ чувства нѣтъ. Путь земной ужасенъ. Счастье въ насъ, и Божій свѣтъ Нами лишь прекрасенъ!

Рай есть и на землъ, только не слъдуетъ требовать отъ этихъ райскихъ мгновеній длительности. Они мелькаютъ быстро, смъняясь печалью и страданіемъ въожиданіи въчнаго свъта и счастія—тамъ, за гробомъ...

Но если человъкъ не долженъ подпадать отчанню и излишней скорби, то меланхолія— чувство вполнъ законное. Никто изъ нашихъ писателей не испыталъ на себъ ея нъжной власти такъ часто, какъ Жуковскій. Вотъ что писалъ онъ о ней еще въ ранней юности:

"Кого не трогаетъ чувствительность, - говоритъ онъ. -Кто не предавался меланхоліи? Кто не мечталъ въ тишинъ уединенія о своей участи, не строилъ воздушныхъ замковъ, не бросалъ унылаго взора на минувшее время юности? Молодой человъкъ, съ пламенною душою хотълъ бы, кажется, всю натуру прижать къ своему сердцу. Всюду летають за нимъ мечты, сін метеоры юнаго воображенія. Взоръ его стремится въ будущее: надежды, желанія волнують его сердце; онъ вопрошаеть судьбу хочеть узнать, что готовится ему за таинственнымъ покровомъ которымъ закрыта она отъ взоровъ любопытныхъ; самъ за нее отвъчаетъ себъ, играетъ призраками, и счастливъ. Но какъ скоротечна сія пылкая, живая молодость! Увядають чувства, п бъдный человъкъ, лишенный магической силы, которая прежде созидала вокругъ него волшебный міръ, напрасно унылымъ взоромъ ищетъ прелестей въ пышной, великолъпной натуръ: вокругъ него — развалины. Гробъ и смерть остались для него въ будущемъ, воспоминанія — въ прошедшемъ, воспоминанія прелестныя и вмъстъ печальныя" (1803).

"Меланхолія, — говорилъ поэтъ, — не есть ни горесть, ни радость; я назвалъ бы ее оттънкомъ веселья на сердцъ печальнаго, оттънкомъ унынья на душъ счастливца".

Такой поэтичной и заманчивой казалась меланхолія Жуковскому въ его ранніе годы. Подъ старость онъ нъсколько измѣнилъ свой взглядъ на нее, называлъ ее лѣнивой нѣгой, грустной роскошью, мало-по-малу изнуряющей и, наконецъ, губящей душу. Его души она, впрочемъ, не погубила, а всегда настраивала ее необычайно поэтично. Самые задушевные его стихи всъ меланхоличны:

Къ младенчеству-ль душа прискорбная летитъ, Считаю-ль радости минувшаго—какъ мало! Нътъ! счастье къ бытію меня не пріучало; Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ. Едва въ душъ своей для дружбы я созрѣлъ— И что-же!... предо мной увядшаго могила. Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила. Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту, Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья. И невозвратное надеждъ уничтоженье. Изсякшія души наполню-ль пустоту? Какое счастіе мнъ въ будущемъ извѣстно? Грядущее для насъ—протекшимъ лишь прелестно!

И много такихъ печальныхъ мотивовъ въ его поэзіи. И раннія могилы, и смертью пресъченная дружба, и любовь, увядшая нежданно, и грусть въ ожиданіи тѣхъ испытаній, которыя готовитъ жизнь, и страхъ за живость впечатлительности и собственная кончина—и все же,—говорилъ онъ въ одномъ изъ самыхъ лучшихъ своихъ оригинальныхъ стихотвореній ("Теонъ и Эсхинъ", 1814):—

О! Върь мнъ, прекрасна вселенна! Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ: Все въ жизни къ великому средство; И горесть, и радость—все къ цъли одной: Хвала жизнедавцу—Зевесу!

10. Спокойное міросозерцаніе Жуковскаго окрасило нѣжными и мягкими красками даже самую страшную тайну жизни—тайну смерти. Рѣдко кто изъ поэтовъписателей говорилъ такъ часто о смерти, какъ онъ. Онъ думалъ о ней еще въ дѣтскіе годы и повторялъ въ своихъ первыхъ стихахъ излюбленныя сентиментальныя пѣсни на тему смерти; затѣмъ, когда любимая имъ женщина умерла такъ неожиданно и безвременно, мысль о смерти стала навѣщать его чаще и приняла въ его мечтахъ покорную религіозную окраску. Онъ писалътогда:

19-го МАРТА 1823.

Ты удалилась, Какъ тихій ангелъ; Твоя могила, Какъ рай, спокойна. Тамъ все земныя Воспоминанья, Тамъ всъ святыя О небъ мысли, Звъзды небесъ! Тихая ночь!

И, дъйствительно, всъ святыя мысли о небъ были съ тъхъ поръ неразлучны для него съ мыслью о смерти. Подъ конецъ своей жизни онъ много размышлялъ о ней и старался, какъ философъ и какъ богословъ, выяснить людямъ ея смыслъ и ея примиряющую роль въ жизни. Въ общемъ онъ всегда смотрълъ на смерть, какъ на великую утъшительницу во скорбяхъ жизни На самой заръ своей жизни (1809) онъ восклицалъ;

Ахъ! скоро-ль прилетитъ послѣдній, скорбный часъ, Конца и тишины желанный возвѣститель? Промчись, печальная невѣдѣнія тѣнь! Откройся, тайныхъ брегъ утраченныхъ обитель! Откройся, мирная, отеческая сѣнь!

Онъ во всякомъ случать не страшился приближения смерти и онъ не могъ себть представить большей казни какъ жить безъ надежды умереть, жить такъ, какъ жилъ герой его предсмертной поэмы "Агасверъ"— который искалъ смерти и не могъ нигдть найти ее. Для нашего поэта могила была "путемъ къ втчной жизни" исполненіемъ встать обтышаній, мъстомъ "отдыха", знакомой, тайной страной, гдть намъ должно быть возвращено все, что мы утратили на землть; "мъстомъ, гдть мы забываемся сномъ безпробуднымъ, быть можетъ, сны прекрасные видя". Смерть не есть отрицаніе этой жизни а ея утвержденіе,—говоритъ поэтъ.

Понятно, какъ такое спокойное ожиданіе блаженной смерти должно было обезоруживать гнъвъ человъка и подавлять въ немъ всякій тревожный ропотъ. И Жуковскій не умъть ни роптать, ни сердиться.

11. Хоть взоръ нашего поэта и бывалъ часто устремленъ за предѣлы земной жизни, красота земли, ея радости и свѣтлые лучи всегда будили въ поэтѣ творческую мечту и его умиляли. Онъ любилъ красоту природы и любилъ ее описывать. Рѣдкое стихотвореніе обходится безъ метафоръ, взятыхъ изъ этой области проявленія красоты въ жизни. Пейзажъ Жуковскаго то очень мирный и тихій, ласкающій и нѣжный, то необычайно бурный, стремительный полный мрачныхъ красокъ, — сообразно сюжету, о которомъ говоритъ поэтъ. Нужно зам'єтить, однако, что мирныя картины природы удавались ему лучше, чѣмъ грозныя Иногда тотъ и другой колоритъ и темпъ встрѣчаются въ одномъ стихотвореніи, и получается очень красивая элегія какъ, напримѣръ, стихотвореніе "Море" (1822)

Безмолвное море, лазурное море, Стою очарованъ надъ бездной твоей Ты живо: ты лышишь: смятенной любовью. Тревожною думой наполнено ты. Безмолвное море, лазурное море. Открой мив глубокую тайну твою: Что движеть твое необъятное лоно? Чѣмъ дышитъ твоя напряженная грудь? Иль тянетъ тебя изъ земныя неволи Далекое, свътлое небо къ себъ?... Таинственной, сладостной полное жизни, Ты чисто въ присутствіи чистомъ его: Ты льешься его свътозарной дазурью. Вечернимъ и утреннимъ свътомъ горишь, Ласкаешь его облака золотыя И радостно блещень звъздами его. Когда же сбираются темныя тучи, Чтобъ ясное небо отнять у тебя-Ты быешся, ты воешь, ты волны подъемлешь, Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу... И мгла исчезаетъ, и тучи уходятъ; Но, полное прошлой тревоги своей, Ты долго вздымаешь испуганны волны, И сладостный блескъ возвращенныхъ небесъ Не вовсе тебъ тишину возвращаетъ; Обманчивъ твоей неподвижности видъ; Ты въ безднъ покойной скрываешь смятенье, Ты, небомъ любуясь, дрожишь за него.

Сначала поэтъ стремился отыскивать въ природъ красивыя очертанія для поясненія своего поэтическаго настроенія, потомъ онъ искалъ въ ней,—какъ и во всемъ въ жизни—религіознаго смысла и видълъ въ ней "Господнюю развернутую книгу, гдъ каждая буква благовъститъ Его Евангеліе". Онъ говорилъ:

Среди Господней Природы, я наполненъ чуднымъ чувствомъ Уединенія, въ неизреченномъ Его присутствіи, и чудеса Его созданія въ моей душъ Блаженною становятся молитвой; Молитвой-но не призываньемъ въ часъ Страданія на помощь, не прошеньемъ, Не выраженьемъ страха иль надежды, А смирнымъ, безсловеснымъ предстояньемъ И сладостнымъ глубокимъ постиженьемъ Его величія, Его святыни, И благости, и безпредъльной власти, И сладостной сыновности моей, И моего предъ Нимъ уничтоженья:-Невыразимый вздохъ, въ которомъ вся Душа къ Нему, горящая, стремится-Такою предъ Его природой чудной Становится моя молитва.

12. Съ истинно религіознымъ и благоговъйнымъ чувствомъ относился Жуковскій и ко всъмъ радостямъ жизни вообще. Изъ этихъ радостей въ своихъ стихахъ онъ славословилъ всего больше любовь и дружбу, и высшимъ счастіемъ человъка считалъ увънчаніе любви семьей и дружбы — общимъ дъломъ. Жуковскій былъ первый изъ нашихъ писателей, который для любви нашелъ въ стихахъ искренніе и необычайно мелодичные звуки, — иногда спокойные, иногда очень энергичные:

Увы! пора любви придеть:
Вамъ сердце тайну скажеть,
Для васъ она украситъ свѣть,
Вамъ милаго покажеть;
И взоръ наполнится тоской,
И тихимъ грудь желаньемъ,
И, распаленныя душой,
Влекомы ожиданьемъ,
Для васъ взойдетъ краснѣе день,
И будетъ лугъ душистѣй,
И сладоствѣй дубравы тѣнь,
И птичка голосистѣй.

Любви сей полный кубокъ въ даръ! Среди борьбы кровавой, Друзья, святой питайте жаръ: Любовь одно со славой. Кому здѣсь жребій удѣленъ
Знать тайну страсти милой.
Кто сердцемъ сердцу обрученъ.—
Тотъ смѣло, съ бодрой силой
На все великое летитъ.
Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;
Чего, чего не совершитъ
Для сладостной награды?

Съ такой же искренностью воспъваль онъ и дружбу, выдерживая, впрочемъ, свою пъсню все больше въ минорномъ тонъ и вспоминая своего перваго близкаго друга, Андрея Тургенева, рано унесеннаго смертью.

13. Рядомъ съ мотивами религіозными и чисто личными Жуковскій въ своихъ стихахъ часто затрогивалъ и темы патріотическія. Онъ быль большой патріотъ, искреннъйшій приверженецъ самодержавія и молитвенникъ о Россіи, въ великое и міровое призваніе которой онъ върилъ. Онъ върилъ, что у Россіи есть "особенный союзъ съ Богомъ", что "Божья Правда почіетъ на ней", что "Россія призвана произрастить богатую жатву гражданскаго благоденствія". Для достиженія этой цъли она должна оторваться отъ насильственнаго вліянія на нее. Европы, у которой она заняла богатство образованности, но за которой донынъ слишкомъ покорно стремилась. Россія, - мечталъ онъ, - должна вступить въ особенный, самимъ Промысломъ ей проложенный путь: она не будетъ Европа, не будетъ Азія, она будетъ Россія—самобытный великій міръ, полный силы неисчерпаемой... Исполнить это предназначение можетъ Россія, однако, только свято храня начала своей самобытной жизни -церковь православную и самодержавіе. Жуковскій не находилъ словъ, чтобы достойно прославить самодержавіе и его работу на пользу собиранія, укръпленія и устроенія Земли Русской. Почти всъ блестящія страницы нашей военной исторіи имъ восп'єты, и славное прошлое служить ему залогомъ великаго будущаго. Во всъхъ этихъ стихотвореніяхъ и разсужденіяхъ онъ обнаружилъ гораздо больше паноса и въры, чъмъ строгой исторической мысли. Россія, ея царь, ея въра были для него предметомъ культа, который не допускалъ никакой критики ни самыхъ основъ этой въры, ни нашего историческаго прошлаго и настоящаго. Поэтъ былъ ръшительный и послъдовательный оптимистъ во всемъ, что касалось судебъ нашей родины. Такой оптимизмъ, конечно, не располагалъ поэта къ зоркой оцънкъ достоинствъ и недостатковъ нашей жизни. Онъ безспорно видълъ многое злое, несправедливое, что творилось въ Россіи; по мъръ силъ своихъ онъ, какъ частный человъкъ, старался злу противодъйствовать, но какъ писатель и поэтъ, онъ оберегалъ свою пъсню отъ всякихъ темъ общественныхъ или политическихъ. Онъ върилъ въ правительство и думалъ, что оно въ своей борьбъ со зломъ не нуждается въ помощи писателя:

Быть рабомъ есть несчастіе, происходящее отъ обстоятельствъ, – говорилъ онъ; — любить рабство есть низость; не быть способнымъ къ свободѣ есть испорченность, произведенная рабствомъ. Государь, — въ высокомъ смыслѣ сего слова, отецъ подданныхъ, — также не можетъ любить рабство своего народа и желать продолженія его, какъ отецъ не можетъ любоваться низостью своихъ дѣтей (1847).

Такъ утѣшалъ онъ себя, и чувствовалъ себя спокойнымъ. Самъ—человъкъ очень добрый и мягко относившійся къ своимъ крестьянамъ, отпускавшій ихъ на волю, онъ о крѣпостномъ положеніи народа совсѣмъ не говорилъ въ своихъ стихахъ и только однажды, въ очень юные годы (1809), обмолвился о немъ въ одной статейкъ, и то очень осторожно. Какъ гуманный человъкъ, онъ признавалъ за народомъ право на образованіе, думалъ объ изданіи книгъ для народа, скорбъль что геній народа умершвленъ "строгою нуждой и цѣпями убожества", но о главной причинъ несчастія народа онъ умалчивалъ и, конечно, не потому, что не думалъ о ней, а потому что онъ довърялъ власти и не хотълъ ей подсказывать никакихъ совътовъ.

Вотъ почему въ своей поэзіи онъ также не нашелъ словъ утѣшенія или оправданія для тѣхъ людей, которые, думая объ освобожденіи крестьянъ, рѣшились возстать противъ власти, а именно для декабристовъ, хотя онъ всегда заступался за нихъ въ своихъ частныхъ бесѣдахъ съ императоромъ.

14. Сентиментальное и оптимическое настроеніе, дов'єрчивость къ власти и упованіе на Промыслъ Божій заставляли Жуковскаго недружелюбно смотръть на вся-

кую попытку челов'вка р'взко протестовать противъ общаго хода или частныхъ явленій того уклада жизни. при которомъ жить приходится. Жуковскій любилъ Россію за то смиреніе, съ какимъ она относится къ своей судьбъ, и недолюбливалъ Западъ за ръзкость проявленія его мыслей и его чувствъ. Поэть былъ ръшительный противникъ всякаго "революціоннаго "духа. въ чемъ бы онъ ни сказывался - въ области ли илей или въ области фактовъ. Ему самому пришлось быть довольно близкимъ свидътелемъ лишь одного революціоннаго движенія, а именно, въ 1848 году, когда онъ жилъ за границей, и онъ не скрывалъ ни своего негодованія, ни своей растерянности передъ этимъ событіемъ. Онъ былъ страшно напуганъ тъмъ подъемомъ. какъ онъ называлъ, "коммунизма", который грозилъ тогда подорвать всякую власть; онъ понялъ это движеніе, какъ проявленіе исключительно неправеднаго "бунта". какъ желаніе перескочить изъ понед'яльника прямо въ среду; онъ полагалъ, что истинный создатель есть время; которое никогда не должно упреждать насильственно, что средство не оправдывается целью; что разрушение, все-таки, зло, хотя бы оно было благод тельно въ своихъ последствіяхъ; что никто не им'єстъ права жертвовать будущему настоящимъ и нарушать върную справедливость для невърнаго, возможнаго блага. "Намъ не дано, - говорилъ нашъ смиренный и върующій мыслитель, - ничего строить особеннаго по собственному плану: мы можемъ только дълать пристройки къ зданію въковъ, котораго планъ не нами начертанъ, и намъ даже неизвъстенъ въ цъломъ. Чтобы понимать - гдъ. какъ и что нужно пристроить, мы должны справляться съ исторіей: она одна раскрываетъ намъ планъ Провидънія. Если мы будемъ хотъть не пристраивать, а самобытно строить, то мы будемъ разстраивать, то есть, набрасывать развалины. Это самовольное набрасывание развалинъ есть то, что называется "революцією". Изъ этихъ словъ, которыя были написаны Жуковскимъкакъ все, что онъ писалъ, очень искренно, отъ души, безъ всякой задней мысли, -- видно, что онъ во всякой рѣзкой перемѣнѣ жизни хотѣлъ видѣть только разрушительную работу отрицанія и не хотълъ признать въ

ней работы созидающей, творческой. Силу творческую онъ приписывалъ не людямъ, а Богу, почему такъ односторонне и посмотрътъ на чрезвычайно важный историческій моментъ 1848 года, до котораго дожилъ. Впрочемъ, Василій Андреевичъ вообще не любилъ задумываться надъ тревожными вопросами политической жизни: онъ больше думалъ объ общемъ религіознонравственномъ смыслѣ нашей жизни, а всего чаще жилъ въ мірѣ своихъ любимыхъ поэтическихъ грезъ.

15. Мы знаемъ уже, что Жуковскій признаваль искусство, какъ совствиъ особую самостоятельную область духовнаго творчества. "Другія всѣ искусства, — говорилъ онъ устами знаменитаго поэта Камоэнса ("Камоэнсъ", 1839), — намъ возможно пріобръсть наукою: поэта же творить — природа. Геніи родятся сами. "Нисходитъ прямо съ неба то, что къ небу насъ возносить". Поэзія есть Богь въ святыхъ мечтахъ земли утверждаль поэть и хотъль сказать этимъ, что какъ Богъ есть полнота всъхъ совершенствъ въ міръ сліяніе добра, красоты и истины, такъ и поэзія есть воплощение всъхъ этихъ великихъ благъ въ звукахъ и образахъ, воплощение безкорыстное, служащее само себ'в цълью. Не своеволіе, не тщетный призракъ поэта зоветь самъ Богь, и онъ къ великому долженъ стремиться смиренно. Само творчество есть великая непроницаемая тайна. Кто сможетъ сказать, что такое вдохновеніе и какъ оно нисходить на поэта? Оно есть общение избраннаго человъка съ Богомъ, молитва за людей, предвкушеніе лучшей жизни, даръ прозрѣнія въ будущее, даръ пониманія прошлаго. Это великая тайна, безъ которой, однако, наша земная жизнь была бы лишена лучшаго своего украшенія, своего смысла и счастья... Много такихъ хвалебныхъ словъ сказалъ Жуковскій объ искусствъ, стараясь дать понять и почувствовать людямъ то, что онъ самъ испытывалъ въ минуты вдохновенія. Никто до него не понималь такъ высоко и глубоко задачи пъвца въ міръ. Такое пониманіе открылось, впрочемъ, Жуковскому не сразу.

Въ свои молодые годы онъ смотрълъ на поэзію такъ, какъ его учили предшественники, писатели XVIII въка: поэзія была для него веселая богиня — фантазія

прихотливая, безпечно играющая, посланная въ міръ на радость и утішеніе людямъ... Поэзія — веселье и любовь всіхъ пламенныхъ сердецъ, — думалъ въ ранней юности Жуковскій, — она есть тихая прелесть и очарованіе души. Поэть — блаженный мечтатель, счастливый и спокойный въ своемъ уединеніи. Онъ — безпечное дитя; онъ съ младенческой беззаботностью, невидимый толпів, идетъ туда, куда его влечетъ крылатый теній; душа его свободна и ясна; она — повсюду видитъ красоту и благо. Одинъ только сов'ять можно дать поэту: подальше отъ суетныхъ людей, отъ искушеній и обольщеній:

Его блаженство прямо съ неба; Онъ имъ не дълится съ толпой: Его судьи лишь чада Феба! Ему ли съ пламенной душой Плоды святаго вдохновенья Къ ногамъ холоднымъ повергать, И на колѣнахъ ожидать Отъ недостойныхъ одобренья? Одинъ среди песковъ Мемнонъ, Сидя съ возвышенной главою, Молчитъ — лишь гордою стопою Касается ко праху онъ; Но лишь денницы появленье Вдали востокъ воспламенитъ -Въ восторгъ мраморъ, пъснь гласитъ. Таковъ поэтъ, друзья! презрѣнье Въ пыли таящимся душамъ!

Иногда этотъ веселый тонъ смѣняется болѣе грустнымъ, но задача пѣвца остается попрежнему очень простой и несложной:

Мить рокъ судиль брести невъдомой стезей, Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы природы, Лышать подъ сумракомъ дубравной тишиной, И, взоръ склонивъ на пънны воды, Творца, друзей, любовь и счастье воспъвать. О пъсни, чистый плодъ невинности сердечной! Блаженъ, кому дано цъвницей оживлять Часы сей жизни скоротечной! Вто, въ тихій утра часъ, когда туманный дымъ Ложится по полямъ и холмы облачаетъ, И солнце, восходя, по рощамъ голубымъ Спокойно блескъ свой разливаетъ. Спъшитъ, восторженный, оставя сельскій кровъ, Въ дубравъ упредить пернатыхъ пробужденье, И лиру соглася съ свирълью пастуховъ, Поетъ свътила возрожденье!

Такъ пътъ есть мой удълъ.

Съ годами, однако, такой взглядъ на поэзію, какъ на мирное занятіе, у Жуковскаго мѣняется: поэтъ начинаетъ понимать, что искусству въ жизни отведена очень серьезная роль:

Поэзія небесной Религіи сестра земная; свѣтлый Маякъ, самимъ Создателемъ зажженный, Чтобъ мы во тьмѣ житейскихъ буръ не сбились Съ пути. Поэтъ, на пламени его Свой факелъ зажигай! Твои всѣ братья Съ тобою заодно засвѣтятъ каждый Хранительный свой огнь, и будутъ здѣсь Они во всѣхъ странахъ и временахъ Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми; При блескѣ ихъ, что бъ труженикъ земной Ни испыталъ — душой онъ не падетъ, И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнеть.

Когда такую роль исполняешь, то нельзя уже думать о счастьи и радостяхъ только:

Нѣтъ, нѣтъ! не счастія, не славы здѣсь Ищу я: быть хочу крыломъ могучимъ, Подъемлющимъ родныя мнѣ сердца На высоту; зарей, побѣду дня Предвозвѣщающей: великихъ думъ Воспламенителемъ, глаголомъ правды, Лекарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ, И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы, Которою предъ нами горній міръ Задернутъ, чтобъ порой для смертныхъ глазъ Ее приподымать и святость жизни Являть во всей ея красъ небесной — Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!

Такъ высоко думалъ Жуковскій о призваніи пъвца. Понятно, что поэтъ могъ служить только одному сво-

ему дълу и не могь мириться ни съ какой служебной

ролью въ обществъ.

Но, признавая за поэтомъ такое могущество, Жуковскій ставилъ ему одно неизмѣнное условіе. Поэтъ на землѣ долженъ быть насадителемъ добра и религіознаго чувства. Выполнить это условіе было, впрочемъ, поэту не трудно, потому что всякая истинная поэзія, какъ думалъ Жуковскій,—есть въ одно и то же время и обнаруженіе Бога на землѣ, и доброе дѣло.

16. Въ такомъ связномъ и цъльномъ видъ представляются взгляды Жуковскаго на жизнь и человъка. Въ этихъ взглядахъ много искренности, глубины и красоты,

но, конечно, они односторонни.

Жуковскій ревниво сторонился отъ всякаго зла, тлѣ только могъ заподозрить его присутствіе, а "зломъ" онъ считалъ всякое душевное волненіе, всякую тревогу, мѣшавшую людямъ отдаваться спокойно нравственному совершенствованію, смиренію и подавленію въ себъ эгоистическихъ чувствъ. Въ Жуковскомъ отъ природы всегда было больше чувства, чѣмъ наблюдательности и связанной съ ней способности къ строгому разсужденію. Явленія обыденной жизни ускользали отъ него и замѣнялись видѣніями.

Любовь, дружба, преклоненіе передъ доброд'ьтелью, служение искусству и горячая христіанская въра нашли въ немъ ревностнаго служителя и искренняго, вдохновеннаго поэта. Вдохновение поэта онъ считалъ откровеніемъ Божіимъ, поэзію понималъ, какъ высшее призваніе челов'ька; красоту и добро считалъ неразлучными; писателя считалъ апостоломъ нравственности и въры. Поэзія, понятая въ такомъ смыслъ, должна была естественно сторониться отъ всего несовершеннаго, нечистаго, плотскаго, соблазнительнаго и тревожнаго то-есть отъ всей обыденной жизни, и витать въ области идеальнаго и желаемаго. Жуковскій и жилъ въ міръ идеализированномъ, гдъ лица, взятыя изъ дъйствительности, превращались въ сказочные образы, или онъ жилъ въ міръ желаемомъ - въ міръ загробномъ, который онъ населялъ образами, взятыми изъ собственныхъ воспоминаній.

Свои общественные взгляцы Жуковскій вывелъ изъ

того же оптимизма, который лежалъ въ основъ всей его житейской философіи. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ нашихъ славянофиловъ, былъ твердо убъжденъвъ необходимости самобытной русской цивилизаціи, мечталъ о великомъ міровомъ призваніи Россіи, и всюсвою въру въ лучшее и счастливое будущее возложилъ на православіе и самодержавіе, которымъ и служилъ

искренно, отъ всего своего сердца.

Такой мирный и спокойный взглядъ на жизнь былъ тогда по душть очень многимъ — встыть "сентименталистамъ", въ которыхъ строгое критическое отношеніе: къ жизни было еще мало развито. И надо сознаться, что въ этомъ религіозномъ, смиренномъ и довърчивомъ отношении къ жизни было для своего времени многопрогрессивнаго и гуманнаго содержанія. Нужно было людямъ привить и любовь, и въру въ добро, надо было пробудить и укръпить въ нихъ нъжныя чувства — надобыло также внушить имъ уважение и любовь къ націи, которую они составляли. Россія двинулась въ началѣ XIX. въка по пути широкаго общественнаго, гражданскаго и политическаго развитія, ее ожидала большая и трудная работа, при которой подъемъ въры въ себя и вовсъ гуманные идеалы жизни былъ необходимъ и желателенъ. Жуковскій бол'є чізмъ кто-либо способствовалъ этому подъему, и въ этомъ его гуманная заслуга. Но, отвъчая на одни запросы времени, онъ не былъвъ силахъ отвътить на другіе, столь же законные. Для успъшнаго общественнаго развитія критика и строгій анализъ жизни такъ же необходимы, какъ въра и энтузіазмъ. Къ строгому суду надъ жизнью, къ безпощадному анализу, къ возбужденію въ людяхъ сомнъній и недовольства — Жуковскій былъ неспособенъ. Его мягкая довърчивая натура обучила его только молитвъ и проповъди добродътели. Разыскивать зло, указывать на него и преследовать его онъ не могъ, въ силу полнаго отсутствія боевой способности въ складъ егоума и характера.

Его поэзія, прельщая своей художественностью, скоро перестала удовлетворять читателя своимъ на-

строеніемъ и смысломъ.

Оптимизмъ и тихое мечтательное настроеніе не

могли наполнить всей жизни подраставших молодых покольній, какъ они заполняли жизнь самого Жуковскаго. Многіе вопросы, отъ которых жуковскій сторонился, какъ отъ зла, стали настойчиво требовать рышенія, и не могли быть обойдены въ искусствъ. Самъ Жуковскій понималъ это и не сердился, видя, какъ поэты младшаго покольнія его опережають. Со свойственнымъ ему смиреніемъ онъ самъ въ одномъ трогательномъ стихотвореніи ("Царскосельскій лебедь") такъ прощался со своими поклонниками:

Лебедь бѣлогрудый, лебедь бѣлокрылый, Какъ же нелюдимо, ты, отшельникъ хилый, Здѣсь сидишь на лонѣ водъ уединенныхъ; Спутниковъ давнишнихъ, прежней современныхъ Жизни, переживши, сътуя глубоко, Ихъ ты поминаешь думой одинокой; Сумрачный пустынникъ, изъ уединенья Ты на молодое смотришь поколънье Грустными очами; прежняго единый Брошенный обломокъ, въ новый лебединый Свътъ на пиръ веселый гость не приглашенный, Ты вступить дичишься въ кругъ неблагосклонный Ръзвой молодежи... Старикъ печальный Молодость ихъ образъ твой монументальный Рѣзвую пугаетъ, онъ на нихъ наводитъ Скуку, и въ пріють твой ни одинъ не входить Гость, изъ молодежи, вътрено летящей Веледъ за быстрымъ мигомъ жизни настоящей...

Дни текли за днями. Лебедь позабытый Таялъ одиноко; а младое племя Въ шумъ ръзвой жизни забывало время... Разъ среди ихъ шума раздался чудесно Голосъ, всю произившій бездну поднебесной; Лебеди, услышавъ голосъ, присмиръли, И стремимы тайной силой, полетъли На голосъ: предъ ними, вновь помолодѣлый, Радостно вздымая перья груди бълой, Голову на шев гордо распрямленной, Къ небесамъ подъемля, весь воспламененный, Лебель благородный дней Екатерины Пълъ, прощаясь съ жизнью, гимнъ свой лебединый; А когда допълъ онъ. — на небо взглянувши И крылами сильно дряхлыми взмахнувши, -Къ небу, какъ во время оное бывало, Онъ съ земли рванулся... и его не стало

Въ высотъ... и навзничъ съ высоты упалъ онъ; И прекрасенъ мертвый на хребтъ лежалъ онъ, Широко раскинувъ крылья, какъ летящій, Въ небеса вперяя взоръ, ужъ негорящій.

И, дъйствительно, когда Жуковскій писалъ эти стихи, пламенная любовь его читателей была уже давно перенесена на его ученика, котораго онъ самъ готовъбылъ признать своимъ учителемъ,—на Пушкина.

III. Ранніе годы Пушкина.

the distribution of the state o 1. Сътъхъ поръ какъ русскій народъ себя помнитъ, у него не было болъе яркаго поэтическаго дарованія. Какъ художникъ Пушкинъ остается великъ и въ наше время, которое можетъ говорить о Гоголъ, Лермонтовъ, Тургеневъ, Достоевскомъ и Толстомъ какъ о своихъ учителяхъ. Если искусству со дня смерти Пушкина открывались все болъе и болъе широкіе горизонты, то все-таки самый способъ художественнаго воспріятія жизни и ея претворенія въ поэзію ни у кого не достигаетъ такой степени совершенства какъ у Пушкина. Если искать ему равныхъ писателей по силъ и глубинъ художественнаго воспріятія явленій внъшняго и внутренняго міра, по ум'єнію творить людей, творить ихъ души, то ихъ можно найти лишь среди первоклассныхъ талантовъ западныхъ. Данте, Шекспиръ, Гете-вотъ имена, которыя мы всего чаще произносимъ, когда силу Пушкинскаго творчества хотимъ пояснить сравненіемъ. Замътъте, что среди этихъ именъ отсутствуютъ такія, какъ Шиллеръ, какъ Байронъ, какъ Викторъ Гюго, не говоря уже о другихъ. Можетъ показаться, что въ насъ говоритъ патріотическое пристрастіе, когда мы Пушкина помъщаемъ въ столь избранное общество, тъмъ болъе, что на Западъ ему этой чести не оказывають; но Западу трудно оцінить Пушкина: въ переводъ пропадаетъ очень многое, и самое цънное для

насъ—его національная самобытность—для иностранца скорѣе недостатокъ Пушкинскаго творчества, чѣмъ его заслуга. Нашу жизнь, и прошлую, и настоящую, знаютъ мало—и мѣстный колоритъ мѣшаетъ иногда иностранцу оцѣнить то, что въ Пушкинѣ есть общечеловѣческаго.

Насъ это соображение смущать не должно.

Мы, русскіе, вышли позже другихъ на арену литературнаго творчества и мы долго учились на образцахъ западнаго искусства, безъ различія національностей; поэтому, быть можетъ, въ нашихъ сужденіяхъ и въ литературныхъ вкусахъ болѣе терпимости и пониманія, чѣмъ у нашихъ сосѣдей. Высокое мнѣніе о Пушкинѣ, какъ о художникѣ, мнѣніе, раздѣляемое у насъ всѣми интеллигентными людьми безъ различія направленій, имѣетъ за собой именно потому столько правды, что оно есть голосъ людей, воспитанныхъ на всемъ богатствѣ западной словесности, людей, которые, въ оцѣнкѣ литературныхъ памятниковъ, одни, пожалуй, во всей Европѣ имѣютъ право назваться космополитами.

Сравнивая однако поэзію Пушкина съ поэзіей Данте, Шекспира, Гете, мы не можемъ не замѣтить, что въ ней нѣтъ многихъ мотивовъ, которые придаютъ творчеству этихъ Пушкину равныхъ художниковъ такое глубокое философское и общественное значеніе.

Мы будемъ крайне несправедливы однако, если въ виду относительной несложности и простоты мотивовъ Пушкинской поэзіи, пожелаемъ умалить поэтическій геній художника. Фантазія каждаго поэта питается тѣмъ, что ему даетъ окружающая его дъйствительность и условія личной и общественной жизни, среди которой онъ выросъ, всегда налагаютъ извъстную печать на его творчество.

Поэзія тъхъ великихъ поэтовъ, имена которыхъ мы только что назвали, была художественнымъ воплощеніемъ очень сложной, широко развитой умственной и нравственной жизни ихъ въка, и тотъ фактъ, что они сумъли возсоздать эту жизнь, если не во всей ея полнотъ, то въ главнъйшихъ моментахъ ея развитія, освътить ее съ возможно большаго числа сторонъ—и даетъ имъ право на названіе міровыхъ поэтовъ: они—

выразители не только своихъличныхъдумъ: они истолнователи настроеній и думъ цълой эпохи, цълаго

важнаго этапа, пройденнаго цивилизаціей.

Когла мы произносимъ имя Данте, передъ нами возстаетъ вся средневъковая жизнь, съ ея философской и богословской мыслью, съ ея въковыми политическими ученіями объ имперіи и папствъ, съ Италіей и Римомъ, какъ столицей всего цивилизованнаго міра, съ воспоминаніями о древней культурт и съ надеждами на ея возрожденіе. Поэзія Данте, это-художественный синтезъ одной изъ важнъйшихъ эпохъ всемірной цивилизаціи. Прамы Шекспира вызывають также въ нашей памяти представление о сложной политической и гражданской жизни Англіи въ блестящую пору царствованія Елисаветы и ея предшественниковъ, и философское міросозерцаніе этихъ драмъ отражаетъ на себъ работу новой европейской мысли XVI-го въка-той мысли, которая имъла такое ръшающее вліяніе на умственную и затъмъ общественную жизнь послъдующихъ поколъній.

Имя Гете тъсно связано съ эпохой просвъщенія конца XVIII въка, съ эпохой, которая открываетъ собой новую эру всемірной культуры. Освободительная работа въ области философіи, нравственности и общественныхъ условій жизни нашли въ Гете своего толкователя и своего критика. Поэзія Гете была зеркаломъ, въ которомъ отразились всъ колебанія ума и сердпа за этотъ—опять-таки необычайно важный—періодъ въ

исторіи культурнаго міра.

И Пушкинъ также былъ свидътелемъ знаменательной исторической эпохи, когда на Западъ люди стали разбираться въ богатъйшемъ идейномъ и матерьяльномъ наслъдствъ великой революціи, но Пушкинъ жилъ въ Россіи, гдъ все западное движеніе, умственное, полититическое, и соціальное отражалось со страшно уменьшенной силой и получало интересъ болъе теоретическій, чъмъ практическій. Пушкинъ не стоялъ въ центръ кипъвшей вокругъ него богатой жизни, онъ созерцалъ ее издалека. Къ тому же и по своему поэтическому темпераменту онъ былъ склоненъ къ спокойному художественному созерцанію. Вотъ почему

его творчество, сохраняя все свое художественное совершенство и свою художественную полноту, не выразило многихъ идей и чувствъ, которыми жили наши сосъди и которыми они болъли и волновались. Въ умъ своемъ Пушкинъ былъ и судьей этихъ идей и ихъ хозяиномъ, но онъ не ощущалъ непосредственно ихъ силы вокругъ себя, въ русской дъйствительности, и

оберегалъ отъ нихъ свое вдохновеніе.

При всемъ этомъ нельзя не удивиться необычайной пиротть и разносторонности интересовъ Пушкина и широтть его поэтическаго кругозора. Онъ обладалъ даромъ усваивать, сживаться съ міросозерцаніемъ и чувствомъ самыхъ различныхъ эпохъ человъческой жизни. Хотя онъ ръдко пользовался этимъ даромъ, но, какъ художникъ, успълъ доказать, что онъ умълъ говорить и думать и какъ язычникъ, и какъ христіанинъ, какъ средневъковый рыцарь и какъ сынъ эпохи Возрожденія, и какъ ученикъ Руссо и какъ поклонникъ Вольтера.

Но особое значеніе пріобр'єтаеть его поэзія какъ отраженіе русской жизни. Ни одно литературное, общественное, умственное и даже политическое движеніе въ Россій не осталось ему—какъ челов'єку—чуждо, хотя, конечно, не съ одинаковой полнотой и ясностью

отразилось на его творчествъ.

Литературныя традиціи Екатерининскаго в'вка дали и форму, и содержание его юношескимъ стихотвореніямъ. Поклонникь ложно-классическаго и сентиментальнаго стиля, ученикъ Державина, Батюшкова и Жуковскаго, Пушкинъ въ ранніе годы сумълъ не только удачно подражать даннымъ образцамъ, но сумълъ по своему, съ особой красотой и легкостью, выразить эти уже отходившія въ прошлое поэтическія настроенія; онъ скоро перешелъ къ другимъ темамъ, и русская сказка съ ея романтическимъ колоритомъ заняла его воображеніе. Жуковскій, который тогда культивировалъ этотъ родъ творчества, призналъ себя побъжденнымъ. Въ началъ 20-хъ годовъ поэзія Пушкина начинаетъ касаться темъ, которыя принято называть не совсъмъ точно "байроническими". Въ нихъ начинаетъ звучать сильная нота протеста противъ окружающей дъйствительности. Либеральный образъ мыслей Пушкина за это время и его дружба съ декабристами указываютъ намъ, что это мнимо-байроническое настроеніе въ его поэзіи было, вовсе не подражаніемъ, а откликомъ на событія дня и воплощеніемъ дъйствительно переживае-

мыхъ думъ.

Но по природъ своей Пушкинъ былъ мало расположенъ къ политикъ дня, хоть условія его личной жизни, а главнымъ образомъ условія русской дѣйствительности, поддерживали въ немъ этотъ юношескій пламень. Политическая буря 1825 года прошла мимо него, и онъ былъ возвращенъ изъ ссылки съ воцареніемъ Императора Николая Павловича. Въ исторіи жизни и творчества поэта начался новый періодъ-самый зрълый. Настроеніе стало эстетически-спокойнымъ и поэтическій кругозоръ все расширялся. Простонародный быть, быть помъщичій, въ деревнъ или въ столицъ, событія внъшней политики, національный вопросъ, зарождающійся споръ между старой и новой Россіей, литературныя событія дня, все вошло въ кругъ его поэзіи. Прибавимъ къ этому картины изъ прошлой русской жизниэпоху Бориса, Петра, Екатерины, не забудемъ, что, покидая на время родную почву, Пушкинъ успълъ создать такіе художественные памятники, им'єющіе общечеловъческое значеніе, какъ "Каменный гость", "Моцартъ и Сальери" и "Скупой Рыцарь";--что будучи поэтомъ, онъ былъ въ то же время историкомъ, редакторомъ литературнаго журнала, что онъ первый помышлялъ у насъ о политической газетъ и много хлопоталъ о ней-мы должны будемъ признать, что ръдко можно найти человъка, духовные интересы котораго были бы такъ широки. Но Пушкинъ не весь въ тъхъ словахъ, которыя имъ сказаны во всеуслышанье. Чтобы оцънить вполнъ широту его образованія и его ума, для этого нужно познакомиться съ тъмъ, что сохранено о немъ, его жизни и его бесъдахъ въ воспоминаніяхъ и запискахъ современниковъ, и также въ его собственныхъ письмахъ. Изучая этотъ матерьялъ, мы видимъ, какъ этотъ человъкъ, сохраняя спокойствіе художника въ своемъ творчествъ, ревниво, страстно и безпокойно относился къ "суетъ" жизни. Недаромъ онъ всю свою жизнь, въ глазахъ ревностныхъ охранителей порядка, считался опаснымъ человъкомъ; эти опасенія были, конечно, совершенно излишни, такъ какъ юношескій либерализмъ поэта давно выдохся и никакой оппозиціи, явной или тайной, онъ господствующей власти не оказывалъ и не хотълъ оказать: если чего опасались, такъ это его свътлаго ума, о которомъ знали, что онъ видитъ многое, и его ръзкаго остроумнаго слова, которое при случать не кстати могло сорваться.

Считать Пушкина слѣпымъ поклонникомъ своего времени—нельзя, какъ нельзя назвать его и строгимъ судьей своей эпохи. Его поэзія возносилась высоко надъ дѣйствительностью или уходила отъ нея на далекое разстояніе въ прошлое. О своемъ времени она говорить не любила и это потому, что при всей своей способности возсозданія жизни, Пушкинъ былъ все-таки субъективенъ какъ художникъ. Онъ бралъ изъ жизни только тотъ матерьялъ, который будилъ въ немъ чисто эстетическое чувство. Онъ въ своемъ творчествъ смотрѣлъ на міръ только какъ художникъ, почему многое въ окружавшей его обстановкъ и не вошло въ его поэтическій кругозоръ.

При безпристрастной оцѣнкѣ поэта какъ такового, надо имѣть въ виду то, что онъ даетъ, а не то, что въ его поэзій отсутствуетъ: произносить судъ надъ его поэзіей надо, становясь на его точку зрѣнія и считаясь съ его вкусами. Но когда судишь объ его творчествѣ, какъ объ историческомъ памятникѣ, и когда самъ поэтъ является истолкователемъ извъстной исторической эпохи, то указаніе на недочеты въ его міросозерцаній, на отсутствіе вѣрной оцѣнки окружающей его жизни—вполнѣ умѣстны и ничуть не унижаютъ его творчества.

Такъ и Пушкина неоднократно упрекали въ томъ, что картина русской жизни, какъ она дана въ его произведеніяхъ, страдаетъ неполнотой, такъ какъ, касаясь многихъ вопросовъ, связанныхъ съ нашей жизнью, поэтъ не равномърно оттънялъ въ нихъ всъ ихъ стороны. Говорили, что показная сторона жизни привлекала его больше, чъмъ слъдуетъ, что его взглядъ на нашу будущность и на наше настоящее былъ недостаточно мотивированъ въ своемъ оптимизмъ, что внъш-

ній блескъ свътскаго круга, въ которомъ поэтъ врашался, вижшній успъхъ Россіи среди другихъ державъ, ея физическая сила и внъшній порядокъ, который царилъ внутри, помъщали ему заглянуть поглубже, сознать и высказать свое мнѣніе о тѣхъ многихъ аномаліяхъ, которыя таились въ этой урегулированной жизни. Упрекали его въ томъ, что его патріотизмъ, его любовь къ Россіи страдали отсутствіемъ трезвой критики, что, дворянинъ до мозга костей, -- онъ слишкомъ покровительственно и сентиментально смотрълъ на простонародье, что, поклонникъ свободы въ теоріи, онъ недостаточно протестовалъ противъ разныхъ формъ произвола, которыя существовали на практикъ. Всъ эти упреки справедливы, и Пушкинъ можетъ раздълить ихъ со многими наиболъе культурными и образованными людьми своего въка, во главъ которыхъ мы должны поставить его, какъ лучшаго представителя: онъ былъ дъйствительно типичнымъ выразителемъ идей и чувствъ высшаго русскаго интеллигентнаго класса, который тогда не любилъ торопиться въ своихъ мивніяхъ и судъ надъ жизнью.

Когда мы теперь, въ началѣ XX-го вѣка, послѣ поэзіи Лермонтова и Некрасова, послѣ всѣхъ тѣхъ картинъ русской жизни, которыя даны намъ въ сочиненіяхъ Гоголя, Тургенева, Достоевскаго, Толстого, Островскаго и другихъ, —возвращаемся, къ поэзіи Пушкина, насъ поражаетъ ея безстрастность... Взглядъ поэта на жизнь художественно спокоенъ, и нѣтъ раздвоенія въ его душѣ. Нѣтъ рефлектирующей, самоистязующей мысли, и отзвуки вѣчнаго трагическаго спора идеала и дѣйствительности почти не слышны въ горней сферѣ

его поэзіи.

Время Пушкина—это пока еще ранняя заря нашей сознательной жизни. Лучи свъта озарили пока только однъ вершины общества; что творилось внизу—было покрыто туманомъ. Эта тьма ръдъла лишь постепенно, и много разочарованій готовила русская жизнь тъмъ людямъ, которые судили о ней, стоя на этихъ освъщенныхъ вершинахъ. Всъ эти люди съ Пушкинымъ во главъ, были наполнены глубокой любовью къ Россіи, но конечно они ее недостаточно знали; воспитаніе, которое они получили съ дътства, избранный интелли-

гентный кругъ, въ которомъ они вращались, привычка судить о жизни съ самыхъ общихъ точекъ зрънія. сентиментальные идеалы, завъщанные имъ предшествующимъ поколъніемъ, внъшній успъхъ Россіи и, наконецъ, сильная и энергичная личность Императора Николая Павловича, въ котораго они върили, все поддерживало въ ихъ сердив оптимистическій взглядъ не только на будущее, но и на настоящее. Для того чтобы этотъ оптимизмъ поколебался или, по крайней мъръ, былъ подвергнутъ строгому испытанію, для этого нужно было, чтобы громче заговорила сама жизнь въ липъ разныхъ своихъ представителей, вышедшихъ изъ разныхъ ея слоевъ, а также, чтобы писатель, изображавшій эту жизнь, отнесся съ большой строгостью къ ея содержанію. Такъ дъйствительно и случилось впослъдствии, когда ряды русскихъ писателей стали пополняться, когда каждый изъ этихъ писателей приносиль съ собою богатый запасъ живого матерьяла, собраннаго со всъхъ концовъ Россіи и во всъхъ слояхъ общества, и когда строгая безъ прикрасъ правда жизни получила въ глазахъ писателя такую высокую цъну.

Пушкинъ только начиналъ эту работу; самый тяжелый трудъ выпалъ на долю его послъдователей, тъхъ самыхъ, которые центръ своихъ интересовъ перенесли со своей личности художника на разнообразье всей раскинув-

шейся вокругь нихъ жизни.

Такое самосознанье въ литературъ развивалось,

конечно, въ ущербъ душевному покою писателя.

Много и часто было говорено о томъ, что Пушкинъ и его поколѣніе относились съ аристократическимъ презрѣніемъ къ непросвѣщенной толпѣ, которая ихъ окружала. Имъ дѣлали упрекъ въ отсутствіи широкого и правильнаго пониманія той гражданской и культурной роли, которую поэтъ призванъ играть среди своего народа. Въ этихъ упрекахъ малое зерно истины; слово "толпа" въ устахъ Пушкина и его сверстниковъникогда не означало "народной массы", "народа", стоявшаго на соціальной лѣстницѣ ниже того сословія, къ которому принадлежалъ поэтъ. Презрѣннымъ именемътолпы Пушкинъ клеймилъ всѣхъ враговъ всего возвышеннаго въ жизни—рабовъ пошлости, суеты, людей,

презирающихъ всякую мысль и чувство, которыя возвышаютъ человъка надъ данной минутой и освобождаютъ его отъ слъпого служенія ей; —и Пушкинъ былъ правъ въ своемъ презръніи къ такимъ людямъ. Русскій народъ къ этой "толпъ" причисленъ не былъ, и самъ поэтъ неоднократно черпалъ матеріалъ для своей поэзій изъ народной жизни и народнаго творчества.

Но тъмъ не менъе, связь между поэтомъ и его народомъ была въ тъ годы не такой тъсной, какой она стала потомъ, когда общественная солидарность между отдъльными классами общества развилась и повы-

силась.

Отличительный признакъ правильно функціонирующей народной жизни — солидарность интересовъ всѣхъ соціальныхъ группъ, входящихъ въ составъ этой народности. Такая солидарность мыслима лишь при взаимномъ пониманіи и при извѣстномъ равенствѣ умственнаго и нравственнаго развитія. До этого идеала далеко, но жизнь идетъ впередъ, и мы на эту дорогу

вступили.

Сознаніе одной общей національной жизни—жизни, которая была бы скрѣплена не одной внѣшней силой и внѣшнимъ порядкомъ, а покоилась бы на согласіи интересовъ, на взаимномъ вниманіи и уваженіи всѣхъ—вотъ одна изъ главныхъ гуманныхъ идей, которая двигала и двигаетъ передовыми людьми нашего общества. Среди этихъ людей стоятъ и наши писатели. Понятно, что по мѣрѣ того, какъ эта идея все болѣе и болѣе проникала въ жизнь, по мѣрѣ того, какъ она требовала отъ человѣка все болѣе и болѣе энергичной и интенсивной борьбы съ тѣми условіями внѣшней и внутренней жизни, которыя съ этой идеей враждовали,—росло въ писателѣ и сознанье своей нравственной отвѣтственности передъ обществомъ, и прежній самодовольный покой ума и сердца былъ въ немъ нарушенъ.

2. Поэтическій талантъ Пушкина развился очень быстро. Въ 1820-мъ году, когда поэма "Русланъ и Людмила" увидъла свътъ, двадцатилътній юноша былъ уже вождемъ цълаго молодого литературнаго покольнія, передъ которымъ старики съ почтеньемъ посторони-

лись.

Такимъ раннимъ развитіемъ поэть быль обязанъ, конечно, прежде всего необычайно счастливымъ условіямъ, въ какихъ протекали его дътство и юность. Семья, въ которой онъ выросъ, была не только знатной и относительно богатой, но-что важнъе-очень интеллигентной семьей: образование въ широкомъ смыслѣ и искусство цънились въ ней высоко, во всякомъ случать больше, чъмъ служебное положение-предметъ страстей и желаній большинства изъ нашихъ тогдашнихъ аристократическихъ семей. И питомецъ этой семьи—нашъ поэтъ получиль по наслъдству это уважение къ богатству духовному, которому онъ отдавалъ всегда предпочтение передъ всякимъ инымъ, Онъ сознавалъ и цънилъ себя высоко какъ художника и работника на нивъ умствен-. ной, за что, какъ извъстно, въ своемъ кругу ему приходилось страдать не мало. Аристократы по положенію не всегда готовы были склониться передъ аристократомъ по вдохновенію и потому заставляли нашего поэта иногда слишкомъ ръзко подчеркивать свои права на родовитость и знатность. Часто упрекали Пушкина за его дворянскую спесь и гордыню, забывая, что эти не-, пріятныя рѣчи въ устахъ поэта были самообороной художника, въ извъстномъ кругу недостаточно при-

3. Дътство свое Пушкинъ провелъ въ Москвъ и въ родной деревнъ, въ близкомъ общени съ тъми слоями народа, о которыхъ русскій писатель тогда мало думалъ. Нельзя сказать и про Пушкина, что онъ объ этихъ слояхъ думалъ много, но случай заставилъ его, и въ дътствъ, и въ юности долго жить съ ними одной тъсной жизнью. Глубокой душъ поэта рано открылись неприглядная красота народной жизни, ея религіозный смыслъ, нравственная выдержка и нравственное чутье, сохранившіеся вопреки развращающимъ внъшнимъ условіямъ, въ которыхъ жила эта народная масса.

Одиннадцати лътъ, въ 1811 году, мальчикъ былъ отданъ въ Царскосельскій лицей—закрытое учебное заведеніе, аристократическое и привилегированное. По мысли Императора, лицей долженъ былъ стать разсадникомъ государственныхъ мужей, и онъ оправдаль эти надежды. Онъ былъ серьезной школой, хорошо приноровленной

къ тому, чтобы всесторонне воспитать и развить способности своихъ воспитанниковъ. Культъ искусства въ лицев процветалъ пожалуй больше, чемъ культъ науки. Если лицей далъ родинъ многихъ выдающихся государственныхъ дѣятелей, то еще болѣе славныя литературныя имена записалъ онъ въ свои лътописи. Пушкинъ былъ не изъ первыхъ учениковъ по успъхамъ. Его горячая, съ примъсью африканской, кровь, его темпераментъ поэта и размахъ мечты мало согласовались съ усидчивой выдержкой, которая необходима для успъшной научной работы. Но лицей все-таки заставилъ Пушкина работать надъ собой, и много работать. Среди профессоровъ были люди съ философскимъ и широкимъ литературнымъ образованіемъ; среди товарищей - много лицъ съ умственными интересами и большой любовью къ художественному творчеству, наконецъ, среди знакомыхъсамые выдающіеся писатели того времени. Мальчикъ быстро расширялъ кругъ своего литературнаго чтенія, и французская, и вмецкая и англійская словесность подняли его скоро до уровня европейски образованнаго человъка. Конечно, глубины въ этомъ образовании не было, была одна только широта, но она-то именно и дъйствовала благотворно на развивающійся съ непом'трной быстротой художественный таланть Пушкина.

Литературное чтеніе въ лицев обогатило его массой отраженныхъ впечатлъній жизни, въ ожиданіи, что они будутъ дополнены прямымъ его вмѣшательствомъ въ ея теченіе. Такъ и случилось, когда въ 1817 году Пушкинъ былъ выпущенъ изъ лицея. Правда, онъ пошелъ "на службу", но она, кажется, совствить его не стъсняла, и онъ смотрълъ на нее, какъ на придатокъ къ тому, чему онъ тогда служилъ на самомъ дълъ. А служилъ онъ своему таланту, который пользовался каждымъ днемъ, чтобы запасаться новыми впечатлъніями. Общественное положеніе семьи Пушкина, лицейскій дипломъ, привлекательность и талантливость его личности, относительный достатокъ-облегчали ему его движение и кружение во всевозможныхъ кругахъ того времени и ознакомленіе съ тъмъ богатымъ запасомъ идей и чувствъ, какимъ въ началъ XIX столътія жило наше интеллигентное общество. Указывалось часто на разсъянный образъ жизни, какой Пушкинъ велъ по выходъ изълицея; онъ жилъ, дъйствительно, жизнью шумной; свътскія развлеченія, салонные обряды, холостое веселье со встами причитающимися нескромными удовольствіями-все это брало много времени, но въ концъ концовъ все шлона пользу поэтической души и вдохновенія. Не надозабывать также, что въ этотъ періодъ разсъянныхъ. увлеченій Пушкинъ былъ уже хоть и незначительной пока, но все-таки литературной силой, которая въ разныхъ литературныхъ кружкахъ и обществахъ съ успъхомъ выступала. Талантъ однако требовалъ все-таки изв'єстной экономіи силъ и, в'єроятно, онъ пострадаль бы въ концъ концовъ отъ такого лирическаго безпорядка. жизни, если бы случай не озаботился дать поэту необходимую передышку. Въ своей погонъ за всевозможными мыслями, впечатленіями и ощущеніями, Пушкинъ попалъвъ полосу не столько идейнаго, сколько сентиментальнаго увлеченія политическими вопросами и въ обнаруженіи этого увлеченія не соблюдаль должной міры. Въ. 1820 году его сослали на югъ въ довольно почетнуюссылку, которая неожиданно оборвала одинъ періодъ его развитія, какъ поэта, но зато тотчасъ же направило его творчество по новому пути.

Все, что Пушкинъ создалъ въ лицев и въ первые три года своей вольной жизни, теперь значительно устаръло, но въ то время было литературнымъ событіемъ, съ которымъ современники считались какъ съмногообъщающимъ словомъ. Опредълить историческую цънность "лицейскихъ" стихотвореній и другихъ стиховъ Пушкина первыхъ годовъ его творчества не такъ легко: только подробное ознакомленіе съ литературными теченіями того времени позволяетъ установить ее. Эта стоимость—временная, а не въчная, какую

имъютъ истинно художественныя созданія.

Первая и неизбъжная черта этого юношескаго творчества—смъшеніе въ немъ самыхъ разнообразныхъ стилей. Поэтъ учится на хорошихъ образцахъ, но какъ ученикъ съ громаднымъ талантомъ онъ не подражаетъ слъпо (за исключеніемъ тъхъ случаевъ, когда просто переводитъ), а старается пережить съ любимымъ авторомъ настроенія, которыя ему открылись. Перечислять эти

образцы, къ которымъ Пушкинъ приглядывался,—нѣтъ нужды; всъ самые видные художники западные (преимущественно англійскіе и французскіе), классическаго стиля и сентиментальнаго интересовали Пушкина и были безспорно предметомъ добросовъстнаго изученія, судя по тому, какъ умъло онъ усвоилъ ихъ манеру письма и ихъ пріемы мастерства. Изъ русскихъ писателей можно указать на Державина, Богдановича, Жуковскаго, Батюшкова и Карамзина, слъды вліянія которыхъ остались на этихъ первыхъ опытахъ Пушкина.

Намъ нътъ, впрочемъ, необходимости устанавливать зависимость раннихъ стихотвореній Пушкина отъ произведеній того или другого автора, достаточно будетъ обозрѣть въ его цѣломъ то міросозерцаніе, которое въ нихъ открывается. Оно, конечно, юношеское, неглубокое, частями навъянное чтеніемъ, но оно облечено въ красивую форму, которая указываетъ уже на силу поэтическаго чувства, необычайно быстро зрѣющаго.

Религіозныхъ мотивовъ въ этихъ раннихъ стихахъ Пушкина—нътъ: наоборотъ, встръчается неръдко очень поверхностное, шутливое отношеніе къ этому порядку чувствъ, которыя, скажемъ кстати, очень глубоко коренились въ душъ поэта. Что въ эти юные годы Пушкинъ, вопреки тогдашней сентиментальной модъ, оставался холоденъ къ религіознымъ мотивамъ-то это объясняется вольнодумнымъ, извиъ усвоеннымъ направленіемъ, вычитаннымъ изъ французскихъ авторовъ XVIII въка,которые были въ большемъ почетъ и въ его родной семьъ и въ кругу его знакомыхъ. Пушкинъ зналъ эту просвътительную литературу лучше, чъмъ всъ его сверстники. Онъ былъ однако не менъе ихъ предрасположенъ къ мечтательному настроенію, и не избъгъ "томленія души", столь характернаго для его сентиментальнаго въка.

Но, поплакавъ надъ ранней своей могилой, надъ мимолетной радостью, обманами любви въ ея быстромъ бъгъ, погрустивъ при "оссіановской" лунъ и воздавъ должную хвалу одиночеству, — Пушкинъ возвращался къ излюбленнымъ своимъ ощущеніямъ жизнерадостнымъ и игривымъ, къ которымъ по природъ былъ склоненъ и въ которыхъ его поддерживала вокругъ него кипъв-

шая жизнь, въ тѣ годы юношески довѣрчивая и вѣрующая въ счастье. Такихъ жизнерадостныхъ настроеній въраннихъ стихахъ Пушкина очень много, и они чрезвычайно разнообразны. По примѣру французскихъ поэтовъ
XVIII вѣка, а также непосредственно подъ вліяніемъ
латинскихъ лириковъ, которыхъ онъ почитывалъ внимательно, Пушкинъ низвелъ въ своихъ стихахъ на
землю весь веселый Олимпъ и преимущественно, конечно, Вакха и Киприду. Мастеръ былъ онъ и любовныхъ, и застольныхъ пѣсенъ, веселыхъ посланій и шутокъ въ стихахъ, эпиграммъ и экспромптовъ. Иногда
это веселье становилось совсѣмъ холостымъ, и большая
нескромность облекалась тогда въ красивую форму.

Но были и серьезныя темы въ раннихъ стихахъ Пушкина. Отечественная война наводила его на возвышенныя патріотическія и историческія думы. Патріотизмъ военный быль тогда въ большемъ ходу, и послѣтолько что одержанныхъ побѣдъ надъ Наполеономъ нельзя было требовать отъ этого патріотизма какогонибудь критическаго самосознанія. Онъ самонаслаждался, и Пушкинъ въ этомъ поддерживалъ его своими стихами. Много красивыхъ стиховъ написалъ онъ во славу Императора и побѣдоноснаго войска и много патети-

ческихъ на тему объ упавшемъ гигантъ.

Но этотъ патріотизмъ, что очень характерно для юнаго, жизнерадостнаго весельчака, иногда, —правда, не надолго и неожиданно, —отъ военныхъ темъ переходилъкъ темамъ гражданскимъ и обнаруживалъ тогда способность какъ будто трезвой оцънки столь повидимому

успокоительной дъйствительности.

Много было заимствованнаго, но кое-что и оригинальнаго въ раннемъ періодъ творчества Пушкина. Когда поэтъ списывалъ съ натуры картинки природы и попадавшіеся на глаза силуэты изъ русской жизни (въ родъ, напр., "Казака" и "Гусара"); когда онъ писалъ свои личныя воспоминанія (напр., о "Деревнъ") или писалъ откровенныя посланія (напр., "Къ Галичу", "Къ Батюшкову", "Къ Чаадаеву") или пълъ свои веселыя застольныя пъсни,—онъ былъ почти что самостоятеленъ. Ни развитіе сюжета, ни фактура стиха не указывали ни на какого учителя. Но въ общемъ ранніе стихи Пушкина—

конечно, звучный отголосокъ лучшихъ образцовъ западной словесности классическаго и сентиментальнаго стиля. Свой собственный стиль пока еще только вырабатывался *).

4. Для каждаго молодого поэта мысль написать нъчто крупное, сочинение почтенныхъ размъровъ — одна

изъ самыхъ заманчивыхъ мыслей.

Трудность выполненія широкаго поэтическаго замысла не сразу ясна начинающему писателю, и біографія любого поэта показываетъ намъ, какъ много такихъ широкихъ плановъ, задуманныхъ въ юности, остаются невыполненными. И у Пушкина рано родилось желаніе написать что-нибудь "достойное" поэта или во всякомъ случаъ болъе достойное, чъмъ мелкіе стихи, какихъ онъ успълъ написать уже не малое количество.

 *) Читать всѣ юношескіе стихи Пушкина подрядъ значило бы ослабить ихъ впечатлѣніе; и потому необходимо выбрать изъ

нихъ лишь наиболъе характерныя.

Интимныя чувства, несомивню, пережитыя поэтомъ, очень отчетливо отразились на слъдующихъ стихотвореніяхъ; "Опытность" 1814. "Блаженство" 1814. "Къ Батюшкову" 1815. "Посланіе къ кн. А. М. Горчакову" 1815. Элегія: "Опять я вашъ" 1816. "Къ Жуковскому" 1817. "Безвъріе" 1817. "Упоеніе" 1819. "Миъ бой знакомъ" 1820.

О внѣшнемъ образѣ жизни поэта даютъ вѣрное понятіе стихотворенія: "Пирующіе студенты" 1814. "Городокъ" 1814. "Воспо-

минанія въ Царскомъ селъ" 1815. "Разлука" 1817.

Стиль сентиментальный общеевропейскаго типа хорошо сохраненъ въ стихахъ: "Мечтатель" 1815. "Желаніе" 1815. Элегія: "Счастливъ, кто въ страсти" 1816. "Окно" 1815.

Попытки обработать русскія темы въ стилъ, взятомъ изъ образцовъ иностранной словесности, даны въ стихахъ: "Романсъ"

1814. "Русалка" 1819.

Хорошее возсозданіе античнаго стиля дано въ стихахъ: Гробъ Анакреона" 1815. "Фіалъ Анакреона" 1816. "Торжество

Вакха" 1817

Очень важны стихи, въ которыхъ впервые прорывается у поэта желаніе произнести свой судъ надъ общественнымъ и политическимъ положеніемъ родины. Къ такимъ относятся: "Къ Чаадаеву" 1818. "Деревня" 1819. Ода "Вольность" 1817. "На Аракчесва" 1820.

Какъ на наиболъе совершенные стихи по отдълкъ и по выдержанности настроенія, стихи, въ которыхъ чувствуется уже мастеръ формы внъшней и внутренней, можно указать на стихотворенія: "Сраженный рыцарь" 1815. "Пуншевая пъсня" (изъ Шиллера) 1816. "Пъвецъ" 1816. "Возрожденіе" 1819. Художественный инстинктъ заставилъ молодого поэта взяться за тему, которая была тогда вполнѣ въ его средствахъ, за тему широкую по размѣру, но совсѣмъ не глубокую по мысли. Началъ Пушкинъ работу надъ этимъ первымъ своимъ крупнымъ произведеніемъ еще въ лицеѣ и закончилъ его въ 1820 году. Это была столь извѣстная поэма "Русланъ и Людмила". Ее и въ настоящее время прочитать пріятно въ виду необычайной граціозности стиха, какимъ она написана, и въ виду отдѣльныхъ вставокъ и отступленій, въ которыхъ молодой поэтъ обнаружилъ большое остроуміе и игривую наблюдательность.

Въ исторіи развитія творчества Пушкина "Руслану"

принадлежитъ роль очень видная.

Теперь доказано, что все содержаніе этой поэмы въ общем в и даже въ частностяхъ взято Пушкинымъ изъ очень распространенныхъ въ его время разсказовъ и романовъ съ фантастическимъ колоритомъ. Поэтъ ничего не выдумывалъ, не "сочинялъ", а просто пересказывалъ ходячія сказки, которыя онъ вдобавокъ подслушалъ не у простого народа, а у книжниковъ.

Естествененъ вопросъ—какую же цѣну такой пересказъ могъ имѣть въ глазахъ поэта, стремившагося со-

здать нѣчто "достойное" и "крупное"?

Сознавалъ ли самъ поэтъ всю несамостоятельность своего произведенія? и почему никто изъ критиковъ не указалъ тогда еще на полную зависимость этого произведенія отъ общеизв'єстныхъ романовъ, и почему, наконецъ, "Русланъ" былъ такъ восторженно всъми принять, такъ восторженно, какъ пожалуй ни одно изъ произведеній Пушкина? Дъло въ томъ, что и завязка и развязка поэмы имъли совершенно второстепенное значеніе, и для поэта, и для читателя. Самое главное въ ней и самое для того времени цѣнное было ея настроеніе, настроеніе, положимъ, тоже не новое, но впервые получавшее художественное облаченіе. Поэма была написана въ мажорномо тонъ, и этотъ мажорный тонъ, дополнявшій тотъ сентиментальный, минорный, который такъ художественно былъ выраженъ Жуковскимъ, теперь, въ поэмъ Пушкина, являлся съ требованіемъ полнаго своего признанія въ искусствъ. Онъ получалъ

права гражданства въ изящной литературъ, права, которыхъ онъ раньше не имълъ. Въ самомъ дълъ, если въ тъ годы печальная сторона нашей жизни была такъ мелодично выражена у Жуковскаго, то гдъ мы найдемъ такое же выражене ея веселой стороны до "Руслана"?

"Русланъ" былъ жизнерадостный гимнъ въ хвалу Провидънья, въ честь земныхъ радостей и благъ и всяческихъ доблестей человъка, которыя должны ему дать желанное и заслуженное счастье. Вся поэма — пъснь любви, отъ любви родительской вплоть до любви

мечтательной и безпредметной.

И это пъснь любви торжествующей, одерживающей побъду надъ всъми испытаніями. Правда, рядомъ съ этимъ мотивомъ любви, готовой на жертвы, въ поэмъ слышится пъсня любви очень игривой и нескромной,— но въдь и этотъ видъ любви одно изъ законныхъ веселій жизни.

Мораль поэмы, если уже говорить непремънно о морали (а о ней въ тъ годы художникъ очень много думалъ), - проведена необычайно послъдовательно и ярко. Она-въ торжествъ всъхъ видовъ добра надъ всъми видами зла: торжество свободнаго чувства надъ насиліемъ, св'єтлыхъ духовъ надъ злыми, истинной храбрости надъ ложью, торжество даже запоздалой справедливости надъ преступленіемъ (какъ въ сценъ съ головою). Наконецъ, поэма — пъснь во славу истиннаго русскаго рыцаря безъ страха и упрека, своего рода русскаго Баярда, неустрашимость, честность и величіе котораго пріобрѣтаютъ ему симпатіи всѣхъ инородцевъ оть финна до хазарскаго хана. Самымъ безбрежнымъ оптимизмомъ и жизнерадостностью проникнута эта юношеская поэма. Недаромъ она послужила какъ либретто для музыки самой веселой, которая когда-либо была написана, такъ какъ передъ бравурнымъ весельемъ оперы Глинки блъднъетъ веселье и Моцарта, и Россини.

Понятно, почему всѣ были безъ ума отъ "Руслана". Всѣмъ хотѣлось имѣть полное и художественное выраженіе того чувства довѣрія къ жизни, которымъ столь многіе, въ особенности юныя сердца, были тогда переполнены. Если поэзія Жуковскаго оттѣняла нѣжную

меланхолическую сторону религіознаго и примиреннаго съ людьми сентиментальнаго міросозерцанія, если поэзія, подкрашенная подъ античную, рядомъ съ весельемъ очень настойчиво подчеркивала печальныя стороны бытія, то такая игривая поэзія, какъ поэзія молодого Пушкина, была выраженіемъ кипучей воли къ жизни, полной силъ, выраженіемъ жажды счастья, полной до-

върія къ себъ и людямъ.

Конечно, и Пушкину случалось впадать въ хандру, когда ему міръ становился не милъ (есть очень искреннія слова на эту тему въ его юношескихъ стихотвореніяхъ); случалось ему по примъру иноземнаго образца или со словъ Жуковскаго пропъть иной разъ очень печальную пъсню, но общій тонъ его юношескихъ стихотвореній и въ особенности тонъ "Руслана",—въ которомъ эта юность поэта высказала свои самыя задушевныя чувства,—жизнерадостный мажорный тонъ, иногда легкомысленный и шаловливый, но въ общемъ серьезный въ томъ смыслъ, что онъ былъ вполнъ искрененъ и

отражалъ правду души поэта.

5. Особую форму приняла эта жизнерадостность Пушкина въ его знаменитыхъ "вольнолюбивыхъ" стихахъ, которыя сыграли такую фатальную роль въ его жизни. Много объ этихъ стихахъ спорили; въ нихъ хотъли видъть неопровержимое доказательство зръющей общественной мысли Пушкина, мысли явно оппозиціонной и либеральной. Существовало и обратное мнъніе, которое эти безспорно либеральные и боевые стихи ставило на счетъ легкомыслія поэта и простого озорства. Върнъе будетъ, если мы ихъ объяснимъ живостью его веселаго настроенія и его дов'трчиваго взгляда на жизнь. Смълость бываетъ двухъ родовъ: смълость, знающая съ къмъ и съ чъмъ она имъетъ дъло, и смълость, не угадывающая силы врага, противъ котораго воюетъ. Эту последнюю смелость часто обнаруживаютъ люди веселые по темпераменту и полные въры въ жизнь, тогда какъ смълость испытанная всегда налагаеть нъкоторую печать сосредоточенной грусти на міросозерцаніе человъка. У Пушкина въ его политическихъ словахъ и выходкахъ такой сосредоточенности незамътно: все больше порывы филантропической надежды или вспышки кипучаго веселья и веселой смѣлости, выражающіяся въ забрасываніи противника эпиграммами; или, наконецъ, подъемъ духа до яснаго вызова, тѣмъ болѣе смѣлаго, чѣмъ болѣе онъ неожиданъ, чѣмъ болѣе онъ ласкаетъ въ человѣкѣ самолюбивую мечту о собственной его силѣ.

Поэтъ могь закончить мирную идиллію "Деревня"— сентиментальнымъ пожеланіемъ скоръйшаго раскръпо-

щенія народа:

Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаеть: Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ Другъ человѣчества печально замѣчаетъ Вездѣ невѣжества губительный позоръ. Не видя слезъ, не внемля стона,

Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здъсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себъ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледъльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здъсь рабство тощее тащится по браздамъ
Неумолимаго владъльца.

Здієсь тягостный яремь до гроба всі влекуть, Надеждь и склонностей вы душі питать не сміня;

Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ
Для прихоти развратнаго злодѣя;
Опора милая старѣющихъ отцовъ,
Младые сыновья, товарищи трудовъ,
Изъ хижины родной идутъ собою множить
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.
О, если-бъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?
Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Онъ могъ въ шутливую минуту заострить рядъ эпиграммъ противъ Аракчеева и попутно противъ Карамзина, котораго онъ очень любилъ и уважалъ; онъ могъ бравурничать въ театръ и показывать портретъ убійцы герцога Беррійскаго, проявляя этимъ актомъ вовсе не симпатіи къ террору, а просто давая случайный исходъ своей веселой смълости.

Отчего ему было не помечтать о какомъ-нибудь истинно героическомъ подвигъ, очень смъломъ, очень головоломномъ, хотя, конечно, неясномъ въ своихъ очертаніяхъ,—и тогда онъ могъ сказать, и, въроятно, воодушевленно сказать Чаадаеву:

Любви, надежды, гордой славы Недолго тешилъ насъ обманъ: Исчезли юныя забавы. Какъ дымъ, какъ утренній туманъ! Но въ насъ кипятъ еще желанья: Подъ гнетомъ власти роковой Нетерпъливою душой Отчизны внемлемъ призыванья! Мы ждемъ, съ томленьемъ упованья, Минуты вольности святой. Какъ ждетъ любовникъ молодой Минуты сладкаго свиданья. Пока свободою горимъ. Пока сердца для чести живы, Мой другъ, отчизнъ посвятимъ Души прекрасные порывы. Товарищъ, въры: взойдетъ она. Заря плънительнаго счастья; Россія вспрянетъ ото сна И на обломкахъ самовластья Напишетъ наши имена.

Можно было также, будучи еще совсѣмъ юнымъ, еще сидя на школьной скамъѣ (1817), сочинить по всѣмъ правиламъ одописанія—оду "Вольности" и обнаружить въ этой одѣ большой подъемъ поэтическаго настроенія и очень малый подъемъ политической мысли. Можно было одновременно грозить царямъ—и тѣмъ, которые ихъ сводили съ престола, призывать Брута и Андрея Шенье, плакать объ участи Людовика XVI, проклинать Наполеона и задумчиво глядѣть на замокъ, въ которомъ жилъ императоръ Павелъ I.

Можно было попутно переложить въ стихи и Монтескье:

Увы, куда ни брошу взоръ, Вездъ бичи, вездъ желъзы, Законовъ гибельный позоръ, Неволи немощныя слезы. Вездъ неправедная власть Въ сгущенной мглъ предразсужденій,

Вездѣ неволи грозный геній,
И къ славѣ роковая страсть.
Лишь тайъ.
Не слышится людей стенанье,
Гдѣ крѣпко съ вольностью святой
Законовъ мощныхъ сочетанье,
Гдѣ всѣмъ простертъ ихъ твердый щитъ,
Гдѣ сжатый вѣрными руками,
Гражданъ надъ равными главами,
Ихъ мечъ безъ выбора скользитъ.
Гдѣ преступленье свысока
Сражаетъ праведнымъ размахомъ,
Гдѣ неподкупна ихъ рука
Ни къ злату алчностью, ни страхомъ,

Всъ подобные стихи можно было написать и разныя вольныя выходки сдѣлать, повинуясь поэтическому впечатлънію, какое производить на всякаго чуткаго человъка слова "вольность" и "свобода" — слова, которыя всегда возбуждають несравненно больше эмоцій, чімъмыслей. Такъ волновался ими, въроятно, и молодой Пушкинъ, - въ тъ годы большой весельчакъ и достаточно беззаботный юноша, геніальная натура, любующаяся своей геніальностью и смълая въ своемъ полномъ невъдъніи жизни. Ко всему этому нужно добавить, что въ то время, а именно, приблизительно до 1820 года, - либеральная мысль и либеральное слово носили на себъ пока еще штемпель высочайшаго одобренія и потому не могли казаться уже столь дерзкими и свидътельствовать объ особенно вдумчивомъ отношеніи человъка къ окружавшей его дъйствительности.

Должно быть это обстоятельство и отвело отъ Пушкина тотъ жестокій ударъ, какимъ императоръ Александръ собирался его наказать когда узналъ, что юноша наговорилъ и какія выходки себъ позволилъ. Царю было, конечно, неудобно ссылать Пушкина въ Сибирь или заточать въ Соловецкую обитель за то, что онъ на словахъ пошелъ дальше въ томъ направленіи, которое своимъ подданнымъ указалъ самъ властитель. И Пушкинъ былъ удаленъ изъ Петербурга на югъ

6. Первый періодъ развитія таланта Пушкина закончился, и вмѣстѣ съ этимъ періодомъ заключена была

и особая глава въ исторіи развитія нашего словеснаго

творчества.

Быстро созрѣвалъ новый художникъ, дарованіемъ своимъ сильнъе всъхъ, кто до него служилъ у насъ словесному искусству. Онъ былъ еще очень юнъ, этотъ поэтъ, но уже въ первыхъ своихъ стихахъ обнаружилъ поразительную способность откликаться на самыя разнообразныя впечатлівнія жизни и съ одинаковой художественной полнотой передавать противоръчивыя настроенія. Изъ нихъ одинъ порядокъ былъ особенно ему свойственъ и милъ его душъ, а именно-всъ тъ настроенія и чувства, въ которыхъ выражалась жизнерадостность и жизнеспособность. На жизнь поэтъ смотрълъ пока бъглымъ всеозирающимъ взглядомъ, не задумываясь, но ловя новыя впечатлівнія, которыхъ было такъ много и которыя онъ могъ ловить быстро, благодаря независимому и привилегированному своему положенію въ обществъ. Онъ былъ крайне субъективенъ во всемъ, что онъ писалъ, онъ говорилъ только о томъ, какъ онъ относится къ картинъ жизни, которая передъ нимъ стала развертываться, и если онъ иногда начиналъ критиковать эту жизнь и очень разко выражался о накоторыхъ ея сторонахъ, то онъ это дълалъ подъ наплывомъ настроенія мимолетнаго и также очень субъективнаго или подъ впечатлѣніемъ поэтичности той или другой идеи или чувства.

Во всей этой юношеской поэзіи совсѣмъ не было замѣтно пока никакой душевнойтревоги, никакого разлада ума или сердца, ни одного изъ тѣхъ диссонансовъ, которые неизбѣжно должны получаться по мѣрѣ того какъ человѣкъ отъ созерцанія жизни и художественнаго наслажденія ею начинаетъ переходить къ наблю-

денію надъ ней и посильной ея оцѣнкѣ.

Судьба позаботилась о томъ, чтобы поскоръй подвергнуть жизнерадостность Пушкина неожиданному испытанію.

IV. Первые художественные ростки русскаго романтизма.

the statement of the control of the

1. Ссылка на югъбыла испытаніемъ и для характера и темперамента Пушкина, и для его таланта. И надо признать, что и человѣкъ, и писатель выиграли немало отъ перемѣны обстановки. Самъ Пушкинъ вынужденъ былъ стать къ жизни въ совершенно новое положеніе, и слѣдствіемъ этого было обогащеніе его творчества новыми поэтическими мотивами.

Преувеличивать отрицательныя стороны "изгнанія" Пушкина не слъдуеть: ссылка была въ сущности почетной, а иногда совсъмъ походила на прогулку. Въ кругу добрыхъ знакомыхъ, и очень интеллигентныхъ, Пушкинъ пожилъ на Кавказъ, затъмъ въ Крыму; потомъ попалъ въ Кишиневъ подъ надзоръ и начало очень мягкаго человъка; изъ Кишинева пълалъ частыя экскурсіи, гостиль у друзей въдеревнъ и, наконецъ, былъ переведенъ на службу въ Одессу-какъ никакъ, въ столицу. Здъсь, въ Одессъ онъ вель образъ жизни разстянный и вольный, и въ концт концовъ между нимъ и главнымъ его начальникомъ графомъ Воронцовымъ сложились такія отношенія, при которыхъ дальнъйшая совмъстная служба стала немыслимой. Пушкинъ былъ вторично сосланъ, на этотъ разъ съ юга на съверъ, въ свое родовое имънье Псковской губерніи.

Четыре года жизни на югѣ (1820—1824) для художника были, конечно, большимъ выигрышемъ. Онъ увидалъ

новую природу,—а онъ любилъ ее, и она его вдохновляла; онъ столкнулся съ массою новыхъ лицъ изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества, — лицъ, съ которыми онъ никогда бы не встрътился на съверъ. Эти встръчи безспорно расширяли поэтическій кругозоръ художника. Наконецъ, на югъ онъ очутился довольно близко отъ арены, на которой шла политическая борьба: по сосъдству—борьба Греціи за независимость, а у насъ въ Россіи первая политическая агитація въ войскахъ южной арміи.

Конечно, и Кавказъ съ его преданіями и "вольной жизнью", его "свободой" стали для поэта новымъ источникомъ раздумья. Безспорно, что отъ всей этой новизны, и писатель, и человъкъ много выигрывали. Но ссылка Пушкина имъла и свои отрицательныя стороны, и отъ этихъ сторонъ, и писатель, и человъкъ вы-

играли пожалуй еще больше.

Дъло въ томъ, что ссылка нарушила душевное равновъсіе поэта, подорвала въ немъ его благодушіе, довърчивое отношеніе къ людямъ и жизни, сильно минутами понижала его жизнерадостность и неръдко озлобляла его, —однимъ словомъ, она поколебала въ немъ то сентиментальное настроеніе, въ какомъ онъ былъ воспитанъ. Этотъ переломъ обогатилъ его психику новымъ движеніемъ чувствъ и мыслей и кромъ того слълалъ его очень воспріимчивымъ къ усвоенію такихъ настроеній, на которыя раньше онъ не могь откликнуться.

Въ самомъ дълъ, одно чувство не покидало его за все это время—совсъмъ новое для него чувство обиды. Пушкинъ могъ считать себя невинно гонимымъ, такъ какъ онъ не совершилъ никакого государственнаго проступка, а либо выражалъ благія пожеланія, либо повторялъ то, что вокругъ него говорилось довольно громко и безнаказанно многими. Съ другой стороны, онъ не могъ не понимать, что во всемъ, что онъ говорилъ, онъ въ сущности былъ правъ, что онъ клеймилъ эпиграммой человъка, заслуживающаго ее, что онъ декламировалъ противъ самовластья, которое тогда довольно гласно подвергалось очень серьезнымъ нападкамъ, что онъ взывалъ къ "вольности", которая, понимаемая хоть и въ туманномъ смыслъ, вполнъ заслуживала гимна, что

онъ наконецъ былъ вполнъ лойяленъ въ своемъ либерализмъ. Всъ эти доводы будили въ поэтъ чувство обиды, несмотря на легкія условія его ссылки. Вмъстъ съ чувствомъ обиды въ немъ возрастала и гордость: Изгнаніе льстило ему — это несомн'тьню. Оно возвышало его въ его собственныхъ глазахъ, и собственная его личность стала ему рисоваться въ болъе яркихъ, колоритныхъ краскахъ, а потому и въ краскахъ серьезнопечальныхъ. Онъ сталъ ухаживать за своей личностью-чего онъ раньше не дълалъ, когда любилъ рисовать себя безпечнымъ веселымъ гостемъ на пиру у жизни. Тогда онъ все говорилъ о своемъ родствъ съ Анакреонтомъ, съ Тибулломъ, Катулломъ и Парни; теперь онъ сталъразыскивать другихъ родственниковъ не столь легкомысленныхъ. Онъ вспоминалъ объ изгнанникъ Овидіи и чтилъ въ немъ брата по несчастію; онъ любилъ говорить объ Андреъ Шенье, котораго сказнили тираны, и когда ему въ руки попалъ, наконецъ, Байронъ, то естественно, что онъ нашелъ въ немъ настоящаго своего героя, въ котораго и влюбился.

Этотъ поворотъ отъ мимолетной тихой грусти, почти безпрерывнаго веселья и созерцанія жизни къ бол'ве глубокой печали, къ любованію собой какъ личностью исключительной, незаслуженно оскорбленной и, стало быть, непонятой, къ раздумью надъ своимъ трагическимъ положеніемъ—происходилъ въ душть поэта медленно и упорно, прерываясь, впрочемъ, состояніями духа бол'ве ровными и спокойными, и всего чаще состояніемъ челов'тка влюбленть хронически, но процессъ "омраченія души" поэта продолжался и доходилъ иногда до острыхъ кризисовъ, и тогда Пушкинъ писалъ почти-что челов'тконенавистническія письма (какъ напр., знамени-

тое его письмо къ брату Льву).

Въ развитіи этихъ мрачныхъ чувствъ и тревожнаго настроенія играли, быть можеть, нѣкоторую роль мелочи жизни: какъ-то—скука въ минуты одиночества, служебная рутина, неизбѣжная возня съ людьми сѣрыми и пошлыми, непріязненныя отношенія съ графомъ Воронцовымъ, который въ своемъ неаккуратномъ чиновникѣ никакъ не хотѣлъ признавать поэта, и многое

другое, неизбѣжное во всякой жизни. Конечно, всѣ эти мелочи не сердили бы Пушкина въ такой степени раньше, когда онъ о себѣ былъ болѣе скромнаго мнѣнія и когда никто его не "гналъ". Теперь каждый уколъ ощущался очень болѣзненно.

Ко всей этой личной исторіи, которая многое объясняетъ въ такъ называемомъ "байронизмъ" Пушкина, нужно добавить еще тъ, чисто уже случайные, толчки, которые разныя историческія событія давали тогда его мысли и наводили ее на серьезныя и отнюдь не веселыя размышленія. Наслаждаясь картинами Кавказа, нельзя было не подумать о столкновеніи культуры съ первобытной вольной жизнью и пройти мимо самаго глубокаго родника пессимистической мысли. Узнавъ о смерти Наполеона, можно было также задуматься надъ міровой трагедіей. Нельзя было уберечь себя отъ мысли о "возстаніи"-когда оно совершалось по сосъдству, въ Греціи. Наконецъ, нужно же было многое передумать послѣ долгой беседы съ П. И. Пестелемъ, прежде чемъ написать ему извъстное привътствіе: "Снесемъ иль нътъ главу свою".

Такимъ образомъ, и личная драма, и нѣкоторые эпизоды міровой драмы вызвали въ душѣ Пушкина ту бурю, которая его изъ мирнаго подражателя веселымъ классикамъ и сентименталиста сдѣлала на время "романтикомъ".

2. Стихи, написанные Пушкинымъ за эти знаменательные годы его жизни, позволяютъ намъ вполнѣ отчетливо и ясно слѣдить за тѣмъ, какъ нарастало, крѣпло и улеглось въ немъ это неожиданное душевное волненіе.

Въ стихахъ поэта отразились ясно всѣ перебои его настроенія, но среди душевной бури онъ все-таки всегда сохранялъ способность владѣть собой какъ художникъ.

Волненіе сразу охватило его, какъ только онъ попытался дать себъ отчеть въ томъ, что съ нимъ случилось. Переъзжая на кораблъ изъ Өеодосіи въ Гурзуфъ и приближаясь къ мъсту своей ссылки, онъ писалъ въ знаменитомъ стихотвореніи "Погасло дневное свътило" (1820):

Лети, корабль, неси меня къ предъламъ дальнымъ По грозной прихоти обманчивыхъ морей, Но только не къ брегамъ печальнымъ Туманной родины моей, Страны, гдв пламенемъ страстей Впервые чувства разгорались, Гдѣ музы нѣжныя мнѣ тайно улыбались, Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла Моя потерянная младость, Гдѣ легкокрылая мнѣ измѣнила радость И сердце хладное страданью предала. Искатель новыхъ впечатлъній. Я васъ бѣжалъ, отечески края, Я васъ бъжалъ, питомцы наслажденій, Минутной младости минутные друзья: И вы, наперсницы порочныхъ заблужденій, Которымъ безъ любви я жертвовалъ собой, Покоемъ, славою, свободой и душой, И вы забыты мной, измѣнницы младыя. Подруги тайныя моей весны златыя, И вы забыты мной... Но прежнихъ сердца ранъ, Глубокихъ ранъ любви, ничто не излечило... Шуми, шуми, послушное вътрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!..

Какъ неясна была ему самому пока тревога его духа! О какой отцвътшей и потерянной молодости могъ онъ вспоминать? Когда какая радость ему измъняла и когда онъ бъжалъ отъ наслажденій? Онъ смутно ощущалъ только, что подъ наплывомъ новыхъ тревожныхъ чувствъ въ немъ начинаетъ пропадать любовь къ беззаботному наслажденію и взглядъ его на жизнь начинаетъ туманиться—и все, что въ душть было смутнаго, ему показалось какъ будто бы яснымъ и на яву совершившимся. Это преувеличеніе "мрачныхъ" сторонъ его жизни растетъ, и если, дъйствительно, стихотвореніе "Элегія" (1821) есть личное признаніе, то на душу по- эта гачинатъ ложиться густой мракъ. Онъ пишетъ:

Я пережилъ свои желанъя, Я разлюбилъ свои мечты! Остались мнѣ одни страданъя, Плоды сердечной пустоты. Подъ бурями судобы жестокой Увялъ цвѣтущій мой вѣнецъ! Живу печальный, одинокій, И жду! придетъ ли мой конецъ? Такъ, позднимъ хладомъ пораженный, Какъ бури слышенъ зимній свистъ, Одинъ на въткъ обнаженной Трепещетъ запоздалый листъ.

Самовольный изгнанникъ, какъ онъ почему-то себя называетъ, "недовольный и свътомъ, и собой, и жизнью", онъ находитъ нъкоторое утъшеніе въ той мысли, что были люди, которые не меньше его страдали и такъ же, какъ и онъ, влачили незаслуженно свои дни въ изгнаніи,—и онъ пишетъ свое посланіе "Къ Овидію" (1821).

Наконецъ жалоба какъ будто начинаетъ утомлять поэта: онъ на свою неволю сердится и въ немъ рождается мысль — хорошо было бы вырваться на свободу, и эту мысль онъ выражаетъ необычайно поэтично въ стихотвореніи "Узникъ" (1822).

Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сырой. Вскормленный на волѣ орелъ молодой, Мой грустный товаришъ, махая крыломъ, Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ. Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ окно, Какъ будто со мною задумалъ одно; Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ И вымолвить хочетъ: "Давай улетимъ! Мы—вольныя птицы; пора, братъ, пора! Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора, Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края, Туда, гдѣ гуляемъ лишь вѣтеръ... да я"...

Но кром'в злобной и см'влой мечты—которая лишь увеличиваетъ раздраженіе, есть еще и другое чувство, въ которомъ узникъ можетъ найти ут'вшеніе. Это—чувство презр'внія къ толп'в и чувство удовлетворенія въ признаніи со стороны людей, которыхъ уважаешь и любишь,—и это ут'вшеніе доставилъ себ'в Пушкинъ въ своемъ посланіи "Ө. Н. Глинк'в" (1822).

Когда средь оргій жизни шумной Меня постигнуль остракизмь, Увидѣль я толпы безумной Презрѣнный, робкій эгоизмъ; Безь слезь оставиль я сь досадой Вѣнки пировь и блескъ Авинъ Но голось твой мнѣ быль отрадой, Великодушный гражданинь! Пускай судьба опредѣлила Гоненья грозныя мнѣ вновь,

Пускай мнѣ дружба измѣнила, Қақъ измѣнила мнѣ любовь — Въ моемъ изгнаньи позабуду Несправедливость ихъ обидъ: Онѣ ничтожны, если буду Тобой оправданъ, Аристидъ!

Среди стихотвореній, написанныхъ Пушкинымъ въ эти годы, есть одно очень загадочное и необычайно сильное. Это—знаменитый "Демонъ" (1823).

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы Всѣ впечатлѣнья бытія-И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы, И ночью пънье соловья; Когда возвышенныя чувства, Свобода, слава и любовь И вдохновенныя искусства Такъ сильно волновали кровь-Часы надеждъ и наслажденій Тоской внезапной осъня, Тогда какой-то злобный геній Сталъ тайно навъщать меня. Печальны были наши встръчи: Его улыбка, чудный взглядъ, Его язвительныя рѣчи Вливали въ душу хладный ядъ. Неистощимой клеветою Онъ Провидънье искушалъ; Онъ звалъ прекрасное мечтою, Онъ вдохновенье презиралъ; Не върилъ онъ любви, свободъ, На жизнь насмъшливо глядълъ-И ничего во всей природъ Благословить онъ не хотълъ.

Имъются данныя, по которымъ можно предположить, что это лишь портретъ одного изъ друзей поэта—портретъ, конечно, идеализированный въ сторону грознаго и страшнаго. Но художественная цълостность стихотворенія и необычайная яркость демоническаго типа наводять на мысль, что нъчто родственное этому типу Пушкинъ носилъ тогда въ своей душъ, но только не тогда, "когда ему были новы всъ впечатлънія бытія", а именно теперь, когда съ этими впечатлъніями онъ уже въ достаточной мъръ свыкся. Во всякомъ случаъ, чтобы изобразить этого демона, нужно было научиться понимать его, а къ такому пониманію Пушкина могла

подготовить только та тревога духа, которую онъ самъ

переживаль въ тъ годы.

Эта тревога отразилась не только на чисто личныхъ стихотвореніяхъ поэта, но и на многихъ другихъ, которыя не имъли прямого, непосредственнаго отношенія къ его психикъ, хотя и отражали его личныя мнънія и настроенія.

Къ числу такихъ надо отнести, напримъръ, мрачную балладу "Черная шаль" (1820) и глубоко трагическую "Пъснь о Въщемъ Олегъ" (1822) съ ея фаталистической

тенденціей.

Трагическое и патетическое жизни стало теперь также все болъе и болъе приковывать къ себъ вниманіе поэта, который до этого времени предпочиталъ мотивы игривые, нъжные, въ ръдкихъ случаяхъ меланхолическіе или столь обычные тогда военно-патріотическіе. Какой серьезной мыслью проникнуты, напримъръ, стихотвореніе обращенное къ Дочери Карагеоргія (1820) и къ возставшимъ Грекамъ ("Возстань, о Греція, возстань!" 1823). Глубокая историческая мысль видна въ стихахъ, посвященныхъ Наполеону (1821). Прежде поэтъ разрабатывалъ эту тему въ традиціонномъ національномъ стилъ, теперь онъ возвышался до цълой исторической картины, до философской оцънки событій:

О, ты, чьей памятью кровавой Міръ долго, долго будетъ полнъ, Пріостненъ твоею славой. Почій среди пустынныхъ волнъ! Великолѣпная могила... Надъ урной, гдв твой прахъ лежитъ, Народовъ ненависть почила, И лучъ безсмертія горитъ. Давно ль орлы твои летали Надъ обезславленной землей? Давно ли царства упадали При громахъ силы роковой? Послушны силъ своенравной. Бѣдой шумѣли знамена, И налагалъ яремъ державный Ты на земныя племена. Когда, надеждой озаренный, Отъ рабства пробудился міръ, И галлъ десницей разъяренной Низвергнулъ ветхій свой кумиръ;

Когда на площади мятежной

Во прахѣ парскій трупъ лежалъ. И день великій, неизбѣжный, Свободы яркій день вставаль: Тогда въ волненьи бурь народныхъ. Предвидя чудный свой удълъ. Въ его надеждахъ благородныхъ Ты человъчество презрълъ. Въ свое погибельное счастье Ты дерзкой въровалъ душой: Тебя плѣняло самовластье Разочарованной красой. И обновленнаго народа Ты буйность юную смирилъ; Новорожденная свобода. Вдругъ онъмъвъ, лишилась силъ. Среди рабовъ до упоенья Ты жажду власти утолилъ, Помчалъ къ боямъ ихъ ополченья, Ихъ цѣпи лаврами обвилъ. И Франція, добыча славы, Плѣненный устремила взоръ. Забывъ надежды величавы,

И Франція, добыча славы, Плъненный устремила взоръ, Забывъ надежды величавы, На свой блистательный позоръ. Ты вель мечи на пиръ обильный; Все пало съ шумомъ предъ тобой: Европа гибла; сонъ могильный Носился надъ ея главой.

Да будетъ омраченъ позоромъ Тотъ малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутитъ укоромъ Его увънчанную тънь! Хвала!.. Онъ русскому народу Высокій жребій указалъ И міру въчную свободу Изъ мрака ссылки завъщалъ.

Въ стихотвореніи "Недвижный стражъ дремалъ на царственномъ порогъ" эта же тема проведена съ мистическимъ павосомъ.

Не уберегъ себя Пушкинъ за это время и отъ стихотвореній чисто политическихъ, несмотря на все, что съ нимъ случилось. До насъ дошло только два такихъ стихотворенія, но уже по нимъ видно, насколько повысилось въ поэтъ чувство раздраженія. Хотя Пушкинъ и увърялъ, что "Кинжалъ" (1821) написанъ не противъ правительства, но это върно лишь въ томъ смыслъ, что противъ русскаго правительства не сказано въ стихотвореніи ни одного слова, а много

очень рѣзкихъ словъ, и притомъ съ очень крайней тенденцей, обращено къ "правительству" вообще, подъ которымъ можно разумѣть однако какое угодно. Но и передъ русскими порядками поэтъ въ долгу не остался. Что-то очень сильное хотѣлъ Пушкинъ сказать въ стихотвореніи "Свободы сѣятель пустынный".

Свободы съятель пустынный, Я вышелъ рано, до звъзды; Рукою чистой и безвинной Въ порабощенныя бразды Бросалъ живительное съмя; Но потерялъ я только время, Благіе мысли и труды... Паситесь, мирные народы, Васъ не пробудитъ чести кличъ! Къ чему стадамъ дары свободы? Ихъ должно ръзать или стричъ; Наслъдство ихъ изъ рода въ роды—Ярмо съ гремушками да бичъ.

Смыслъ этихъ словъ несовсѣмъ ясенъ: раздраженъ ли поэтъ противъ народа или противъ власти, которая держитъ народъ въ такомъ звѣриномъ состояніи? Придавалъ ли художникъ своимъ словамъ тѣсный политическій смыслъ или вообще писалъ скорбное стихотвореніе, въ которомъ оплакивалъ паденіе человѣка? Себя ли онъ разумѣлъ подъ словами "сѣятель свободы", да и вообще о какихъ народахъ идетъ рѣчь—о народѣ въ собирательномъ смыслѣ или о народѣ русскомъ? Вѣроятнѣе всего, что это стихотвореніе есть отвѣтъ на начинавшую тревожить поэта мысль о томъ, что всякій народъ заслуживаетъ то правительство, которое имъ правитъ, — мысль, которая въ двадцатыхъ годахъ, въ эпоху реакціи, часто повторялась публицистами на Западѣ.

Итакъ, мы видимъ, какъ неспокойна была душа поэта за эти годы. Но вмъстъ съ тъмъ эта тревога нисколько не мъшала ему совершенствоваться какъ художнику и притомъ какъ пъвцу самыхъ нъжныхъ, незлобивыхъ чувствъ. Стоитъ только перелистать написанные Пушкинымъ за эти годы любовные стихи, чтобы увидъть, какъ чисто личное чувство всецъло имъ овладъвало и заставляло забыть всякую иную тревогу,

кром'в любовной, ясной, св'втлой и счастливой. Стихи эти требуютъ большого къ себ'в вниманія ["Нереида" (1820). "Р'вд'веть облаковъ" (1820). "Д'вва" (1821). "Подражаніе" П'вснь п'всней (1821). "Элегія" (1823). "Ночь" (1823)].

И не одни только любовные стихи говорять намъ о томъ, что душевная тревога не смогла всецъло завладъть поэтомъ; если рядомъ со всъми выше перечисленными тревожными стихотвореніями поставить другія, написанныя въ это же время, — то ясно видно, какъ колебалось настроеніе художника, какъ всякій порывъ недовольства, осужденія, раздраженія находилъ себъ поправку въ иной разъ совсъмъ мирномъ чувствъ.

Тому самому Чаадаеву, съ которымъ вмѣстѣ онъ хотѣлъ "развалить самовластіе", онъ пишеть теперь ["Чаадаеву" (1820)].

Чадаевъ, помнишь ли былое? Давно ль съ восторгомъ молодымъ Я мыслилъ имя роковое Предать развалинамъ инымъ? Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ, Теперь и лѣнь, и тишина, И въ умиленьи вдохновенномъ, На камнѣ дружбой освященномъ, Пишу я наши имена.

Сердце оказалось "усмиреннымъ бурей"; да въдь только такое сердце и могло продиктовать стихотвореніе "Муза" (1821):

Въ младенчествъ моемъ она меня любила
И семиствольную цъвницу мнъ вручила;
Она внимала мнъ съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нъмой тъни дубовъ
Прилежно я внималъ урокамъ дъвы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свиръль она брала:
Тростникъ быль оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ;—

или радоваться, утвшаться и отказываться отъ всякаго ропота, даровавъ птичкъ то, чего не въ силахъ даровать ближнему:

Въ чужбинъ свято наблюдаю Родной обычай старины: На волю птичку выпускаю При свътломъ праздникъ весны. Я сталъ доступенъ утъщенью; За что на Бога мнъ роптать, Когда хоть одному творенью Я могъ свободу даровать?

Очень откровенно и искренно писалъ Пушкинъ о себъ опять-таки Чаадаеву:

Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ, Въ изгнаніи моемъ я не жалълъ о нихъ; Вздохнувъ, оставилъ я другія заблужденья, Враговъ моихъ предалъ проклятію забвенья, И, съти разорвавъ, гдъ бился я въ плъну, Для сердца новую вкушаю тишину. Въ уединеніи мой своенравный геній Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій; Владъю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ; Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ; Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы Мятежной младостью утраченные годы И въ просвъщении стать съ въкомъ наравнъ. Богини мира, вновь явились музы мнъ И независимымъ досугамъ улыбнулись; Цъвницы брошенной уста мои коснулись, Старинный звукъ меня обрадовалъ, —и вновь Пою мои мечты, природу и любовь, И дружбу върную, и милые предметы, Илънявшіе меня въ младенческія льты, Въ тѣ дни, когда, еще незнаемый никѣмъ, Не зная ни заботъ, ни цъли, ни системъ, Я пъньемъ оглашалъ пріють забавъ и лъни И царскосельскія хранительныя сѣни,

Расширяя этотъ мирный и спокойный взглядъ на личную свою жизнь до широкаго взгляда на жизнь человъческую вообще, Пушкинъ говорилъ, наконецъ, въстихотвореніи "Телъга жизни" (1823):

Хоть тяжело подчась въ ней бремя, Телъга на ходу легка; Ямщикъ лихой, съдое время, Везетъ, не слъзетъ съ облучка. Съ утра садимся мы въ телѣгу;

Мы погоняемъ съ ямщикомъ
И, презирая лѣнь и нѣгу,
Кричимъ: валяй по всѣмъ по тремъ!..
Но въ полдень нѣтъ ужъ той отваги,—
Порастрясло насъ, намъ страшнѣй
И косогоры, и овраги...
Кричимъ: полегче, дуралей!
Катитъ попрежнему телѣга.
Подъ вечеръ мы привыкли къ ней,
И дремля ѣдемъ до ночлега,
А время гонитъ лошадей.

Никакъ нельзя предположить, что подобные стихи могли быть написаны въ годы сильныхъ душевныхъ волненій, когда ничто такъ не возмущаетъ человъческую

душу, какъ "дремота", да и еще привычная.

Но Пушкинъ, какъ давно уже замѣчено всѣми, кто имѣлъ случай говорить о немъ, былъ прежде всего художникъ, и только то настроеніе долго держалось въ его душѣ, которое было способно на художественное облеченіе. Всякій душевный разладъ, непримиренное противорѣчіе, всякое длительное возстаніе духа, не завершившееся побѣдой — тяготило его, потому что никакъ или съ трудомъ поддавалось художественному воплощенію. И очень скоро художникъ возмутился противъ той тревоги, которая на первыхъ порахъ обѣщала для него столь многое. А между тѣмъ обстоятельства личной жизни слагались такъ, что тревога повидимому должна была усилиться.

Поэту была второй разъ нанесена обида и пожалуй болье чувствительная чыть та, съ которой онъ увхалъ изъ Петербурга. Безъ всякихъ прегрышеній съ его стороны, просто потому, что онъ сталъ неудобенъ для главнаго своего начальника, — его съ юга переслали на съверъ и интернировали въ деревнъ безъ права выъзда. Прощаясь съ югомъ поэтъ опять обратился со своими стихами къ морю, "къ свободной стихіи", къ той самой, которую онъ привътствовалъ, когда съ съвера вынужденъ былъ перекочевать на югъ. И онъ

писалъ ["Къ морю" (1824)]:

Прощай, свободная стихія! Въ послъдній разъ передо мной Ты катишь волны голубыя И блещешь гордою красой.

Какъ друга ропотъ заунывный, Какъ зовъ его въ прощальный часъ, Твой грустный шумъ, твой шумъ призывный Услышалъ я въ послъдній разъ.

Моей души предълъ желанный! Какъ часто по брегамъ твоимъ Бродилъ я тихій и туманный, Завътнымъ умысломъ томимъ.

Какъ я любилъ твои отзывы,
Глухіе звуки, бездны гласъ,
И тишину въ вечерній часъ,
И своенравные порывы!
Міръ опустѣлъ... Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду та же:
Гдъ капля блага, тамъ на стражъ
Иль самовластье, иль тиранъ.

Иль самовластье, иль тиранъ.
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гулъ въ вечерніе часы.

Въ лѣса, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ.

Опять поэту припомнился и Наполеонъ, и Байронъ, опять его собственная личность стала передъ нимъ на особый пьедесталъ,—и все же какъ спокойны были его слова! Въ нихъ нѣтъ даже жалобы. Прежде Пушкинъ ставилъ людямъ въ виду огорченія, которыя они ему причинили, разныя "измѣны", теперь онъ какъ будто забылъ о людяхъ и желаетъ унести съ собой въ новое изгнаніе лишь память о красотахъ природы, о блескѣ, о тѣни, о говорѣ волнъ.

3. Только что было указано на то, какъ много для Пушкина значила въ каждомъ настроеніи его "художественность", т. е. способность этого настроенія быть художественно схваченнымъ и побъжденнымъ въ искусствъ. Настроенія, не поддававшіяся такой художественной отдълкъ, Пушкина быстро покидали. Это лучше всего можно провърить на тъхъ крупныхъ произведеніяхъ художника, которыхъ онъ написалъ нъсколько за эти годы и въ которыхъ, несмотря на ихъ эпическую форму, онъ остался все тъмъ же субъективнымъ лирикомъ, какимъ былъ во всъхъ остальныхъ своихъ стихотвореніяхъ.

Эти поэмы Пушкина—"Кавказскій плѣнникъ" (1821), "Братья-Разбойники" (1821), "Вадимъ" (1822), "Бахчисарайскій фонтанъ" (1822), "Цыгане" (1824)—имѣютъ для насъ двоякое значеніе. Онѣ очень наглядно показываютъ, какъ Пушкинъ-художникъ силился овладѣтъ тревогой своего духа, какъ онъ неоднократно пытался закрѣпить ее въ художественномъ цѣльномъ образѣ и какъ ему это не давалось. Съ другой стороны поэмы эти имѣютъ для насъ громадное значеніе, какъ первые ростки русскаго художественнаго "романтизма"—пресловутаго, туманнаго, привлекательнаго, столь много нашумѣвшаго "романтизма".

Трудъ всякаго историка литературы былъ бы очень облегченъ, если бы можно было совсъмъ избъжать этого рокового слова "романтизмъ", который всегда и во всъхъ объясненіяхъ остается большимъ туманнымъ пятномъ. Но избъжать его нельзя, такъ какъ въ старину о немъ велись нескончаемые споры, и они имъли хотя туманный, но глубокій смыслъ для цълыхъ

литературныхъ направленій и школъ.

Родина этого термина на Западъ: къ намъ это слово было занесено и получило у насъ еще болъе неопредъленный смыслъ, чъмъ тамъ, гдъ оно родилось. Замътимъ прежде всего, что и на Западъ оно имъло разный смыслъ въ разныхъ странахъ, такъ какъ каждый народъ налагалъ на него печать своего индивидуальнаго темперамента и склада своей мысли. Такимъ образомъ, романтическія теченія въ литературѣ нѣмецкой, французской, англійской, итальянской другъ на друга очень мало похожи, хотя вст они и выросли на единой психологической почвт. Если ограничиться лишь последнимъ прожитымъ нами стольтіемъ, т. е. XIX въкомъ, то романтизмомъ принято называть тъ литературныя направленія, которыя возобладали непосредственно послъ великаго кризиса въ концѣ XVIII столѣтія, послѣ вѣка торжествующаго разума и непосредственно съ нимъ связанной великой революціи. Но, конечно, и до этого кризиса тъ основныя психическія положенія, на которыхъ выросъ романтизмъ, были уже ясно замътны въ литературъ. Такимъ образомъ, романтизмъ какъ литературная форма художественнаго творчества есть нъчто своеобразное, внесенное въ искусство лишь послъднимъ столътіемъ. Но если имъть въ виду тъ чувства и настроенія, которыя въ эту новую форму выливались, то романтизмъ, какъ психическое движеніе—въченъ и можетъ быть найденъ гль угодно и въ какую угодно эпоху, такъ какъ за все имъ прожитое время человъкъ какъ мыслящая и чувствующая сила измънился очень мало.

Оставимъ въ сторонѣ вопросъ объ историческомъ развитіи романтизма на Западѣ, который для исторіи русскаго романтизма имѣетъ второстепенное значеніе, и обратимся къ тѣмъ основнымъ психическимъ движеніямъ, на которыхъ всякій романтизмъ покоится.

Если разложить романтическое настроение на самые основные его элементы, то въ основъ его окажется очень простое чувство недовольства дъйствительностью. Оно заставляетъ человъка ставить неизмъримо выше надъ самой жизнью ея просвътленный идеалъ, ту дорогую мечту объ иномъ мірѣ, въ которомъ столько гармоніи, красоты, столько світа, -міріз, о которомъ тоскуетъ человъкъ, нравственно неудовлетворенный. Это тяготъніе къ идеалу, конечно, всегда неопредъленному и туманному, неизбъжно реагируетъ на оцънку той действительной жизни, которая окружаетъ человъка. Вмъсто того, чтобы приближать жизнь къ идеалу и, вникая въ ея мелочи, попытаться найти въ нихъ смыслъ и понять ихъ необходимое значение, человъкъ готовъ пренебречь ими, готовъ всецтло замкнуться въ сферъ своей мечты и мысли и этимъ только усилить противоръчие между идеаломъ и жизнью. И, дъйствительно, какъ часто заблуждался романтикъ, думая, что онъ сможетъ найти свой идеалъ готовымъ и воплощеннымъ здъсь, на землъ, въ данную минуту, и среди людей, которые его окружали! Какъ часто такая надежда была обманута, и какъ часто въ силу этого обмана человъкъ порывалъ свою живую связь съ жизнью! Разладъ съ дъйствительностью неръдко отнималъ у него энергію и силу воли, туманилъ его трезвый умъ и, вмъсто того, чтобы служить стимуломъ дъятельности, былъ причиной апатіи и меланхоліи, тоски по чемуто и стремленія куда-то.

Романтическое настроеніе принимало, однако, далеко

не всегда такую форму пассивнаго протеста; въ немъ кром'в меланхоліи и томленія была своя, иногда необузданная энергія, порывъ страсти, который могъ раскалить сердце челов'вка и дать его фантазіи самый см'влый полетъ; этотъ активный, бурный элементъ романтическаго настроенія составляль его культурную силу и д'влаль его важнымъ факторомъ прогресса. Но въ обоихъ случаяхъ, когда романтикъ рвался такъ необузданно впередъ или когда онъ изнемогаль въ томленіи, онъ виталъ надъ жизнью: либо опережалъ ее, либо отставалъ отъ нея; и потому большая часть его силы и энергіи терялись для этой жизни даромъ. Романтикъ не попадалъ какъ-то въ общую колею, требовалъ отъ жизни либо слишкомъ малаго, либо слишкомъ малаго.

Какъ видимъ, разница между романтизмомъ и сентиментализмомъ, какъ мы его опредълили, почти исчезаетъ и, дъйствительно, во всъхъ литературахъ переходъ отъ теченія сентиментальнаго къ романтическому неуловимъ. Это справедливо и въ отношении литературы нашей. Если ужъ говорить объ отличіи этихъ двухъ направленій, то оно будеть заключаться лишь въ степени тревоги духа, какой подпадаетъ человъкъ при своей ссоръ съ жизнью. Если онъ, разссорившись съ ней, сохраняетъ въру въ Бога и въ человъка, въру въ разръшеніе своей ссоры-здъсь ли на земль, или за гробомъ, то онъ болъе склоненъ смотръть на міръ сентиментально-грустно; если же эта въра въ немъ подорвана и въ разочарованности своей и въ отчаянии онъ не видитъ примиряющаго исхода или ищетъ его пока безуспъшно-то онъ гораздо болъе склоненъ къ вызывающему, гнъвному, скорбному иногда страшно пессимистическому отношенію къ жизни, и тогда онъ съ полнымъ правомъ можетъ назваться "романтикомъ". Романтизмъ есть, такимъ образомъ, лишь повышенный въ тревогъ сентиментализмъ. Само собой понятно, что эта тревога можетъ выражаться весьма различно и въ своемъ развитіи проходить черезъ весьма разнообразныя полосы настроенія и питать себя самыми разнообразными

При приближеніи революціонной грозы, въ концѣ XVIII вѣка, во время нея и непосредственно послѣ

повышенная тревога духа разъединила людей и каждый сталъ изыскивать способы выйти изъ этого томительнаго душевнаго разлада и какъ-нибудь согласовать идеаль съ жизнью. Въ разныхъ странахъ это соглашение произошло въ различныхъ формахъ. У нъмцевъ романтическое раздвоение жизни и идеала разръшилось въ отвлеченно-философскомъ и эстетическомъ созерцаніи; у французовъ оно привело къ чисто эстетическому міропоминанію, оттънявшему преимущественно героическую сторону жизни, у англичанъ, гдф этотъ разладъ мечты и дъйствительности ощущался всего меньше, онъ достигь высшаго мірового своего выраженія въ разочарованномъ индивидуализмѣ Байрона и исчезъ изъ литературы вмъсть съ нимъ. Вотъ эти-то различныя формы разръшенія сердечныхъ и идейныхъ диссонансовъ въ искусствъ и извъстны подъ именемъ "романтическихъ теченій"-единыхъ по своей психической основъ и весьма различныхъ по формъ выраженія и по окончательнымъ взглядамъ на міръ и человъка, къ

какимъ они приводили художника.

4. У насъ въ Россіи эта сердечная и умственная тревога, охватившая умы на Западъ, ощущалась, конечно, очень слабо, но все-таки ощущалась, въ виду все болѣе и болѣе тѣснаго духовнаго общенія нашего съ сосѣдями. Но у нашихъ сосъдей романтизмъ былъ настроеніемъ общественнымъ, которое возникло на почвъ реальныхъ фактовъ и въ свою очередь на эти факты вліяло. У насъ же романтизмъ такой широкой общественной основы не имълъ. Наша сознательная жизнь еще только начиналась, когда на Западъ она была въ полномъ цвъту. Тотъ пахучій и красивый цвътокъ романтизма, который на Западъ распустился подъ открытымъ небомъ, у насъ былъ выведенъ въ теплицъ. Заранъе можно было предсказать, что его жизнь будетъ кратковременна, что у него не будетъ ни сильнаго запаха, ни яркихъ красокъ. Такъ, дъйствительно, и случилось. Въ русскомъ романтизмъ были и страстные порывы, и нъжныя движенія сердца, и стремленіе опередить жизнь, и желаніе спастись отъ нея въ область видіній; въ немъ были и слезы меланхолической печали, и слезы досады, и прощеніе, и гитвъ; въ немъ вообще была смта разнообразныхъ настроеній и чувствъ; но всѣ эти психическія движенія овладѣвали русскимъ романтикомъ не вполнѣ, а какъ-то наполовину; онъ не находился всецѣло въ ихъ власти, и потому онъ могъ легко и быстро пережить это романтическое настроеніе, забыть его, даже удариться въ другую крайность — стать совсѣмъ спокойнымъ мыслителемъ и созерцателемъ той самой жизни, которая его сначала такъ волновала. И на самомъ дѣлѣ русскій человѣкъ отъ "романтизма" отдѣлался очень быстро и даже въ самый разгаръ его не утратилъ способности критическаго къ нему отношенія.

Но пусть романтизмъ какъ выраженіе особаго психическаго состоянія и игралъ относительно бъдную роль въ исторіи нашего самосознанія, онъ былъ достаточно распространенъ какъ литературная форма и въ продолженіе двухъ поколѣній служилъ предметомъ самыхъ оживленныхъ споровъ въ литературныхъ лагеряхъ.

Итакъ, какова же исторія развитія этого настроенія у насъ въ Россіи? Въ краткомъ бѣгломъ очеркѣ

она представляется въ такомъ видъ.

Еще съ конца XVIII въка подъ вліяніемъ иностранной мысли и художественнаго творчества, а также въ силу развивающагося въ насъ сознанія общественнаго, въ силу поднятія нашего умственнаго уровня, въ нашей публицистикъ и литературъ стало ясно сказываться сентиментальное отношение къ проблемамъ жизни. Идеалъ былъ высоко поставленъ надъ этой несовершенной жизнью, мрачныя стороны которой явственно ощущались, но въра въ Бога, въ Его особую опеку надъ нами, въра въ земную власть правителя и вообще въра въ человъка, какъ въ существо разумное и доброе, умиротворяли всякій разладъ духа и настраивали людей, хоть порой и грустно, но довърчиво. Это - то самое настроеніе, которое намъ уже хорошо знакомо и которое въ Карамзинъ нашло себъ лучшаго публициста, а въ нашемъ первомъ поэтъ, въ Жуковскомъ, - своего художника.

Во все царствованіе Императора Александра Павловича это настроеніе продержалось въ обществ'є, несмотря на то, что ходъ жизни все больше и больше подчеркивалъразладъ мечты и д'ыствительности, и несмо-

тря на зр'вющее въ насъ самосознаніе и потому бол'ве критическое отношеніе къ минутъ. Драма, разыгравшаяся на Западъ въ концъ XVIII въка, насъ почти не задъла, котя, конечно, на самыя чуткія сердца она не могла остаться безъ вліянія; но у насъ зръла собственная драма, и конецъ свътлыхъ дней александровскаго цар-

ствованія приближался.

Сентиментальное настроеніе начало постепенно осложняться тревогой, для самихъ людей сначала мало понятной. Но тъ люди, характеръ и міросозерцаніе которыхъ сложилось въ благодушныя времена торжествующаго сентиментализма, для такой тревоги не были созданы: она могла охватить ихъ на нъкоторое время, но она долго держать ихъ въ плъну была не въ силахъ. Она тяготила людей, и они стремились подавить ее. У Жуковскаго, напримъръ, эта тревога сказалась, какъ мы видъли, лишь въ повышении патетическаго тона и въ любви къ особенно драматическимъ положеніямъ. Въ душъ Пушкина, какъ только что указано, несмотря на очень благопріятныя для нея условія личной его жизни, эта тревога духа никакъ не могла удержаться, и очень быстро пошла на убыль, возвращая поэта къ прежнему ровному и довольно благодушному міросозерцанію. Вообще всъ современники Пушкина-какъ увидимъ-для истиннаго романтизма не были созданы, и даже у самыхъ настоящихъ романтиковъ того времени, какими были, напримъръ, декабристы, т. е. у людей, которыхъ эта тревога духа подвинула на прямое возмущеніе и возстаніе, романтическая буря души улеглась очень скоро послъ нервнаго кризиса.

Настоящія времена русскаго романтизма наступили поздн'єе, когда посл'є декабрьскаго возмущенія, съ перем'єною царствованія, водворился тотъ режимъ правительственной опеки надъ мыслью и чувствомъ, который заставиль забыть о всякихъ сентиментальныхъ идеалахъ. И вотъ тогда-то настоящая тревога ума и сердца могла органически вырасти на русской почв'є—самобытно, безъ всякаго толчка извн'є. Разладъ между жизнью и идеаломъ сталъ такъ ощутителенъ, и всякая болье или мен'єе энергическая натура чувствовала себя такъ не по себ'є въ этой атмосфер'є, что протесть про-

тивъ дъйствительности сталъ естественнымъ явленіемъ, и выразился очень ярко. Вотъ тогда-то въ нашей словесности появились самобытныя романтическія произведенія, созданныя людьми, которые сами на себъ испытали власть душевной тревоги, возникшей на почвъ полной невозможности примирить то, что видишь вокругъ себя, съ тъмъ, что желалъ бы видъть.

Во времена Пушкина нашъ художникъ былъ еще далекъ отъ такой трагедіи: въ немъ было еще много смаренія и кротости передъ жизнью, много въры въ разныя власти—земныя и небесныя,—много довърія къ

человъку.

Воть почему, когда романтизмъ, ставшій на Западъ уже истиной жизни, нахлынулъ къ намъ въ Россію въ началъ XIX столътія, онъ засталъ насъ совершенно неподготовленными для его пониманія и его воспріятія. Шиллеръ, Гёте, французскіе и англійскіе сентименталисты подготовляли насъ къ его пріему;затѣмъ прищелъ къ намъ Шатобріанъ и наконецъ Байронъ, который довершилъ побъду романтизма надъ нашими сердцами. Разобраться во всемъ богатствъ этой поэзіи, какъ бы сразу съ небесъ на насъ упавшей, мы, конечно, не могли; уловить разницу между настроеніями сентиментальныхъ писателей и точно отмежевать ихъ поэзію отъ поэзіи настоящихъ романтиковъ мы тоже были не въ состояни за малымъ литературнымъ образованіемъ; но мы почувствовали въ этихъ писателяхъ большую силу и красоту, они всъ сразу увлекли насъ, и мы всъхъ ихъ сразу готовы были окрестить этимъ таинственно-привлекательнымъ словомъ "романтикъ". Если порыться въ нашей литературной критикъ начала XIX столътія, то мы увидимъ, что каждый критикъ понималъ нъчто свое подъ этими терминами "романтизмъ" и "романтикъ" и такъ произвольно обращался съ ними, что въ концъ концовъ этимъ словомъ стали обозначать вообще всякое произведение, которое было настолько художественно и сильно, что производило впечатлъніе и не смахивало на рутину. Происходило же такое произвольное обращение съ понятиемъ потому, что сама психическая основа, на которой романтизмъ вырасталъ на Западъ, — эта страшная трагедія разлада между идеаломъ и жизнью-была

намъ, русскимъ, въ тъ юные годы нашего самосознанія мало понятна, за малымъ нашимъ историческимъ опы-

Само собою разумъется, что когда нашъ писатель, даже самый сильный по таланту, брался въ тъ годы самостоятельно создать н'Ечто въ "романтическомъ" родъ, воплотить въ художественномъ образъ ту тревогу души, которой онъ любовался у иностранныхъ писателей, то такія попытки должны были терп'ять неудачу. И, д'яйствительно, если пересмотрѣть всѣ романтическія поэмы, которыя писались въ двадцатыхъ годахъ (а ихъ писалось не мало), то лучшими въ художественномъсмыслъ окажутся переводы съ иностраннаго, и очень.

слабыми почти всъ оригинальныя попытки. 5. И Пушкинъ не избъжалъ соблазна. На югь его фантазія была занята планами довольно широкихъ и крупныхъ произведеній. Ему навертывались историческія, легендарныя и бытовыя темы. Любопытно, чтобытовыя темы, для выполненія которыхъ требовалось извъстное объективное отношение къ предмету, - не двинулись дальше короткихъ набросковъ, по которымъ нельзя составить о нихъ никакого яснаго представленія. Попытка написать историческую поэму или драму изъ старославянской жизни ("Вадимъ" 1822), съ ясной политической и либеральной тенденціей, тоже не пошла дальшеотрывковъ, довольно вялыхъ и традиціонныхъ по формъ. и стилю. Очевидно, что интересъ къ политической идеъ. не быль достаточно силенъ въ авторъ, чтобы вынести на себъ тяжесть цълаго большого произведенія. Закончены были Пушкинымъ только четыре поэмы, легендарныя по содержанію и крайне субъективныя по настроенію: "Кавказскій плѣнникъ" (1821), "Братья-Разбойники" (1821), "Бахчисарайскій фонтанъ" (1822) и "Цыгане" (1824).

Одна изъ поэмъ "Бахчисарайскій фонтанъ" — пъснь любви, пъснь личныхъ, интимныхъ воспоминаній-своего рода перлъ любовной лирики, вставленный въ оправу художественныхъ описаній природы. Поэма цънна какъ очень колоритная картина Востока, картина, списанная съ натуры, а не съ иностранной гравюры. Но что касается самого драматическаго положенія, то для

той эпохи жизни Пушкина, о которой мы говоримъ, въ немъ мало характернаго... Если не считать вообще мрачнаго колорита всей поэмы, -то душевная тревога дъйствующихъ лицъ не таитъ въ себъ ничего особеннаго: обычная женская ревность, обычное мрачное настроеніе человъка, любовь котораго отвергнута, и сентиментальный силуэтъ угнетенной невинности. Субъективность художника сказывается въ глубокомъ пониманіи психологіи любви, любви то страстной, то примиренной съ отказомъ, то нѣжной и воздушной, неуловимо тонкой. Характерно лишь то, что среди встхъ до сихъ поръ пропътыхъ Пушкинымъ любовныхъ пъсенъ это первая съ глубоко трагической развязкой. Въ этомъ только и сказалась та тревога духа, какой художникъ

былъ временно охваченъ.

Гораздо больше матерьяла для опредъленія тогдашняго душевнаго настроенія Пушкина дають поэмы "Братья-Разбойники" и "Кавказскій плізнникъ". Въ "Разбойникахъ" надо отличать двъ тенденціи, не безъ умысла одинаково освъщенныя авторомъ. Одна тенденція—чисто моральная: осужденіе, высказанное разбою, и частыя упоминанія о совъсти, которая въ концъ концовъ должна восторжествовать надъ порокомъ. Но мы очень ошибемся, если подумаемъ, что именно для этой морали поэма написана. Она съ нескрываемой симпатіей относится къ преступнику,не за темныя его дъла, конечно, которыхъ она совсъмъ не оправдываетъ, а за то настроеніе бунта и протеста, какимъ живетъ преступникъ, за его отказъ примириться съ своей судьбой, за любовь къ волъ, за укоренившееся въ немъ сознаніе силы своей личности. Это все мотивы, которые въ романтической душть будили большую симпатію и на Западъ создали цълый циклъ художественныхъ поэмъ. Пушкинъ не хотълъ подражать этимъ люэмамъ и потому взялъ сюжеть изъ бытовой русской жизни и справился съ этой бытовой стороной очень удачно. Но весь смыслъ поэмы все-таки въ субъективномъ ея настроеніи, въ этой вскинтвшей тревогъ души, въ этомъ чувствъ протеста, которое толкаетъ человъка на преступленіе. Но характерно, что такой романтическій подъемъ души нашъ авторъ стремится тотчасъ же охладить своей моралью. Иначе не могъ поступить человъкъ его времени—сентименталистъ въ душт и въ основть своего темперамента жизнерадостный и благодушный. Въ обществт разбойника такому человт убыло неловко, но должно признаться, что и въ обществт человт гораздо болт смирнаго, никакимъ преступлениемъ не отягощеннаго, но по натурт своей тревожнаго и мрачнаго, поэтъ также чувствовалъ себя не свободно.

Такъ случилось съ Пушкинымъ, когда онъ писалъ своего "Кавказскаго плънника" (1821). Авторъ съ задачей не справился, и поэма вышла неудачна. Это сознавали читатели, да и самъ поэтъ не протестовалъ и признавался, что недоволенъ своей поэмой. Однако несовершенство поэмы надо признать съ большими оговорками. Описанія природы были превосходны, мъстный колоритъ былъ переданъ правильно, черкесская пъсня была совершенствомъ, неясенъ вышелъ только типъ самого плънника, но онъ и долженъ былъ выйти неяснымъ, потому что художникъ хотълъ въ конкретномъобразъ выразить тъ чувства, которыя еще совершенно не сформировались въ его душт и тревожили ее очень неяснымъ волненіемъ. Планникъ долженъ былъ говорить за Пушкина, за поэта, который впервые ощущалъ наплывъ тревожныхъ думъ и чувствъ, въ которыхъ не разобрался, въ которыхъ и не могъ разобраться, потому что они органически не вязались совсей его психикой. Романтическое волнение прошло зыбью по его сердцу, и эта легкая зыбь, перелетная и мъняющая постоянно свою форму, и должна была въ поэмъ найти свое отраженіе. Задача была для художника непом'врно трудная. Когда онъ им'влъ д'вло съ какимънибудь разбойникомъ, то передъ его глазами былъ хотя условный, но традиціонный и закругленный типъ. Теперь же надлежало ловить неуловимое и создавать типъ, руководясь лишь той тревогой, которой душа была охвачена. Все шло хорошо, пока не пришлось отв'вчать на вопросъ-какая именно тревога сердца заставила русскаго молодого интеллигентнаго человъка ъхать на Кавказъ и вступить въ ряды усмирителей и покорителей вольнаго племени? Въ мотивахъ этого поступка и должно было лежать объяснение тайны сердца самого Пушкина.

Въ Россію дальній путь ведеть,—
Въ страну, гдѣ пламенную младость Онъ гордо началь безъ заботъ, Гдѣ первую позналъ онъ радость, Гдѣ много милаго любилъ, Гдѣ обнялъ грозное страданье, Гдѣ бурной жизнью погубилъ Надежду, радость и желанье, И лучшихъ дней воспоминанье Въ увядшемъ сердцѣ заключилъ.

Людей и свътъ извъдаль онъ, И зналъ невърной жизни цъну. Въ сердцахъ друзей нашелъ измъну, Въ мечтахъ любви—безумный сонъ. Наскучивъ жертвой быть привычной Давно презрънной суеты, И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы,— Отступникъ свъта, другъ природы, Покинулъ онъ родной предълъ, И въ край далекій полетълъ Съ веселымъ призракомъ свободы.

Свобода! онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ.
Страстями сердце погубя,
Охолодѣвъ къ мечтамъ и лирѣ,
Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ,
Одушевленныя тобою,
И съ вѣрой, пламенной мольбою
Твой гордый идолъ обнималъ.

Но развѣ эти стихи объясняютъ намъ что-нибудь? Въ нихъ авторъ скорѣе стремится отвести наши глаза отъ главнаго вопроса, давая сразу цѣлую массу условныхъ объясненій, изъ которыхъ, замѣтимъ кстати, ни одно не согласуется съ удостовѣренными фактами жизни самого автора. Въ объясненіи тревоги своей души Пушкинъ не могъ опереться ни на одинъ изъ выставленныхъ мотивовъ. Оставалось прибѣгнуть къ крайнему средству и свалить всю вину на несчастную любовь. Такъ Пушкинъ и сдѣлалъ:

"Забудь меня: твоей любви, Твоихъ восторговъ я не стою; Безцѣнныхъ дней не трать со мною; Другого юношу зови. Его любовь тебѣ замѣнитъ Моей души печальный хладъ; Онъ будетъ вѣренъ, онъ оцѣнитъ Твою красу, твой милый взглядъ,

И жаръ младенческихъ лобзаній, И нъжность пламенныхъ ръчей: Безъ упоенья, безъ желаній, Я вяну жертвою страстей. Ты видишь слъдъ любви несчастной. Душевной бури слѣдъ ужасный: Оставь меня, но пожалъй О скорбной участи моей! Несчастный другъ, зачъмъ не прежде Явилась ты моимъ очамъ,-Въ тѣ дни, какъ вѣрилъ я надеждѣ И упоительнымъ мечтамъ! Въ тъ дни, когда луна, дубравы, Морей и бури вольный шумъ, Дъвичій голосъ, гимны славы Еще плъняли жадный умъ! Но поздно... умеръ я для счастья, Надежды призракъ улетълъ: Твой другъ отвыкъ отъ сладострастья, Для нѣжныхъ чувствъ окаменѣлъ...

"Какъ тяжко мертвыми устами Живымъ лобзаньямъ отвѣчать, И очи, полныя слезами, Улыбкой хладною встрѣчать! Измучась ревностью напрасной, Уснувъ безчувственной душой, Въ объятіяхъ подруги страстной, Какъ тяжко мыслить о другой!...

"Когда такъ медленно, такъ нѣжно, Ты пьешь лобзанія мои, И для тебя часы любви Проходять быстро, безмятежно: Снъдая слезы въ тишинъ, Тогда разсъянный, унылый, Передъ собою, какъ во снъ. Я вижу образъ въчно милый; Его зову, къ нему стремлюсь, Молчу, не вижу, не внимаю; Тебѣ въ забвеньи предаюсь И тайный призракъ обнимаю; О немъ въ пустынъ слезы лью; Повсюду онъ со мною бродитъ, И мрачную тоску наводитъ На душу сирую мою.

"Оставь же мнѣ мои желѣзы, Уединенныя мечты, Воспоминанья, грусть и слезы— Ихъ раздѣлить не можешь ты. Ты сердца слышала признанье; Прости!.. Но свести все къ несчастной любви, не значило ли это упростить тему до крайности и отнять у ней права на сложную, серьезную и идейную мотивировку? А въдь романтическая тревога имъла всъ права расчитывать на такое серьезное объясненіе. И опять-таки—несчастная любовь: она для Пушкина была тогда невъдома и если онъ заговорилъ о ней, то, очевидно, съ авторскаго отчаянія.

Отданный хоть и временно во власть чувства, которое онъ побороть въ себѣ не могъ, и также не могъ объяснить себѣ, поэтъ кончилъ тѣмъ, что сталъ враждебно относиться къ этому чувству тревоги, къ этому "романтизму" души, взволнованной и мрачной. Онъ сталъ искать случая отомстить ей за всѣ огорченія, которыя она ему причинила, и, дѣйствительно, налюбовавшись какъ художникъ, красивыми позами, въ какія носитель этого романтическаго чувства порой становился, онъ совершилъ надъ нимъ публичную казнь въ "Пыганахъ".

"Цыгане", какъ художественное произведеніе, самая выдержанная изъ раннихъ поэмъ Пушкина. — И понятно почему. Художнику пришлось судить и критиковать то состояніе духа, которое раньше онъ хотѣлъ объяснить и оправдать. Это состояніе никакъ не могло быть согласовано съ его собственной натурой, и потому объясненія его или оправданія не могли быть проведены успѣшно. Судъ же и жестокій судъ былъ вполнѣ возможенъ.

Въ поэмъ "Цыгане" чувствуется прежде всего значительно созръвшій мастеръ. Удивительно ярко и образно передана бытовая сценировка и не менъе замъчательны и драматическое движеніе поэмы, и драматическая форма діалога—форма, которою въ первый разъ пользуется нашъ художникъ, современемъ достигшій въ ней высокаго совершенства.

Но кто же этотъ таинственный Алеко, промънявшій добровольно Петербургъ на южныя степи, какъ его долженъ былъ промънять противъ своей воли Пушкинъ? Онъ—олицетвореніе нъкоторыхъ романтическихъ порывовъ души—насколько они были понятны и доступны автору. Необузданъ онъ въ своихъ страстяхъ, и кажется, что онъ натолкнули его на какое-то преступленіе, потому что "законъ его преслъдуетъ"; онъ фанатичный поклонникъ своей личности и не прощаетъ обидъ;

Я не таковъ. Нѣтъ, я, не споря, Отъ правъ моихъ не откажусь; Или хоть мщеньемъ наслажусь. О, нѣтъ! когда бъ надъ бездной моря Нашелъ я спящаго врага, Клянусь, и тутъ моя нога Не пощадила бы злодѣя: Я въ волны моря, не блѣднѣя, И беззащитнаго бъ толкнулъ; Внезапный ужасъ пробужденья Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ, И долго мнѣ его паденья Смѣшонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Онъ "любитъ горестно и трудно", потому что онъ эгоистъ чистой крови. Онъ ищетъ свободы, но тѣхъ нравственныхъ обязательствъ, которыя налагаетъ на человѣка свобода онъ не признаетъ. Людямъ онъ предъявляетъ цѣлый обвинительный актъ:

О чемъ жалѣть? Когда бъ ты знала, Когда бы ты воображала Неволю душныхъ городовъ! Тамъ люди въ кучахъ, за оградой Не дышатъ утренней прохладой, Ни вешнимъ запахомъ луговъ; Любви стыдятся, мысли гонятъ, Торгуютъ волею своей, Главы предъ идолами клонятъ И просятъ денегъ да цъпей. Что бросилъ я? Измѣнъ волненье Предразсужденій приговоръ, Толпы безумное гоненье Или блистательный позоръ.

Но съ чѣмъ онъ самъ пришелъ къ людямъ, что онъ для нихъ сдѣлалъ—мы не знаемъ. Если онъ призналъ за собой право обвинять ихъ, то и они имѣли полное право съ нимъ не считаться.

Единственный разъ, когда онъ предложилъ людямъ свою любовь и самъ пошелъ къ нимъ навстръчу, онъ поставилъ имъ такія условія, на которыя они не могли согласиться. Онъ за ними сталъ отрицать право

на свободное чувство—право, котораго однако требовалъ для себя. Въ подтверждение этого права онъ пошелъ, наконецъ, на убійство.

Тогда старикъ, приближась, рекъ: "Оставь насъ, гордый человѣкъ! Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ, Мы не терзаемъ, не казнимъ, Не нужно крови намъ и стоновъ; Но жить съ убійцей не хотимъ. Ты не рожденъ для дикой доли; Ты для себя лишь хочешь воли; Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ. Мы робки и добры душою, Ты золъ и смѣлъ—оставь же насъ; Прости! да будетъ миръ съ тобою".

Такъ прощался Пушкинъ съ Алеко и, конечно, слова его относились не къ этому неудавшемуся цыгану, а къ тому демону, который смущалъ его самого въ эти годы. Само собою разумъется, что Алеко не можетъ быть понять какъ воплощение всъхъ романтическихъ чувствъ и настроеній. Онъ-очень несовершенный и узкій романтикъ и притомъ экземпляръ съ большимъ изъяномъ. Въдь не всегда же романтическая буря души была такъ насыщена эгоизмомъ. Для насъ, впрочемъ, совсъмъ не важенъ вопросъ, насколько полно Пушкинъ изобразилъ въ Алеко романтическую тревогу духа: важно то, что онъ осудилъ своего героя безъ попытки оправданія его, не давъ ему даже снисхожденія. Это показываетъ, что изъ сферы этихъ романтическихъ волненій художникъ уже вышелъ, что онъ призналъ себя способнымъ судить ихъ, даже ускореннымъ, а потому не вполнъ справедливымъ судомъ.

"Цыгане" были послъдней романтической поэмой Пушкина. Художникъ больше къ этому настроенію не возвращался, одержавъ побъду надъ той тревогой ума и сердца, которую ему нужно было пережить какъ сыну своего въка, но на которой онъ не могъ долго остановиться въ силу несоотвътствія этой тревоги со всъми основными чертами его собственной психики.

6. Часто возбуждался вопросъ, насколько Пушкинъ былъ самостоятеленъ въ своихъ раннихъ поэмахъ. Изъ біографіи поэта изв'єстно, что въ бытность свою на югь онъ сталъ учиться англійскому языку, сталъ читать Байрона и, какъ всъ молодые люди его поколънія, быль имъ растроганъ, увлеченъ и побъжденъ. Еще современники стали обращать внимание на то, что въ поэзіи Пушкина какъ будто слышатся мотивы "англійскаго барда"; одни стали опасаться за его независимость, другіе же были рады тому, что онъ вступаетъ въ состязание съ такимъ соперникомъ. Затъмъ этотъ вопросъ о "байронизмъ" Пушкина сталъ достояніемъ критиковъ и историковъ литературы и безчисленное количество разъ дебатировался. Выводъ этихъ споровъ и изследованій установилъ несомнънное вліяніе Байрона на нашего художника. До мельчайшихъ подробностей были исчислены всъ заимствованія или то, что могло показаться заимствованіемъ. Признать однако Пушкина-романтика ученикомъ Байрона не пожелали – изъ національной гордости, -но съ другой стороны, сказать, что онъ ничъмъ Байрону не былъ обязанъ, тоже не ръшились. Споръ принялъ поэтому крайне уклончивый характеръ. Не лучше обстояло дъло, когда въ самое послъднее время стали утверждать, что не только Байронъ, но и Шатобріанъ оказаль на Пушкина, какъ на поэта, ръшительное вліяніе.

Вопросъ этотъ, конечно, имъетъ свое историко-литературное значеніе въ оцѣнкѣ творчества Пушкина, но, думается намъ, это значение не слъдуетъ преувеличивать. Всякій писатель, даже очень крупный, въ началъ своей дъятельности всегда находится подъ вліяніемъ извъстныхъ готовыхъ литературныхъ образцовъ и быстро отъ этого вліянія освобождается. Весь вопросъ въ томъ, насколько писатель обязанъ образцу дальнъйшимъ развитіемъ формы въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ или вообще своимъ поэтическимъ міросозерцаніемъ. Только при такой длительной зависимости отъ образца можетъ быть ръчь о вліяніи. Ни художественная форма стихотвореній Пушкина, ни тъмъ болѣе его поэтическое міросозерцаніе не имѣютъ ничего общаго съ поэзіей Байрона. Если въ юности Пушкину пришлось на короткій срокъ полюбить Байрона больше другихъ поэтовъ, то, какъ мы знаемъ, этому во многомъ помогли условія личной его жизни и общее настроеніе исторической эпохи. Въ еще болѣе ранніе годы Пушкинъ увлекался, какъ извъстно, стихами Парни опять-таки потому, что они соотвътствовали его настроенію, и увлекался онъ этимъ французомъ не меньше, чъмъ Байрономъ, а можетъ быть, и больше. Однако едва ли можно говорить о вліяніи Парни на поэзію Пушкина. Намъ кажется, что столь же справедливо будетъ признать безспорное увлечение Пушкина Руссо, Байрономъ или Шатобріаномъ, но вм'єсть съ темъ отказаться отъ мысли опредълить точно степень ихъ вліянія на него. Тотъ фактъ, что нъкоторыя драматическія положенія въ стихотвореніяхъ Пушкина, иногда цълыя фразы или отдъльныя выраженія напоминаютъ аналогичныя положенія и обороты у иностранныхъ писателей-мало что доказываетъ: есть масса примъровъ такихъ совпаденій у писателей, другь отъ друга совстви независимыхъ. Наконецъ, трудно предположить, чтобы какойнибудь оригинальный и сильный поэть, при процессъ своей творческой работы дълалъ сознательные заим-

Байронъ не помогъ Пушкину разобраться въ той неопредъленной романтической тревогъ, какую поэтъ сталъ ощущать въ своемъ сердцъ, потому что источникъ и смыслъ печали Байрона имъли очень мало сходнаго съ душевными волненіями нашего поэта. Но что поэзія Байрона и поэзія Шатобріана дали Пушкину, какъ художнику, почувствовать какой богатъйшій родникъ красоты заключенъ въ этой романтической тревогъ души человъческой—это не подлежитъ никакому сомнънію.

Тримиреніе съ жизнью на почвѣ художественнаго созерцанія.

1. Когда сравниваешь условія жизни, въ какихъ Пушкину приходилось жить на югь, съ тъми, въ какихъ онъ очутился въ родномъ своемъ гназда — въ Михайловскомъ, невольно думаещь о томъ, какъ должно было въ немъ повыситься тревожное чувство протеста противъ властей, противъ людей близкихъ, вообще противъ людей... Изъ-за пустого предлога (неосторожнаго слова въ частномъ письмѣ), а въ сущности изъ-за личныхъ счетовъ съ начальствомъ и его интригъ попадалъ Пушкинъ теперь въ настоящую ссылку, въ глушь, въ даль отъ всякихъ литературныхъ центровъ. Ему былъ запрещенъ вытадъ изъ деревни даже въ состаній губернскій городъ, за нимъ былъ установленъ настоящій полицейскій надзоръ, и участникомъ этого надзора становился его собственный родитель. Къ безправному положенію вообще присоединялись такимъ образомъ еще семейныя непріятности. Говорятъ, что онъ доходили до дикихъ сценъ. Отътздъ семьи изъ деревни какъ будто улучшилъ положение Пушкина, но на смѣну крикливымъ ссорамъ явилось теперь одиночество. Правда, оно скрашивалось знакомствомъ съ сосъдями - людьми очень интеллигентными, и пріъздомъ нъкоторыхъ друзей изъ Петербурга.

Горечь вторичной обиды и несправедливаго обраще-

нія, только что пережитый кризисъ романтической тревоги-все какъ будто указывало на то, что одиночество въ такую минуту только повыситъ раздражение и печаль поэта, а отнюдь не умиротворить ее. Нужно припомнить также, что къ этому времени (1824) въ кругахъ литературной и военной молодежи политическое настроеніе было сильно приподнято, и активное вмѣшательство въ политику дня было въ принципъ ръшеннымъ дъломъ. Положимъ, ссылка держала Пушкина вдали отъ этого движенія, но и на югѣ онъ имѣлъ возможность встрътиться съ людьми, которые подготовляли это движение и въ немъ участвовали. Съ нъкоторыми онъ, дъйствительно, и встръчался. Теперь, живя въ Псковской губерніи, онъ придвинулся къ центру этого движенія. Наконецъ, къ нему въ деревню пріфхалъ Пущинъ, одинъ изъ участниковъ политической агитаціи и вмъсть съ тъмъ его близкій пріятель. Находился Пушкинъ также въ весьма оживленной перепискъ съ А. Бестужевымъ и К. Рылъевымъ-съ двумя наиболъе рьяными политиканами. О чемъ они переписывались, намъ доподлинно неизвъстно, такъ какъ Пушкинъ сжегъ свои бумаги, когда узналъ о возмущении 14 декабря. Во всякомъ случаъ, хотя мы и не имъемъ точныхъ данныхъ, но мы можемъ предположить, что надвигавшаяся политическая буря чуялась Пушкину и что, конечно, его друзья и корреспонденты не умалчивали передъ нимъ о томъ, о чемъ они довольно громко говорили даже съ посторонними. Можно было думать, что присутствіе въ воздухъ этого боевого настроенія и этотъ рость ярко оппозиціонной мысли повысить тревогу души Пушкина, того самаго Пушкина, который еще мальчикомъ былъ такъ смълъ въ политическихъ ръчахъ, шуткахъ и выходкахъ. Какъ теперь этими вопросами волновался Пушкинъ въ тайникъ души-этого мы не знаемъ, но только на поверхность это волнение не всплывало и вопреки ожиданіямъ нашимъ поэть не отозвался на этотъ довольно громкій призывъ своего времени.

2. Усталость ли отъ впечатлъній и волненій, только что пережитыхъ, надежда ли найти въ родномъ углу покой, миръ и тишину, необходимыя для всякой передышки,—но поэтъ привътствовалъ свое Михайловское

стихотвореніемъ необычайно мирнымъ, спокойнымъ и полнымъ дов'врія къ будущему:

Зачемъ ты, грозный аквилонъ, Тростникъ болотный долу клонишь? Зачѣмъ на дальній небосклонъ Ты облако столь гиввно гонишь? Недавно черныхъ тучъ грядой Сводъ неба глухо облекался: Недавно дубъ надъ высотой Въ красъ надменной величался. Но ты поднялся, ты взыгралъ, Ты прошумълъ грозой и славой-И бурны тучи разогналъ, И дубъ низвергнулъ величавый. Пускай же солнца ясный ликъ Отнынъ радостью блистаетъ, И облакомъ зефиръ играетъ, И тихо зыблется тростникъ.

Стихотвореніе это, конечно, не говорить о полномъпримиреніи и прощеньи; и въ посланіи къ Н. Языкову, которое Пушкинъ написалъ приблизительно въ это жевремя, онъ очень откровенно сътуетъ на свое подневольное положеніе.

> Злобно мной играетъ счастье: Давно безъ крова я ношусь, Куда подуетъ самовластье. Уснувъ, не знаю, гдъ проснусь Всегда гонимъ, всегда въ изгнанъъ, Влачу закованные дни...

Но объ этихъ "закованныхъ" дняхъ Пушкинъ въ своей поэзіи больше не вспоминаетъ. Въ его стихахъ водворяется удивительно гармоничное и величавое спокойствіе, которое такъ и остается въ нихъ до самой смерти поэта. Положимъ, когда онъ берется за сатирическое посланіе или за столь любимую имъ эпиграмму, онъ бываетъ золъ и остеръ до безпощадности, но онъ всегда владъетъ собой и своей страстью, и нътъ примъра, гдъ бы чувство его такъ покоряло, что туманило бы и портило художественное выраженіе.

За годы жизни въ деревнъ Пушкинъ иногда позволялъ себъ въ стихахъ наскакивать на своихъ враговъ, но это были теперь, главнымъ образомъ, враги литературные. Къ этому времени относятся, напримъръ, два зна-

менитыхъ "Посланія къ Цензору" — остроумнъйшая публишистическая статья въ двухъ главахъ. Въ исторіи нашей цензуры этому стихотворенію должно быть отведено самое почетное мъсто. Оно направлено не противъ власти, оно въ принципъ признаетъ "санъ" цензора священнымъ, видитъ въ немъ защитника алтаря и трона, но оно безпощадно обрушивается на недостойнаго носителя этого сана.

Симпатія и преклоненіе передъ достойными представителями власти начинаютъ теперь смѣнять въ стихахъ Пушкина его недавніе нападки на тѣхъ, кто этой властью злоупотребляетъ. Во второмъ посланіи къ цензору мы читаемъ хвалебный гимнъ министру народнаго просвѣщенія Шишкову, и цѣлая ода посвящена прославленію гражданскихъ доблестей извѣстнаго адмирала Мордвинова. ("Н. С. Мордвинову" 1825). Такія слова, исполненныя довѣрія къ власти, вполнѣ гармонируютъ съ политической мыслью поэта, которая въ это время стала обнаруживать большую уравновѣшенность и спокойствіе.

Для оцънки политическаго настроенія Пушкина за это время очень характерно извъстное его стихотвореніе "Андрей Шенье" (1825), надълавшее въ свое время много шуму. Оно причинило Пушкину много непріятностей, такъ какъ было понято какъ привътствіе, написанное будто бы декабристамъ. Стихи написаны были раньше декабрьскихъ событій, и Пушкинъ очень возмущался тымь, что въ нихъ могли заподозрить антиправительственную тенденцію. Въ стихотвореніи этомъ, дъйствительно, ничего противоправительственнаго не было, но политическая мысль въ немъ была, и притомъ мысль очень зрълая и спокойная. Знаменитый французскій лирикъ, погибшій на эшафотъ жертвой революціоннаго деспотизма, устами Пушкина говорилъ о своемъ политическомъ идеалъ: "Свобода!" восклицалъ онъ, -

"Привътствую тебя, мое свътило! Я славиль твой небесный ликъ, Когда онъ искрою возникъ, Когда ты въ буръ восходило; Я славиль твой священный громъ, Когда онъ разметалъ позорную твердыню И власти древнюю гордыню Разсъялъ пепломъ и стыдомъ; Я зрълъ твоихъ сыновъ гражданскую отвагу,

Я слышаль братскій ихъ объть, Великодушную присягу

И самовластію безтрепетный отвѣтъ; Я зрѣлъ, какъ ихъ могучи волны

Все ниспровергли, увлекли, И пламенный трибунъ предрекъ, восторга полный, Перерожденіе земли.

Уже сіялъ твой мудрый геній, Уже въ безсмертный Пантеонъ

Святыхъ изгнанниковъ всходили славны тѣни;

Отъ пелены предубъжденій Разоблачался ветхій тронъ, Оковы падали. Законъ,

На вольность опершись, провозгласилъ равенство,

И мы воскликнули: "Блаженство!"... О горе! о, безумный сонъ!

Гдѣ вольность и законъ? Надъ нами Единый властвуетъ топоръ.

Мы свергнули царей? Убійцу съ палачами Избрали мы въ цари! О, ужасъ, о, позоръ!

Но ты, священная свобода, Богиня чистая! нѣтъ, не виновна ты: Въ порывахъ буйной слѣпоты,

Въ презрънномъ бъщенствъ народа— Сокрылась ты отъ насъ. Цълебный твой сосудъ Завъшенъ пеленой кровавой,...

Но ты придешь опять со мщеніемъ и славой— И вновь твои враги падутъ.

Народъ, вкусившій разъ твой нектаръ освященный,

Все ищетъ вновь упиться имъ; Какъ будто Вакхомъ разъяренный, Онъ бредитъ, жаждою томимъ...

Такъ! онъ найдетъ тебя. Подъ сънію равенства Въ объятіяхъ твоихъ онъ сладко отдохнетъ,

И буря мрачная минетъ...

Какъ мало въ этихъ словахъ задора и воинственнаго чувства! Они полны сожалѣнія и жалости къ людямъ, осквернившимъ святыню. Призывъ къ борьбѣ за свободу, борьбѣ неотложной, замѣненъ въ нихъ пѣснью въ честь надежды на грядущее ея торжество. Поэту кажется даже, что онъ, вмѣшавшись въ политическій споръ, совершилъ надъ собой насиліе:

"Куда, куда завлекъ меня враждебный геній? Рожденный для любви, для мирныхъ искушеній, Зачъмъ я покидалъ безвъстной жизни сънь, Свободу и друзей, и сладостную лънь?

Судьба лелъяла мою златую младость, Безпечною рукой меня вънчала радость, И муза чистая дълила мой досугъ. На шумныхъ вечерахъ друзей любимый другъ, Я сладко оглашалъ и смъхомъ, и стихами Сънь, охраненную домашними богами. Когда-жъ вакхической тревогой утомясь И новымъ пламенемъ внезапно воспалясь, Я утромъ, наконецъ, являлся къ милой дѣвѣ И находилъ ее въ смятеніи и гнѣвѣ; Когда съ угрозами, и слезы на глазахъ, Мой проклиная въкъ, утраченный въ пирахъ, Она меня гнала, бранила и прощала, Какъ сладко жизнь моя лилась и утекала! Зачъмъ отъ жизни сей, лънивой и простой, Я кинулся туда, гдѣ ужасъ роковой, Гдѣ страсти дикія, гдѣ буйные нөвѣжды, И злоба и корысть! Куда, мои надежды, Вы завлекли меня! Что дълать было мнъ, Мнъ, върному любви, стихамъ и тишинъ, На низкомъ поприщъ съ презрънными бойцами? Мнъ-ль было управлять строптивыми конями И круго направлять безсильныя бразды? И что-жъ оставлю я? Забытые слъды Безумной ревности и дерзости ничтожной! Погибни, голосъ мой, и ты, о призракъ ложный, Ты, слово, звукъ пустой...

Но, конечно, такое самообвиненіе— очень характерное въ устахъ Шенье-Пушкина— только минутный наплывъ сомнънья. Поэтъ понимаетъ, что, слагая пъсни въ честь свободы, онъ не измънилъ своему назначенію, а искренно и честно высказалъ то, что думалъ; онъ знаетъ, что никто не смъетъ оспаривать права поэта быть судьей великихъ дълъ, совершающихся на его глазахъ:

О! нътъ!

Умолкни, ропотъ малодушный! Гордись и радуйся, поэтъ:
Ты не поникъ главой послушной Передъ позоромъ нашихъ лѣтъ, Ты презрѣлъ мощнаго злодѣя; Твой свѣточъ, грозно пламенѣя, Жестокимъ блескомъ озарилъ Совѣтъ правителей безславныхъ, Твой бичъ настигнулъ ихъ, казнилъ Сихъ палачей самодержавныхъ; Твой стихъ свисталъ по ихъ главамъ; Ты звалъ на нихъ, ты славилъ Немезиду;

Ты зваль на нихъ, ты славиль пемезид Ты пълъ Маратовымъ жрецамъ Кинжалъ и дъву-эвмениду: Когда святой старикъ отъ плахи отрывалъ Вънчанную главу рукой оцъпенълой,
Ты смъло имъ обоимъ руку далъ,
Й передъ вами трепеталъ
Ареопагъ остервенълый.
Гордись, гордись пъвецъ! а ты, свиръпый звърь,
Моей главой играй теперь:
Она въ твоихъ когтяхъ. Но слушай, знай безбожный:
Мой крикъ, мой ярый смъхъ преслъдуетъ тебя!
Пей нашу кровь, живи губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный!

Въ этихъ словахъ многое напоминаетъ уже сказанное Пушкинымъ въ его юношескомъ "Кинжалъ", но какъ отличны эти два стихотворенія по темпу и, главное, по тону. Въ томъ юношескомъ призывъ—все, буря страстей, необузданное волненіе; здъсь—строгій и грустный итогъ политической мысли, много поработавшей и въ этой работъ утратившей всъ страсти, кромъ убъжденности въ своей правотъ.

Стихотвореніе Пушкина "Андрей Шенье", помимо роста политической мысли художника, заключаетъ въ себъ указаніе на развитіе и еще одной мысли, очень существенной для творчества поэта, а именно — мысли о назначеніи художника, объ его отношеніи къ тревогъ дня и въ частности къ людямъ, къ толпъ людской, производящей эту тревогу. Надъ этимъ отношеніемъ Пушкинъ до сихъ поръ думалъ мало. Судя по юношескимъ стихотвореніямъ, высшимъ блаженствомъ поэта считалъ онъ невитышательство въ дъла мірскія и беззаботное уединеніе. Затъмъ, какъ мы видъли, это беззаботное уединение было нарушено открытымъ вмъшательствомъ въ мірскія дѣла, за что и пришлось понести не соотвътствующее винъ наказаніе. Теперь поэтъ вновь былъ занятъ мыслью о своей общественной миссіи и-судя по стихотворенію "Шенье"-поздравилъ себя съ тъмъ, что онъ откликнулся на серьезную сторону житейской драмы, хотя и высказалъ мимолетное сожальніе о томъ, что въ эту борьбу вмышался. Желаніе идти въ этомъ направленіи у Пушкина однако быстро исчезло, и скоро (1828) онъ пришелъ въ этомъ вопросъ къ тому законченному и цъльному выводу, который многими его недоброжелателями былъ истолкованъ какъ спесивое и горделивое

презръніе къ толпъ.

Въ стихахъ того времени, о которомъ говоримъ мы, Пушкинъ ближе всего подошелъ къ этой темъ въ извъстномъ "Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ" (1824), который онъ предпослалъ первой главъ своего "Онъгина". Въ "Разговоръ" остались слъды недавнихъ тревогъ: поэтъ разочарованъ, угрюмъ, отъ людей держится въ сторонъ и совсъмъ безъ увлеченія смотритъ на свое собственное творчество. На вопросъ, въ чемъ кроется причина такого унылаго состоянія духа, художникъ-совствъ какъ въ "Кавказскомъ плънникъ"-отвъчаетъ ссылкой на отвергнутую любовь женщины, какъ на главнъйшій источникъ своего разочарованія. Но мы можемъ ему не повърить. Причина, конечно, лежитъ глубже. Она въ томъ, что онъ въ людяхъ не нашелъ того отклика, на который разсчитывалъ. Книгопродавецъ говоритъ ему:

Но слава замѣнила вамъ Мечтанья тайнаго отрады— Вы разошлися по рукамъ, Межъ тѣмъ какъ пыльныя громады Лежалой прозы и стиховъ Напрасно ждутъ себѣ чтецовъ И вѣтреной ея награды.

И поэтъ отвѣчаетъ:

Блаженъ, кто про себя таилъ Души высокія созданья И отъ людей, какъ отъ могилъ, Не ждалъ за чувство воздаянья! Блаженъ, кто молча былъ поэтъ, И терномъ славы не увитый, Презрѣнной чернію забытый, Безъ имени покинулъ свѣтъ! Обманчивѣй и сновъ надежды, Что слава? Шопотъ ли чтеца? Гоненье-ль низкаго невѣжды? Иль восхищеніе глупца?

На вопросъ, что же остается ему, "утомленному любовью", "ему, которому наскучилъ лепетъ молвы?" онъ отвъчаетъ однимъ словомъ: "Свобода". Поэтъ произнесъ то многозначительное слово, которое потомъ

такъ часто повторялось при нескончаемыхъ спорахъ, о "свободъ искусства". Пушкинъ не пояснилъ, что онъ въ данномъ случат подъ этимъ словомъ разумъстъ, но несомнънно, что это не была пустая отговорка. Въ очень туманныхъ очертаніяхъ возникала передъ поэтомъ необычайно сложная проблема. Надлежало решить вопросъ о томъ, насколько поэтъ можетъ быть свободенъ въ своемъ творчествъ, т. е. насколько для него обязательны ть условія гражданской жизни, среди которой ему жить приходится. Имъетъ ли онъ право остаться самимъ собой, не выходя изъ круга чувствъ и понятій, которыя ему, какъ художнику, милы, или, сознавая свою исключительную роль въ обществъ, онъ долженъ худо ли, хорошо ли, но откликаться на явленія, которыя могуть совствить не интересовать его, какъ художника? Вопросъ этотъ былъ долгое время больнымъ вопросомъ, обиднымъ для художника, который никакъ не могъ допустить насилія надъ собой, и также обиднымъ для читателя, который, любя поэта, не хотълъ согласиться съ тъмъ, что онъ не имъетъ права требовать отъ художника отвъта на всъ вопросы, которые его, читателя, интересуютъ. Время этотъ споръ рфшило. Когда преимущественно субъективное отношение художника къ міру и къ себъ смѣнилось объективнымъ, когда чувство общественной солидарности возросло въ обществъ, тогда и художникъ, приблизившійся къ злобъ дня, пересталъ смотръть на эту злобу какъ на насиле надъ своимъ талантомъ и начиналъ находить поэзію тамъ, гдъ раньше предполагалъ одну лишь прозу. Въ эпоху, о которой говоримъ мы, въ эпоху еще только слагавшагося эстетическаго отношенія нашего къ жизни, въ періодъ крайняго субъективизма художника, а также въ годы сентиментальной довърчивости къ жизни-нельзя было требовать отъ поэта всесторонняго отклика. Многія стороны жизни онъ самовольно исключаль изъ сферы своего интереса какъ "недостойныя" поэзіи. Но вмъстъ съ тъмъ художникъ не могь отдълаться отъ мысли, что онъ-учитель и насадитель добрыхъ нравовъ. Эта мысль досталась ему по наслъдству отъ XVIII въка и кромъ того поддерживалась въ немъ его сентиментальнымъ міропониманіемъ. Какъ же помирить это наставничество съ игнорированіемъ тѣхъ многихъ сторонъ жизни, гдъ такое наставничество могло быть болъе чъмъ у мъста, какъ напримъръ, въ области общественныхъ и политическихъ дълъ? Вопросъ былъ очень трудный, и его на первыхъ порахъ старались ръшить на почвъ чистой отвлеченной философской мысли. Но не всъ къ такому ръшенію были склонны, и Пушкинъ, напримъръ, имъ всегда тяготился. И онъ предпочиталъ какъ можно ръже думать объ этомъ вопросъ и шелъ своей дорогой, не насилуя своего таланта, а въ полномъ смыслъ слова "отдаваясь вдохновенію". — Вотъ почему во встхъ его стихотвореніяхъ, гдт онъ говоритъ объ отношеніи поэта къ толпъ, къ ея нуждамъ, ко всей прозъ жизни, въ томъ числъ и къ политикъ дня, -очень мало продуманной теоріи и очень много сознанія своей свободы, сознанія, которое при началъ знакомства съ Пушкинымъ и съ его эпохой можетъ показаться просто гордыней или индифферентизмомъ. Въ ранней юности быль онъ безпеченъ и очень весель и мало думаль о какихъ-то обязанностяхъ поэта, затъмъ онъ вмъщался въ политику дня и одно время ему нравилась роль воинствующаго поборника либерализма-именно нравилась, а не то, чтобы онъ ставилъ себъ ее въ обязанность, —и вотъ теперь, въ Михайловскомъ, онъ отъ этой политики отошелъ очень спокойно, и отошелъ въ то время, когда вокругъ него политическія страсти его друзей разгорались. Свободное творчество влекло его въ другомъ направленіи, все дальше и дальше отъ окружавшей его жизни, въ міръ вид'єній или въ міръ прошлый, а всего чаще въ міръ личныхъ настроеній и чувствъ.

Удивительно художественно становится теперь выраженіе этихъ личныхъ ощущеній. Первое м'ьсто въ нихъ попрежнему принадлежитъ любви, опять ясной, хоть и грустной минутами ("Признаніе",1824. "Сожженное письмо", 1825. "Желаніе славы", 1825. "Къ А. П. Кернъ", 1825). Наибольшей душевной теплоты достигаетъ эта лирика въ тъхъ стихахъ, въ которыхъ свътится грусть одиночества. Въ этомъ отношеніи "Зимній вечеръ" (1825): "Буря мглою небо кроетъ"—верхъ совершенства художественной передачи въ конкретныхъ образахъ едва уловимаго настроенія. Это настроеніе одиночества, но свътлаго и полнаго надеждъ, передано отчетливо и въ знаменитомъ стихотвореніи "19 октября 1825".

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ Не стоитъ міръ; оставимъ заблужденья! Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!

И жизнь поэта, дъйствительно, какъ будто скрылась на время подъ сънь уединенія. Не надо только думать, что это уединеніе всегда будило въ художникъ грустныя чувства. Несмотря на далеко не благопріятную для веселья обстановку, Пушкина охватывало иногда удивительно жизнерадостное настроеніе. Ему обязаны мы, напримъръ, стихотвореніемъ:

Если жизнь тебя обманеть,
Не печалься, не сердись!
Въ день унынія смирись:
День веселья, върь, настанеть.
Сердце въ будущемъ живетъ;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ мило; (1825)

и той "Вакхической пъснью", передъ которой блъднъютъ всъ диоирамбы веселью:

Что смолкнуль веселія глась?
Раздайтесь, вакхальны припѣвы!
Да здравствують нѣжныя дѣвы
И юныя жены, любившія нась!
Полнѣе стаканъ наливайте!
На звонкое дно,

Въ густое вино Завътныя кольца бросайте! Поднимемъ стаканы, содвинемъ ихъ разомъ! Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!

Ты солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блъднъетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлъетъ
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тъма! (1825)

Въ одну изъ спокойныхъ и торжественныхъ минутъ, прожитыхъ въ уединеніи, ръшился Пушкинъ облечь въ стихотворную форму одинъ порядокъ чувствъ, довольно

сильныхъ въ его душъ, которымъ онъ однако въ своемъ творчествъ удълилъ въ общемъ очень мало мъста. Мы разумъемъ чувства религіозныя. Пушкинъ по натуръ своей быль человъкъ религіозный; это подтверждають всь его знавшіе, и притомъ онъ былъ върующій христіанинъ и православный. Эта религіозность—черта, общаявсему его покольнію. Въ молодости, подъ вліяніемъ французской литературы и изъ юношескаго задора онъ позволяль себъ не мало богохульныхъ ръчей и стиховъ, которые были ни болъе, ни менъе какъ игра воображенія и острословіе-для внутренняго его религіознаго чувства совсъмъ неопасное. Самъ онъ очень раскаивался въ этихъ своихъ прегръщеніяхъ и отказывался признать своими стихи, несомнънно, ему принадлежащіе. Когда, живя на югь, онъ по собственнымъ его словамъ, сталъ брать уроки настоящаго "авеизма", то и это вольнодумство не поколебало въ немъ его въры. Въ своихъ стихахъонъ однако избъгалъ религіозныхъ темъ и въ особенности темъ христіанскихъ, потому ли, что они были слишкомъ интимны и могли озадачить читателя, которому хорошо были знакомы богохульные стихи Пушкина, потому ли, что поэту не давалась художественная форма, достойная этихъ мотивовъ, — неизвъстно. Но теперь онъ позволилъ себъ этихъ темъ коснуться въ своихъ "Подражаніяхъ Корану" (1824). Коранъ — книга религіозная и воинственная, но воинственнаго настроенія въ душт Пушкина не было, когда онъ принялся перелагать эту книгу въ стихи; онъ взялъ изъ книги только нъсколько религіозныхъ мотивовъ. Если въ этихъ стихотвореніяхъ отбросить строфы, въ которыхъ поэтъ удержалъ мъстный, восточный колоритъ, достаточно чувственный, то получится необычайно выдержанный гимнъ Богу, вознесенному надъ всѣми исповѣданіями.

"Подражанія" начинаются со стихотворенія, которое

можетъ быть отнесено къ самому Пушкину:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечемъ и правой битвой,
Клянуся утренней звъздой,
Клянусь вечернею молитвой:
Ньть, не покинуль я тебя.
Кого же въ сънь успокоенья
Я ввель, главу его любя,
И скрылъ отъ зоркаго гоненья?

Не я ль въ день жажды напоилъ
Тебя пустынными водами?
Не я ль языкъ твой одарилъ
Могучей властью надъ умами?
Мужайся жъ, презирай обманъ,
Стезею правды бодро слъдуй,
Люби сиротъ, и мой коранъ
Дрожащей твари проповъдуй!—

и затъмъ слъдуютъ прославление Бога и молитвы:

Почто жъ кичится человъкъ? За то ль, что нагъ на свъть явился, Что дышить онъ недолгій вѣкъ, Что слабъ умретъ, какъ слабъ родился? За то ль, что Богъ и умертвить, И воскресить его по воль? Что съ неба дни его хранитъ И въ радостяхъ, и въ горькой долъ? За то ль, что далъ ему плоды, И хлъбъ, и финикъ, и оливу, Благословивъ его труды И вертоградъ, и холмъ, и ниву? Но дважды ангелъ вострубитъ; На землю громъ небесный грянетъ: И брать оть брата побъжить, И сынъ отъ матери отпрянетъ. И всв предъ Бога притекутъ, Обезображенные страхомъ: И нечестивые падутъ, Покрыты пламенемъ и прахомъ. Земля недвижна; неба своды, Творецъ, поддержаны тобой, Да не падутъ на сушь и воды И не подавять насъ собой.

Зажегъ ты солнце во вселенной,
Да свътитъ небу и землъ,
Какъ ленъ, елеемъ напоенный,
Въ лампадномъ свътитъ хрусталъ.
Творцу молитесь; онъ—могучій;
Онъ правитъ вътромъ въ знойный день,
На небо посылаетъ тучи;
Даетъ землъ древесну сънь.
Онъ милосердъ: онъ Магомету
Открылъ сіяющій коранъ,
Да притечемъ и мы ко свъту,
И да падетъ съ очей туманъ.

Есть и нравственныя сентенціи:

Торгуя совъстью предъ блъдной нищетою, Не сыпь своихъ даровъ разсчетливой рукою; ІЦедрота полная угодна небесамъ. Въ день грознаго суда, подобно нивъ тучной, О, съятель благополучный,

Сторицею воздасть она твоимъ трудамъ. Но если, пожалъвъ трудовъ земныхъ стяжанья, Вручая нищему скупое подаянье, Сжимаешь ты свою завистливую длань, Знай: всъ твои дары подобно горсти пыльной, Что съ камня моетъ дождь обильный, Исчезнутъ, —Господомъ отверженная дань.

И кончается этотъ сборникъ стиховъ великолъпной картиной, полной религіознаго смысла и настроенія:

И путникъ усталый на Бога ропталъ.
Онъ жаждой томился и тъни алкалъ,
Въ пустынъ блуждая три дня и три ночи.
И зноемъ, и пылью тягчимыя очи
Съ тоской безнадежной водилъ онъ вокругъ...
И кладезь подъ пальмою видитъ онъ вдругъ.

И къ пальмъ пустынной онъ бъгъ устремилъ, И жадно холодной струей освъжилъ Горъвшіе тяжко языкъ и зъницы, И легъ, и заснулъ онъ близъ върной ослицы; И многіе годы надъ нимъ протекли,

По волѣ владыки небесъ и земли. Насталъ пробужденья для путника часъ; Встаетъ онъ и слышитъ невѣдомый гласъ: "Давно ли въ пустынѣ заснулъ ты глубоко?" И онъ отвѣчаетъ:—Ужъ солнце высоко На утреннемъ небѣ сіяло вчера: Съ утра я глубоко проспалъ до утра.—

Но голосъ: "О, путникъ, ты долѣе спалъ; Взгляни: легъ ты молодъ, а старцемъ возсталъ; Ужъ пальма истлѣла, а кладезъ холодный Изсякъ и засохнулъ въ пустынъ безводной Давно занесенный песками степей;

И кости бѣлѣютъ ослицы твоей". И горемъ объятый, мгновенный старикъ, Рыдая, дрожащей главою поникъ... И чудо въ пустынъ тогда совершилось: Минувшее въ новой красъ оживилось; Вновь зыблется пальма тънистой главой; Вновь кладезь наполненъ прохладой и мглой.

И ветхія кости ослицы встають, И тъломъ одълись, и ревъ издають; И чувствуеть путникъ и силу, и радость;

Въ крови заиграла воскресшая младость; Святые восторги наполнили грудь, И съ Богомъ онъ далъ пускается въ путь.

3. Въ селѣ Михайловскомъ былъ написанъ Пушкинымъ и "Борисъ Годуновъ". Задумана была и создалась эта драма быстро, и самъ авторъ остался, кажется, вполнѣ доволенъ своимъ произведеніемъ. Онъ понималъ, что онъ создалъ нѣчто великое, совсѣмъ самобыт-

ное и своеобразное.

У Пушкина былъ прирожденный вкусъ къ народной старинъ; онъ не переставалъ ею заниматься всю жизнь, и она всегда поддавалась подъ его перомъ необычайно художественной обработкъ. Въ Михайловскомъ онъ былъ занятъ собираніемъ народныхъ пѣсенъ, причемъ его очень интересовалъ циклъ легендъ о Стенькъ Разинъ,—интересъ, вполнъ объяснимый, если мы припомнимъ, что поэтъ только что пережилъ настроеніе, при которомъ ему такъ нравились братья-разбойники. Работа надъ народнымъ творчествомъ прибавила много красокъ на палитру художника и помогла ему выковать особый языкъ—народный по оборотамъ и выраженіямъ, образный и мъткій, которымъ одинъ только онъ изъ всъхъ своихъ современниковъ умълъ владъть вполнъ непринужденно.

У насъ очень мало свъдъній о томъ, какъ двигалась работа Пушкина надъ "Борисомъ Годуновымъ". Извъстно, что онъ читалъ усердно исторію Карамзина и что именно тотъ томъ, гдъ Карамзинъ говоритъ о Борисъ, произвелъ на поэта столь сильное впечатлъніе, что онъ въ своей драмъ повторилъ сентенціи исторіографа. Связь между исторіей Карамзина и "Борисомъ" несомнънна, хотя къ основной политической мысли драмы, мысли,—которую можно выразить приблизительно такъ: "Самодержавная власть должна быть дарована свыше, а не исторгнута силой, хотя бы эта сила опиралась на большой умъ и доброжелательные помыслы" — Пушкинъ могъ прійти и самостоятельно.

Смутное время было въ нашемъ прошломъ эпохой наибольшаго политическаго и общественнаго броженія и пожалуй самымъ драматическимъ моментомъ нашей

старины. Трагедія самодержавнаго деспотизма въ лицъ Іоанна, безвольнаго мягкосердечія и сентиментальнаго добродушія въ лицѣ Өеодора—трагедія крупнаго государственнаго дъятеля, который долженъ пройти черезъ преступленіе, чтобы сдѣлать добро и спасти государство отъ разложенія; немыслимое сочетаніе такого преступленія съ понятіемъ о власти, дарованной отъ Бога, и потому недовърге народа и ропотъ его на владыку, на царя-узурпатора; Немезида въ лицъ какого-то самозванца и, наконецъ, вдали соборъ народный, который избираетъ себъ царя и какъ бы вмъстъ съ Богомъ ставитъ его на царство, -- всъ эти мысли, образы, картины, мечты и факты не могли не поразить воображенія и не вызвать творческой фантазіи истиннаго художника; и мы знаемъ, что почти всѣ наши драматурги и до Пушкина, и послъ Пушкина всегда, худо ли, хорощо ли, черпали свои драматическія завязки и положенія именно изъ эпизодовъ этой "смутной" эпохи.

Но, кажется намъ, были еще и иныя причины, которыя эту тему дълали для Пушкина особенно интересной. Въ основъ своей тема была политическая, какъ бы мы ни старались выдвигать на первый планъ ея чисто моральную сторону. Психологія царя-деспота, царяпросвътителя, царя-сентименталиста, психологія народа покорнаго, суевърнаго, затъмъ мятежнаго, и, наконецъ, въ извъстномъ смыслъ законодательствующаго и выбирающаго себъ правителя, - это были темы, о которыхъ въ тѣ годы много говорилось, такъ какъ онѣ были очередными темами Александровскаго царствованія. И Пушкинъ объ этихъ темахъ бесъдовалъ много, и если вспомнить, что идею и даже планъ "Бориса Годунова" Пушкинъ обдумывалъ еще на югь, въ періодъ своихъ "бурныхъ стремленій", то можно предположить, что эта тема привлекла его не однимъ только своимъ драматизмомъ и тъмъ урокомъ, который изъ нея можно было вычитать по Карамзину.

Какой вышла бы драма, если бы она была закончена именно въ періодъ "бурныхъ стремленій",—гадать безполезно, но въ томъ видъ, какъ она теперь передъ нами, она свидътельствуетъ о пониженіи всякаго боевого настроенія у писателя. Изъ трагедіи исторической, а стало

быть, и политической, она превратилась въ изложенный въ драматической формъ разсказъ о преступлени царя, мученіяхъ его совъсти и его трагическомъ концъ... Моральная сторона трагедіи выдвинута съ удивительной полнотой и ясностью, которая даже, можетъбыть, гръшитъ противъ исторіи, такъ какъ степень участія Бориса въ убіеніи Димитрія-царевича наврядъ ли можетъ быть опредълена съ точностью. Все, что способствуетъ выясненію этой трагедіи кающейся и караемой души очерчено очень выпукло... Быть можеть, въ интересахъ морали, и посланникъ Немезиды, Самозванецъ-личность довольно-таки темная — вырисованъ въ такихъ смѣлыхъ, привлекательныхъ, рыцарскихъ краскахъ. Но соціальный и политическій фонъ въ драмѣ отсутствуетъ, и одно изъ главныхъ дъйствующихъ лицъ, народъ-"молчитъ". Нельзя забывать, конечно, о цензурныхъ условіяхъ, о которыхъ поэть долженъ былъ думать столько же, сколько о планъ своей драмы; нужно припомнить также, что и тъ нъсколько возгласовъ, которые въ драм' произноситъ своими устами народъ, причиняли Пушкину большое безпокойство, но все-таки характерно для исторіи развитія настроенія поэта то, что государственная драма свелась для него къ драмъ семейной, и вопросъ политическій преобразился въ чисто нравственный. Радость, которую Пушкинъ неоднократно выражалъ въ своихъ письмахъ по поводу "Бориса", увлеченіе своей драмой и ув'тренность въ ея высокой стоимости показывають намъ, кромъ того, что художникъ былъ убъжденъ, что сюжетъ имъ использованъ въ полной мъръ.

"Борисъ "Годуновъ" помимо значенія, которое онъимъетъ какъ показатель извъстнаго направленія мыслей поэта-имъетъ громадную цънность историко-литературную. Это-наша первая художественная драма, и каковы бы ни были ея недостатки именно какъ драмы, она первая дала намъ право говорить о нашемъ націо-

нальномъ историческомъ театръ.

Наша трагедія и комедія XVIII въка была либо чисто подражательная, либо подражательная наполовину. Мы втискивали въ формы французской тра-

гедіи и комедіи, или въ формы нѣмецкой сентиментальной драмы-сюжеты, которые намъ давала наша старина и тв поверхностныя наблюденія, которыя намъ случалось дълать надъ повседневной нашей жизнью. Даже крупный талантъ фонъ-Визина не смогъ освободиться отъ литературныхъ традицій и создать самобытную комедію. Онъ успълъ создать только нъсколько самобытныхъ сценъ, которыя вставилъ въ комедію заимствованной формы съ ярко дидактической тенденціей. Онъ былъ сатирикъ больше, чъмъ драматургъ, какъ и вообще вст его современники, писавшіе для театра... Вплоть до Пушкина мы не имъли писателя драматурга, который, презръвъ всякія извиъ навязанныя теоріи, владъя художественнымъ языкомъ, вывелъ бы намъ на сцену русскую жизнь, про которую мы могли бы сказать, что въ ней нътъ и слъда поддълки подъ какую нибудь иную жизнь, чуждую намъ или подъ какуюнибудь общую формулу жизни вообще. "Борисъ Годуновъ" самобытенъ въ полномъ смыслъ этого слова, потому что въ немъ нътъ ни общихъ собирательныхъ типовъ, ни чужихъ типовъ, одътыхъ въ русскіе костюмы. Пушкинъ могъ старину идеализировать или подкрасить, но она-русская, а не какая-нибудь иная. Онъ могъ у Шекспира учиться техникъ построенія исторической хроники-какъ онъ въ этомъ открыто и признавался,но въ драмъ нътъ ни малъйшаго слъда подражанія Шекспиру. Пушкинъ могъ читать наставленіе, проводить извъстную нравственную идею, но нигдъ у него эта идея не давила, не искажала формы, нигдъ не нарушала правдоподобія въ ходъ дъйствія или въ разговорахъ. Пушкинымъ была создана художественная драматическая хроника, и съ нея началась исторія нашего художественнаго театра. Что эта художественность на первыхъ порахъ облеклась въ формы старинной жизни, а не современности, то это было въ духъ того времени, когда художникъ вообще избъгалъ современныхъ темъ, предохранялъ свою поэзію отъ близкаго соприкосновенія съ текущей жизнью и предпочиталь говорить все больше о себъ, облекая свои чувства, настроенія и мысли въ форму либо личной лирики, либо легендарныхъ и историческихъ сюжетовъ. Настоящую реальную

художественную комедію далъ намъ только Гоголь, десять лътъ спустя послъ того, какъ "Борисъ Годуновъ" былъ написанъ.

4. Обозрѣвая ростъ таланта Пушкина за тѣ восемь лѣтъ, которыя протекли со времени выхода поэта изъ лицея, нельзя не подивиться быстротѣ, съ какой въ немъ зрѣлъ художникъ. Въ селѣ Михайловскомъ дарованіе его достигло полнаго расцвѣта: правда, онъ успѣлъ написать еще сравнительно немного, — но онъ

былъ уже вполнъ сложившійся художникъ.

Отличительной чертой этого художника была многогранность, если такъ можно выразиться, его вдохновенія. Онъ былъ способенъ, какъ поэтъ, овладъвалъ самыми разнообразными настроеніями и чувствами — переживая ихъ и потому такъ художественно ихъ воплощая. Онъ рано обнаружилъ способность - чувствовать себя своимъ въ разныхъ положеніяхъ, въ какихъ стоялъ человъкъ иногда въ очень отдаленную отъ поэта эпоху, среди условій, совстить не походившихъ на тъ, въ которыхъ жилъ художникъ. Эта способность придавала поэзіи Пушкина тотъ характеръ универсальности, которую иногда принимали за его полную будто бы "объективность" какъ художника. Но объективенъ въ настоящемъ смыслъ слова Пушкинъ не былъ: онъ въ минуту творчества себя не забывалъ; онъ иносказательно, но всегда говорилъ о себъ, о своемъ внутреннемъ міръ, который былъ очень глубокъ и широкъ, но все-таки исключалъ цѣлый рядъ понятій и чувствъ, которыя поэтъ и не включаль въ свою поэзію. Мы знаемъ, какіе это были понятія и чувства. Всѣ чувства, которыя вырастаютъ на почвъ разлада съ жизнью, на почвъ острой душевной тревоги, которыя принимають форму ръзкаго протеста противъ человъка, общества или Бога, всъ эти "романтическія" чувства Пушкина, какъ художника, покорить не могли. Онъ заплатилъ имъ извъстную дань въ годы своей молодости, попытался дать имъ художественную форму что даже при его громадномъ талантъ удалось ему лишь на-половину, -- и затъмъ онъ навсегда отошелъ отъ нихъ. Въ его власти какъ художника осталась вся

гармоничная сторона жизни—отъ трагической вплоть до веселой—и эту сторону жизни, которая такъ согласовалась съ его художественно-уравновъшенной душой,

онъ воспроизводилъ въ совершенствъ.

Этотъ субъективизмъ уравновъшеннаго художника можетъ пролить нъкоторый свъть и на одинъ очень туманный эпизодъ молодой жизни Пушкина. Извъстно, что къ дълу по возстанію 14 декабря, въ которомъ участвовало очень много личныхъ друзей Пушкина, онъ привлеченъ не былъ. Если принять во вниманіе, что по этому дълу привлекали многихъ людей, которые имъли къ нему лишь самое отдаленное прикосновеніе, то остается предположить, что Пушкинъ решительно ничего не зналъ объ этомъ возстании и что знакомые его, въ своихъ показаніяхъ очень откровенные, рѣшительно ничего не могли сказать о Пушкинъ какъ о соучастникъ, даже отдаленномъ, въ ихъ дълъ, потому что вообще ничего ему объ этомъ дълъ не говорили. Установилось даже предположеніе, почему именно эти друзья Пушкину ничего не сказали о своихъ планахъ: думаютъ, что они либо не могли положиться на него, какъ на слишкомъ "легкомысленнаго" человъка, либо не хотъли вовлекать его въ опасное дъло, щадя въ немъ генія. Эти объясненія едва ли могутъ быть приняты, такъ какъ декабристы въ свое общество привлекали людей, которые могли имъ казаться и были, дъйствительно, гораздо болъе "легкомысленны", чъмъ Пушкинъ, и такъ какъ при всей своей славъ Пушкинъ еще не могъ казаться имъ такимъ геніемъ, какимъ онъ теперь стоитъ передъ нами: въдь ухаживали же декабристы за Грибоъдовымъ и числили въ своей средъ писателей, которыхъ они тогда очень высоко ставили. Если припомнить къ тому же, что Пушкинъ сжегъ свои бумаги, когда узналъ о событияхъ 14 декабря, что онъ-какъ разсказываютъ-почему-то вдругъ наканунъ рокового числа собрался въ Петербургь и съ дороги вернулся обратно въ деревню, -то едва ли можно допустить его полное невъдъніе того, что замышлялось. И остается тогда предположить, что онъ своимъ друзьямъ далъ понять, на словахъ ли или молчаливо, что онъ въ этомъ деле не съ ними. И они молчали о немъ, какъ и онъ молчалъ о нихъ, пока ихъ не постигло несчастіе. Тогда онъ, ободряя ихъ, послалъ имъ въ Сибирь свое извъстное посланіе.

Все это, конечно, одни гаданія; но насколько можно судить по психическому состоянію поэта, какъ оно отражается въ его стихахъ,—то едва ли бы онъ согласился примкнуть къ движенію. Но весьма въроятно, что если бы 14 декабря застало его въ Петербургъ, то-какъ онъ признался императору Николаю—онъ былъ бы на площади; не по убъжденію, думается намъ, а изъ чувства рыцарской дружбы.

Заканчивая обзоръ этого періода въ исторіи творчества художника, нельзя не остановиться на одной особенности этого творчества. Человъкъ, одаренный такой чуткостью и впечатлительностью, такой живой человъкъ съ несомнъннымъ интересомъ къ общественной и политической сторонъ жизни-совершенно обходитъ въ своемъ творчествъ современную ему дъйствительность. Всегда говоритъ онъ лишь о томъ, что онъ чувствуеть и думаетъ, всегда и въ поэмахъ и даже въ драмъ, первое лицо-онъ самъ, со своимъ міросозерцаніемъ и настроеніемъ. Картинъ окружающей его реальной жизни онъ не даетъ ни одной, и міръ историческихъ образовъ, міръ видѣній, даже привидъній ему дороже дъйствительности. А между тъмъ въ этой окружающей его жизни такъ много движенія, смысла, красоты, такъ много типовъ и драматическихъ и комическихъ положеній! Мы, въдь, знаемъ, какая эта была пестрая и колоритная жизнь.

И Пушкинъ, какъ человъкъ, вовсе не чуждался ея и не пренебрегалъ ею. Онъ зналъ ее отлично и принималъ всъ ея интересы очень близко къ сердцу. Позднъе, онъ какъ журналистъ, и публицистъ, и историкъ, даже какъ авторъ политическихъ записокъ—вмъшивался въ эту жизнь открыто и настойчиво, и сердился, когда ему препятствовали въ такомъ вмъшательствъ. Но какъ художникъ онъ не пускалъ ея въ святилище своей поэзіи, и составить себъ по его стихамъ и повъстямъ точное понятіе о ней—невозможно. Если же ему случалось взяться за "современныя" темы, онъ бросалъ начатое.

Такъ не окончилъ Пушкинъ многихъ повъстей и романовъ и оборвалъ "Евгенія Онъгина"— единствен-

ную поэму, въ которой онъ какъ будто сталъ пѣвцомъ "дѣйствительности", бытописателемъ текущаго момента.

Мы говоримъ—"какъ будто", потому что на самомъ дълъ и "Евгеній Онъгинъ" былъ гораздо больше личной исповъдью, чъмъ картиной русской жизни двадцатыхъ годовъ.

VI. "Плеяда".

1. Обзоръ творчества Пушкина показалъ намъ какого художественнаго совершенства достигла его лирическая пѣсня. Если имѣть въ виду одну только художественность выполненія, то всѣ сверстники Пушкина, конечно, блѣднѣютъ передъ нимъ, и почти всѣ ихъ пѣсни находятъ себѣ въ его творчествѣ параллели, не только равныя имъ по достоинству, но всего чаще и превосходящія ихъ. Однако обойти молчаніемъ этихъ лириковъ, пѣвцовъ своей радости и печали, было бы

несправедливо. Характерно, во-первыхъ, ихъ массовое появленіе. Ихъ очень много, и всъ они, безспорно, люди съ талантомъ; они гораздо болъе талантливы, чъмъ современные имъ прозаики, которые берутся за трудную тему бытописанія окружающей ихъ жизни. Въ то время какъ эти начинающе бытописатели-романисты и разсказчики либо повторяють старый литературный шаблонъ въ своихъ повъстяхъ и романахъ, либо очень неумъло, съ нескрываемой дидактической и моральной тенденціей, пытаются создать нѣчто похожее на русскую жизнь-что имъ совствить не удается - наши лирики, пъвцы личныхъ чувствъ, всегда искренни, всегда владъютъ свомъ матерьяломъ и почти всъ достигаютъ въ художественной его обработкъ довольно высокой степени оригинальности и совершенства. Этотъ фактъ лишній разъ доказываетъ намъ, насколько художникъ, субъективно относящійся къ жизни, быль въ тѣ годы сильнъе писателя, дълавшаго попытки скрыть свою личность за изображаемымъ предметомъ. Лирическое настроеніе — господствующее настроеніе той эпохи.

Кромъ своей численности наши лирики двадцатыхъ годовъ импонирують и своей силой. Пусть Пушкинъ самый разносторонній и сильный изъ нихъ, но область лирическихъ чувствъ широка, и одно и то же чувство таитъ въ себъ столько разнообразныхъ оттънковъ, что оно почти неисчерпаемо, и повтореній въ лирическихъ стихахъ не бываетъ. Что-нибудь свое вноситъ

каждый лирикъ.

Наконецъ, - и это самое главное - лирика Пушкина все-таки при всей своей широтъ обходила нъкоторыя настроенія или очень неполно ихъ выражала. Мы уже знаемъ, что, напримъръ, печальная сторона жизни въ лирикъ Пушкина этихъ годовъ была выражена недостаточно полно, безъ той глубины, которая есть въ истинно скорбномъ взглядъ на жизнь. Мотивъ гражданскій и политическій, мы помнимъ, былъ также случайностью въ творчествъ Пушкина и исчезъ очень быстро. А между тымь область чисто гражданскихъ чувствъ можетъ стать богатымъ родникомъ для лирическаго настроенія и подъема. Наконецъ, есть и еще область лирическихъ чувствъ, которыя Пушкину были почти чужды. Это-то восторженное чувство, какое въ человъкъ будитъ отвлеченная мысль на извъстной своей высотъ. Есть философское созерцаніе жизни, которое настраиваетъ душу поэта очень патетически, въ особенности когда въ сферу этихъ отвлеченныхъ мыслей входитъ раздумье поэта надъ собственнымъ своимъ міровымъ призваніемъ. Пушкинъ не имълъ склонности къ отвлеченному мышленію, и следы такого настроенія въ стихахъ его еле зам'єтны.

Современные Пушкину лирики дополняли исповъдь души своей эпохи всъми этими мотивами, въ Пушкин-

ской поэзіи слабо развитыми.

Эта характерная исповъдь въка, искренняя и очень красивая, открывается намъ, такимъ образомъ, въ лирикъ Пушкина и въ пъсняхъ, какъ принято говорить, его "плеяды". Въ составъ этой плеяды входятъ (чтобы назвать лишь самыхъ сильныхъ) Баратынскій, Языковъ, Веневитиновъ и Рылъевъ.

2. Слово "плеяда" передаетъ очень върно то отношеніе, въ какомъ эти писатели стоять къ Пушкину. Они. дъйствительно, группируются вокругъ него, какъ звъзды меньшей величины около большой звъзды. Они горятъ своимъ свътомъ и учениками Пушкина ни въ какомъ смыслъ названы быть не могутъ. Сами они, отдавая Пушкину должное, считали себя вполнъ независимыми, да и онъ самъ признавалъ ихъ самобытность, и про нъкоторыхъ изъ нихъ говорилъ, и вполнъ искренно, что они-настоящие "поэты". Дъйствительно, вмъстъ съ Пущкинымъ всъ они сыны своей эпохи и на каждомъ изъ нихъ довольно своеобразно отразился въкъ со всъми особенностями господствовавшаго тогда религіознаго, патріотическаго, гуманистическаго, морализирующаго, веселаго или грустнаго, но въ общемъ спокойнаго настроенія. Если говорить объ ихъ учителяхъ, то у Пушкина и у нихъ учителя окажутся общіе - и учителя жизни, и учителя литературныхъ формъ.

Что касается этихъ литературныхъ формъ, то, конечно, на ..плеяду" вліялъ прежде всего Жуковскій, талантъ котораго вполнъ развился къ тому времени, когда молодые лирики только что выступали. Вмъстъ съ Жуковскимъ на нихъ оказывали сильное вліяніе и всъ тъ западные мастера, которыхъ русскими сдълалъ Жуковскій. Во всъхъ раннихъ стихотвореніяхъ нашихъ лириковъ мы найдемъ отзвуки нъмецкой и англійской музы вмъстъ съ воспоминаніями о французской поэзіи XVIII въка,

съ которой ихъ знакомила школа и семья.

Кром'в этого французскаго и н'вмецкаго стиля, т. е., стиля ложно-классическаго и сентиментальнаго наши молодые лирики т'вхъ л'втъ долго увлекались стилемъ античнымъ, который они заимствовали у литературы древне-греческой и римской. Этотъ подражательный стиль одно время, какъ мы помнимъ, нравился и Пушкину, хотя Пушкинъ въ раннихъ своихъ стихахъ отдавалъ предпочтеніе французской передълк'в античныхъ памятниковъ передъ самими оригиналами. Въ зр'влые свои годы онъ въ этомъ античномъ стил'в писалъ оченъ р'вдко. У п'ввцовъ "плеяды" къ этому стилю было гораздо больше симпатій. Читая эту русскую лирику съ ея эпистолами, эпиграммами, мадригалами, сатирами,

элегіями, идилліями, видишь, какъ наши поэты были хо-

рошо знакомы съ классическимъ Парнасомъ.

Горацій, Ювеналъ, Тибуллъ, Катуллъ, Марціалъ, Виргилій и въ особенности Овидій, даже Апулей, читались охотно и, какъ говорилъ Пушкинъ, въроятно, въ ущербъ Цицерону. Такимъ образомъ, русская лирика при рожденіи своемъ была крещена въ языческую въру и долго молилась всъмъ греко-римскимъ богамъ. Боги и полубоги, герои, нимфы, сатиры, фавны, Аглаи, Хлои и другія прелестницы очень занимали воображеніе нашихъ поэтовъ, и мы ошибемся, если скажемъ, что всъ эти имена и связанные съ ними образы были лишь ретори-

ческими украшеніями или звонкими риомами.

Поэтъ Александровской эпохи любилъ классическую древность, и по весьма многимъ причинамъ. Онъ любилъ ее за ея символизмъ и ея идеальную красоту. Она въ своемъ весельъ, въ своей грусти, своемъ гнъвъ и радости, слезахъ и смъхъ, была такъ величественна, спокойна и, повидимому, стояла такъ высоко надъ жизнью. Конечно, при историческомъ взглядъ на нее и она оказалась бы "злобой" своего дня, но историческій взглядъ былъ для поэта въ тѣ времена большой роскошью. Лирикъ двадцатыхъ годовъ находилъ въ классической поэзіи наибол ве подходящее выраженіе многих в своихъ чувствъ, выражение "поэтическое", передававшее всю сущность его настроенія и не затрогивавшее мелочей жизни, изъ которыхъ данное настроение вытекало. Сказать: меня разсердилъ такой-то непонятливый критикъ-значило унизить священное чувство поэтическаго гнъва, а потому и красивъе, и сильнъе-возгласить вмъстъ съ Гораціемъ: "Прочь, непросвъщенная чернь!" Возвести свътскую даму или просто любую изъ своихъ знакомыхъ въ званіе Деліи или Хлои и написать ей посланіе, гдъ упомянуть объ ея соперничествъ съ Кипридой или Граціями, значило возвысить, освятить свое чувство и пріобщить свою возлюбленную къ сонму богинь. Въ застольной пъснъ помянуть Вакха и Киприду было также какъ будто благороднъе, чъмъ прямо написать тостъ въ честь шампанскаго.

Но кром' этой традиціонной красоты и идеальной возвышенности, какія въ готовых образцах были да-

ны въ классической литературъ, само міросозерцаніе римской и греческой поэзіи одной своей стороной подходило къ жизни нашихъ лириковъ начала XIX стольтія. Хваленая гармонія духа, о которой такъ много говорится, когда ръчь заходить о классической литературъ, вполнъ соотвътствовала тому благодушному настроенію, въ какомъ обрътались наши лирики начала XIX стольтія. Эта гармонія не исключала ни меланхоліи, ни тоски, ни даже очень глубокой скорби, какую мы иногда подмъчаемъ въ лирическихъ пъсняхъ этихъ

мололыхъ поэтовъ. Страннымъ можетъ показаться такое смъшеніе необузданнаго веселья съ искренней и глубокой скорбью. Съ одной стороны, полное упоеніе жизнью, ея надеждами и радостями, съ другой-неотвязная мысль о тщетъ всего земного, скорбные помыслы о непостоянствъ всъхъ благъ. Это противоръчіе вполнъ естественно, и нътъ необходимости предполагать, что въ томъ или другомъ случав наши пвицы гонялись за модой или повторяли чужія слова. Ихъ грусть—самая законная и понятная, никогда не покидавшая человъка и въчная его спутница-скорбь о мимолетности всъхъ наслажденій, о ранней старости, объ исчезновеніи всего дорогого и о безмолвномъ неизвъстномъ, которое ожидаетъ насъ за рубежомъ жизни. Печаль этихъ вътренниковъ и молодыхъ повъсъ не есть печаль сентиментальнаго юноши, обманутаго въ своихъ надеждахъ и испытавшаго два-три разочарованія на порог'в жизни; она не есть печаль романтика, томящагося по идеалу, мечтателя, упавшаго съ небесъ на землю; она не есть, наконецъ, гитвиая печаль оскорбленнаго человъка, сознающаго свою силу, но связаннаго и отверженнаго-нътъ, всв эти разновидности человъческой скорби, какими такъ богато XIX-е стольтіе, имьють мало общаго съ грустнымъ настроеніемъ нашихъ поэтовъ Александровской эпохи. Они въ своей первоначальной печали-ни сентименталисты, ни романтики, ни байронисты, они скорѣе всего классики, върующіе въ неумолимую судьбу, тяготъющую надъ міромъ, и въ боговъ, которые завидуютъ людямъ и притомъ лучшимъ людямъ; ониклассики, съ жадностью пользующеся даннымъ моментомъ и съ грустью смотрящіе впередъ на необходимость оторвать скоро свои уста отъ сладкой чаши жизни. Они въ своей грусти скоръе мыслители, чъмъ люди чувства, люди трезваго взгляда, чъмъ нервные мечтатели, какими были ихъ плачущіе современники на Запаль. Понятно, почему они любили такъ классическую поэзію. У Платона, у древнихъ трагиковъ, у Вергилія, Овилія и Горація, находили они тѣ мысли о бренности всего земного, о страшномъ, неотразимомъ приговоръ сульбы, находили тоть крикъ страданія, который рано или поздно долженъ прервать всъ веселыя ръчи, пъсни и бесъды. Этотъ пессимистическій взглядъ на жизнь, не мъщавшій людямъ пользоваться минутою, легъ въ основаніе встхъ печальныхъ стихотвореній нашей молодой лирики, и потому эти стихотворенія носять такой обшій характеръ: они очень неопредъленны, почти всегда однообразны, за ними не видно житейскаго опыта, котораго, конечно, не могло быть, такъ какъ эти пъсни вытекали изъ размышленія о жизни, а не изъ нея самой. Позднъе, когда эти люди обогатились опытомъ, когда жизнь ихъ поломала и обманула, и грустныя пъсни ихъ стали болъе содержательны, а ихъ печаль болъе опредъленна: они тогда непосредственно послъ классиковъ принялись ревностно вчитываться въ Байрона.

Къ этимъ причинамъ, которыя такъ повышали любовь нашихъ лириковъ къ античной словесности, надо добавить, что и всякое боевое настроеніе, охватывавшее временами ихъ сердца, находило себъ въ древности также готовыя формы. Ювеналъ былъ безсмертнымъ образцомъ, и всякій разъ, когда кто-либо изъ нашихъ лириковъ желалъ коснуться общественныхъ или политическихъ темъ, онъ учился боевымъ пріемамъ у этого классика. Помогали лирику, конечно, въ данномъ случать и классики-прозаики, какъ, напримъръ, Тацитъ. Итакъ, обилю классическихъ мотивовъ у нашихъ лири-

ковъ намъ удивляться не приходится.

Но кром'в мотивовъ и идейнаго содержанія, которыми такъ богата классическая древность, у нашихъ молодыхъ п'ввцовъ передъ глазами былъ наглядный прим'връ того, какая высота художественной формы можетъ быть до-

стигнута въ переложеніи этихъ античныхъ мотивовъ на нашъ родной языкъ. Такой примъръ былъ данъ въ стихотвореніяхъ Константина Николаевича Батюшкова—поэта весьма цънимаго и любимаго, который закончилъ свою дъятельность (1822 г.) какъ разъ тогда, когда Пушкинъ и его плеяда только что стали вызръвать.

3. Батюшкова принято считать вмѣстѣ съ Жуковскимъ-учителемъ Пушкина и его сверстниковъ. Самъ Пушкинъ любилъ поэзію Батюшкова, признавалъ его образцомъ для себя и преклонялся передъ нимъ какъ передъ истиннымъ поэтомъ. Батюшковъ и былъ истиннымъ поэтомъ, но приравнять его къ Жуковскому и назвать учителемъ цълаго литературнаго поколънія — едва ли можно. Его талантъ былъ очень односторонній, хотя въ этой односторонности сильный. Если ужъ про Жуковскаго мы сказали, что его поэзія далеко не отражала встхъ сторонъ современной ему жизни, всъхъ ея настроеній, то поэзія Батюшкова была совствить бъдна мотивами. То. за что принято его хвалить и что составляетъ несомитьнную его заслугу, это-грація формы въ его зрѣлыхъ произведеніяхъ и мелодичность стиха. Но если мы сравнимъ его стихъ со стихомъ Жуковскаго, то едва ли мы Батюшкову отдадимъ предпочтение. Для выработки нашего литературно-художественнаго языка Батюшковъ кое-что сдълалъ, но ничего такого, чего безъ его помощи не сдълалъ бы Жуковскій.

Есть однако одна область чувствъ, въ которой Батюшковъ былъ первокласснымъ мастеромъ, это—то эстетическое чувство, которое возбуждаетъ въ людяхъ созерцаніе красоты. До Пушкина никто не умѣлъ такъ безкорыстно наслаждаться красотой, какъ Батюшковъ, потому что Жуковскій, при всемъ своемъ преклоненіи передъ красотой, все-таки не могъ отстранить отъ себя мысли о добрѣ, съ которымъ она неразрывно связана. Батюшковъ въ своихъ стихахъ не отрицалъ, конечно, этой связи, но онъ любилъ самое впечатлѣніе красоты больше, чѣмъ тѣ чувства, которыя сопутствовали этому впечатлѣнію. Вотъ почему онъ и имѣлъ такое пристрастіе къ античной антологической поэзіи и такъ художественно умѣлъ подражать ей. Что его такъ высоко ставили поэты, это вполнѣ понятно: онъ былъ для нихъ живымъ образцомъ

истиннаго художника, для котораго одно наслажденіе въ искусствъ, одно утъшеніе въ немъ; который сотворенъ поэтомъ и потому никакъ не можетъ найти себъ въ жизни ни покоя, ни радости, который живетъ въ

мірѣ красивой мечты и только ею дышитъ.

Несчастная жизнь Батюшкова придала къ тому же его творчеству особый ореолъ. Дътство его было не изъ радостныхъ, въ виду ссоръ, которыя въ семьъ происходили. Воспитывался онъ, хоть у родственниковъ, которые его очень любили, но все-таки въ чужомъ домъ. Рано его зачислили на службу, но къ службъ онъ не имълъ никакого призванія. Затъмъ на долгіе годы его увлекла война, сначала съ Наполеономъ (1807) и со шведами (1807-9), затъмъ, послъ краткаго перерывавойна отечественная (1812) и кампанія 1813—1814 года. Эти походы, конечно, обогатили его впечатлъніями, но такими, которыя съ его артистическимъ темпераментомъ имъли мало общаго; кромъ того онъ былъ тяжело раненъ, и эта рана разрушила его здоровье. Къ этому времени относится, кажется, и несчастная любовь, которую пришлось пережить. Война кончилась; Батюшковъ вернулся къ мирнымъ литературнымъ занятіямъ въ Петербургъ, гдъ завязалъ очень дружественныя связи со всъми видными литераторами. Но разбитое здоровье заставило его покинуть Петербургъ, и для него вновь потекли годы странствованія. Онъ, впрочемъ, любилъ перемѣну мѣста, но теперь какой-то безпокойный духъ овладълъ имъ и указывалъ на приближение иной, еще болъе тяжелой болъзни-психической. Послъдніе годы своей сознательной жизни Батюшковъ прожилъ въ Италіи, прикомандированный къ нашему посольству. Но и жизнь въ Италіи не успокоила его омраченной души, и въ 1822 году разсудокъ его окончательно затуманился.

За краткую свою жизнь Батюшковъ успълъ написать немного. Но и изъ этого немногаго прійдется большую половину отчислить въ разрядъ опытовъ, которые особенныхъ художественныхъ достоинствъ не имъютъ. Въ первыхъ своихъ стихахъ Батюшковъ, какъ и Жуковскій, былъ всецъло во власти сентиментальнаго настроенія и повторялъ обычные мотивы, въ большин-

ствъ случаевъ меланхолическіе и религіозно-нравственные. Удавались ему лучше грустныя пъсни, такъ какъ вообще къ этому порядку чувствъ онъ былъ болъе склоненъ по темпераменту, да и кромъ того утрата въ молодости одного нъжно любимаго друга навсегда оставила слъдъ на его нъжномъ сердцъ. Тихая мечта, мысль о загробномъ міръ, о близкой кончинъ, постоянныя жалобы на суету и зло повседневной жизни, и очень искренная склонность къ уединенію — вотъ любимыя темы его раннихъ пъсенъ. Но пока онъ былъ здоровъ и юнъ, не могъ же онъ не откликнуться и на веселую сторону жизни, и неръдко его минорныя пъсни прерывались очень веселыми.

Когда жизнь наша скоротечна, Когда и радость здёсь не вёчна, То лучше въ жизни пёть, плясать, Искать веселья и забавы И мудрость съ шутками мёшать. ("Совёть друзьямъ", 1805)

Веселье это доходило иногда до степеней очень яркихъ, если върить его стихамъ, но върнъе будетъ, если мы предположимъ, что въ его веселыхъ пъсняхъ было больше литературнаго задора и моды, чъмъ житейской истины. Тъ, кто знавалъ его, говорили, что задумчивость и меланхолія были отличительными его качествами—и это можно провърить на его раннихъ стихахъ. Только въ грустныхъ пъсняхъ возвышался онъ тогда до художественной красоты, а въ бравурныхъ былъ простымъ стихотворпемъ. И сатира не давалась ему, но элегіи его отличались всегда особой задушевностью. (Какъ на лучшій образецъ можно указать на стихотвореніе "Тънь друга", 1814, и на очень красивый меланхолическій пейзажъ: "На развалинахъ замка въ Швеціи", 1814).

Съ годами въ Батюшковъ меланхолія кръпла, но на одно время это омраченіе его души было остановлено сильнымъ и яркимъ подъемомъ эстетическаго чувства.

Мъста онъ себъ нигдъ не находилъ, ни къ какому дълу, какъ мы видъли, не могъ пристроиться и, сознавая свое преимущество какъ эстетика и поэта, онъ тяготился людьми. Образъ непонятаго и страдающаго художника былъ давно милъ его сердцу. Этотъ образъ воплотилъ онъ

въ двухъ очень красивыхъ фигурахъ—Гомера и Тасса. Въ стихотвореніяхъ "Омиръ и Гезіодъ — соперники", 1814, и въ элегіи "умирающій Тассъ", 1814, жаловался Батюшковъ на судьбу поэта, имѣя, конечно, въ виду многое изъ личныхъ своихъ страданій. Стихотворенія эти не заключаютъ въ себѣ никакой особенно глубокой мысли, и вопросъ о призваніи поэта къ жизни и его отношеніи къ средѣ, въ нихъ не рѣшается, но очень искренно оттѣнено въ нихъ ощущеніе грустнаго одиночества художника, несмотря на всѣ его права быть центромъ любви и вниманія. Батюшковъ, исходя изъ личныхъ впечатлѣній, коснулся въ этихъ стихахъ темы, которая на Западѣ и у насъ имѣла потомъ очень полгую жизнь.

И вотъ среди этихъ грустныхъ ощущеній поэтъ на нѣкоторое время успокоился въ созерцаніи чистой красоты искусства. Общеніе съ античной поэзіей сдѣлали его—уже больного человѣка—вдругъ какъ будто жизнерадостнымъ. Онъ сталъ подражать древнимъ въ ихъ веселыхъ и любовныхъ стихахъ, и въ немъ оживился поэтъ, но, конечно, не человѣкъ, который продолжалъбыстро идти къ печальной развязкѣ своей жизни. Эти стихотворенія: "Изъ греческой антологіи", 1817—18 гг., и еще нѣкоторыя другія, тоже навѣянныя древностью, въ нихъ есть очень художественно выполненные мотивы. Возьмемъ, напримѣръ, эту удивительно выдержанную пѣсню:

Всѣ на праздникъ Эригоны Жрицы Вакховы текли, Вътры съ шумомъ разнесли Громкій вой ихъ, плескъ и стоны. Въ чащъ дикой и глухой Нимфа юная отстала. Я за ней... Она бъжала Легче серны молодой. Эвры волосы взвъвали Перевитые плющомъ, Нагло ризы поднимали И свивали ихъ клубкомъ. Стройный станъ, кругомъ обвитый Хмъля желтаго вънцомъ, И пылающи ланиты Розы яркимъ багрецомъ,

И уста, въ которыхъ таетъ
Пурпуровый виноградъ,
Все въ неистовой прельщаетъ,
Въ сердце льетъ огонь и ядъ!
Я за ней... Она бъжала
Легче серны молодой;
Я настигъ, она упала,
И тимпанъ подъ головой!
Жрицы Вакховы промчались
Съ громкимъ водплемъ мимо насъ
И по рощъ раздавались
"Эвоэ" и нъти гласъ!

("Вакханка", 1816).

Или такую любовную пѣсню:

Изнемогаетъ жизнь въ груди моей остылой. Конецъ боренію, увы, всему конецъ! Киприда и Эротъ, мучители сердецъ, Услышьте голосъ мой, послѣдній и унылой! Я вяну, и еще мученія терплю; Полмертвый, но сгораю; Я вяну, и еще такъ пламенно люблю И безъ надежды умираю! Такъ жертву обхвативъ кругомъ, На алтарѣ огонь блѣднѣетъ, умираетъ И, вспыхнувъ ярче предъ концомъ, На пеплѣ погасаетъ. (1817).

Или, наконецъ, этотъ гимнъ природъ-матери:

Есть наслаждение и въ дикости лъсовъ, Есть радость на приморскомъ брегъ, И есть гармонія въ семъ говоръ валовъ, Дробящихся въ пустыннымъ бъгъ. Я ближняго люблю, но ты, природа, - мать, Для сердца ты всего дороже! Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать И то, чемъ былъ, какъ былъ моложе, И то, чемъ ныне сталъ, подъ холодомъ годовъ. Тобою въ чувствахъ оживаю: Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ, И какъ молчать объ нихъ, не знаю. Шуми же ты, шуми, угрюмый океанъ! Развалины на прахъ строитъ Минутный человъкъ, сей суетный тиранъ, Но море чъмъ себъ присвоитъ? Трудися, созидай громады кораблей. (1819).

Какое настоящее, величавое, классическое спокойствіе царить въ этихъ стихотвореніяхъ, по которымъ никакъ нельзя догадаться о психическомъ состояніи художника,

ихъ создавшаго. Но ихъ создалъ именно художникъ, нашедшій въ безстрастной красотѣ, совсѣмъ далекой отъ насъ, временное утѣшеніе и облегченіе отъ тяжелаго чувства одиночества, которое все настойчивѣе его преслѣдовало.

Поэтъ заболъвалъ и передъ тъмъ, какъ разсудку его окончательно погаснуть, онъ въ послъднемъ своемъ

стихотвореньи говорилъ:

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнію, сѣдой Мельхиседекъ?
Рабомъ родится человѣкъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва ли скажетъ,
Зачѣмъ онъ шелъ долиной чудной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, изчезъ.
("Изреченіе Мельхиседека", 1821).

Какъ напоминаетъ это стихотвореніе древніе хоры греческой трагедіи, въ которыхъ часто высказывалась

подобная безотрадная философія жизни.

Изъ приведенныхъ стихотвореній можно видъть, чѣмъ именно этотъ художникъ, писавшій рѣдко и мало, плънялъ своихъ современниковъ. Самое совершенное и красивое въ его творчествъ было не всъмъ доступно, но всякій человъкъ съ развитымъ художественнымъ вкусомъ, тъмъ болѣе поэтъ, не могъ не прельститься этими отдъльными перлами искусства, которые встръчались въ сборникъ стиховъ Батюшкова. Учиться у него было нечему, такъ какъ онъ не вносилъ въ область творчества ничего новаго, кромъ пластики рѣчи и образовъ въ нѣкоторыхъ стихотвореньяхъ, но любоваться этой пластикой можно было, какъ настоящимъ образцомъ; и всъ его современники, ръшительно всѣ, въ комъ было чутье къ изящному, признавали Батюшкова истиннымъ поэтомъ и считали его болъзнь великой потерей для родной словесности.

4. Большой потерей должна быть признана также ранняя смерть Д. В. Веневитинова, нашего единственнаго лирика-философа тѣхъ годовъ. Онъ объщалъ открыть лирической пѣснѣ совсѣмъ новую для нея область.

Потомокъ стариннаго дворянскаго рода, росъ онъ, окруженный всъми благами беззаботнаго существованія, видя жизнь всегда съ ея лицевой стороны и привыкая любить въ ней ея красоту и изящество. Съ дътства мальчикъ былъ окруженъ избраннымъ и интеллигентнымъ обществомъ; съ большой зоркостью и осторожностью были выбраны для него первые наставники, которые не въ примъръ многимъ гувернерамъ того времени сумъли сочетать знаніе иностранныхъ языковъ

съ широкимъ литературнымъ образованіемъ.

Они ввели своего ученика въ цѣлый кругъ художественныхъ и умственныхъ интересовъ, и корень ученья былъ ему столь же сладокъ, сколь и плоды его. Еще совсъмъ ребенкомъ, Веневитиновъ чувствовалъ себя своимъ въ мірѣ разнообразнѣйшихъ человѣческихъ интересовъ, самыхъ сложныхъ и глубокихъ психическихъ движеній. Если в'єрить его біографамъ, то первая его любовь была любовь къ античному міру, къ его идейной, возвышенной и трагической сторонъ, не въ примъръ другимъ его сверстникамъ, которые изъ школьныхъ классическихъ книгъ вычитывали лишь эпикурейскую мораль и восторженный культъ Вакха и Киприды. Въ ранніе годы былъ въ Веневитиновъ пробужденъ интересъ и къ нъмецкой словесности, которая современемъ стала предметомъ его излюбленныхъ занятій. Къ французской литературъ онъ особаго пристрастія не питалъ.

Литературное образованіе было дополнено занятіями музыкой и живописью. Какъ артистическая натура Веневитиновъ усвоилъ эти искусства очень быстро и легко: его друзья признавали за нимъ большой музыкальный талантъ, зная съ какою легкостью онъ читалъ теоретическія сочиненія о музыкъ и какія самъ писалъ труд-

ныя композици.

Семнадцати лътъ отъ роду Дмитрій Владиміровичъ поступилъ въ московскій университетъ, гдъ былъ усерднымъ слушателемъ И. И. Давыдова и М. Г. Павлова—первыхъ насадителей шеллингіанскаго ученія на нашей университетской канедръ. Въ университетъ оставался онъ недолго: всего два года и, быстро и легко сдавъ экзаменъ, поступилъ на службу въ архивъ при

министерствъ иностранныхъ дълъ. Здъсь встрътился онъ съ пълымъ кругомъ талантливыхъ товарищей, и въ ихъ срепъ сталъ образовываться какъ мыслитель и поэтъ. Кружокъ этихъ молодыхъ чиновниковъ былъ очень увлеченъ тогда нъмецкой философіей Шеллинга, который въ своемъ учени далъ одно изъ красивъйшихъ и глубокомысленныхъ объясненій того значенія, какое красота и искусство имъютъ въ нашей жизни. Философъ былъ самъ великимъ поэтомъ и отвелъ художнику первую роль въ міръ. Веневитиновъ и его друзья.—въ числъ которыхъ были знаменитые впослъдствии братья Киръевскіе и кн. В. О. Одоевскій—самой природой были надълены и философскомъ умомъ, и большой чуткостью къ красотъ - и потому, не убоясь трудностей. какія представляло изученіе системы Шеллинга, они ревностно въ нее погрузились. Еще на университетской скамь в привыкшіе къ отвлеченной мысли, они теперь всецъло отдались служенію "мудрости и музамъ". Веневитинову было 18 лътъ, когда его друзья произвели его въ санъ мудреца, и онъ поддерживалъ это званіе съ честью. Усидчиво работалъ онъ надъ своимъ самообразованіемъ, равномърно расширяя кругъ своихъ философскихъ интересовъ и эстетическаго созерцанія. Онъ одновременно совершенствовался и какъ поэтъ, и какъ мыслитель. Въ какіе-нибудь три года (1823-1826) онъ достигъ значительной высоты умственнаго развитія и творчества, имъя руководителемъ лишь собственное дарованіе и непреодолимое тягот вніе къ "высотамъ"

Былъ у него только одинъ недостатокъ, легко, впрочемъ, поправимый—онъ былъ непозволительно юнъ для выполненія тѣхъ требованій, которыя самъ себѣ ставилъ. Растеніе парниковое, выхоленное въ гостиныхъ и въ тиши или шумѣ кабинетной бесѣды—онъ не зналъ, что такое ударъ жизни; онъ зналъ только, какъ тѣ или другіе великіе люди отзывались на эти удары. На всѣ печали и радости бытія онъ смотрѣлъ сквозь дымку мечты и ждалъ, когда ему самому суждено будетъ испить отъ той чаши горечи и меда, о міровомъ значеніи которой онъ такъ краснорѣчиво разсуждалъ и спорилъ. Ожиданія его должны были скоро сбыться.

На двадцать второмъ году покинулъ онъ Москву для настоящей службы въ Петербургъ, гдъ, пользуясь своими связями, онъ могъ быстро сдълать карьеру. Но не о ней онъ думалъ; онъ былъ полонъ поэтическихъ впечатлъній, вынесенныхъ изъ дружескаго круга, полонъ воспоминаній о нъжной страсти, которая въ Москвъ, кажется, скрасила его прощальные дни. Прощаясь съ товарищами, онъ ръшилъ усердно работать въ любимой области "философическаго" умозрънія, чтобы поддержать хоть издалека своихъ друзей, которые тогда

приступали къ изданію философскаго журнала.

Умныхъ мыслей и хорошихъ стиховъ было въ головъ Веневитинова много, когда онъ прітхалъ въ Петербургъ въ тревожные дни, слъдовавшіе за декабрьской смутой. Житейскій опыть его обогатился сразу новыми впечатлъніями: его по ошибкъ арестовали, подозрѣвая въ сношеніяхъ съ декабристами. Никакихъ послъдствій это дъло для него, впрочемъ, не имъло, и петербургская свътская жизнь съ избыткомъ стала вознаграждать его за скучные часы ареста. Онъ увлекся ею, и зиму 1826-7 года прожилъ очень весело, безъ сожальнія объутраченномъ времени, такъ какъ успълъ въ промежуткъ между веселыми бесъдами написать нъсколько истинно-художественныхъ стихотворныхъ перловъ и двъ-три умныхъ статьи, которыми могъ остаться доволенъ. И вотъ, въ мартъ мъсяцъ 1827 года, на одномъ балу онъ случайно простудился; здоровья былъ онъ слабаго-въ немъ было предрасположение къ чахоткъ, -и простуды, осложнившейся воспаленіемъ легкихъ, онъ не перенесъ. 15 марта 1827 г. онъ скончался-

Въ такой краткій промежутокъ времени, отдъляющіи дътство отъ смерти, что могъ создать поэтъ? Отъ Веневитинова остался очень тощій сборникъ стиховъ, но въ немъ есть нъсколько цънныхъ страницъ и всъ онъ посвящены искусству, красотъ и поэту. Только въ этихъ стихотвореніяхъ Веневитиновъ и былъ оригиналенъ, втискивая чисто филисофскую мысль въ стихотворныя рамки, — на что до него въ нашей поэзіи никто не ръшался ("Сонетъ: Къ тебъ, о чистый Духъ". "Сонетъ: Спокойно дни мои цвъли". "Поэтъ". "Посланіе къ Рожалину". "Утъшеніе". "Я чувствую, во мнъ го-

ритъ". "Поэтъ и другъ". "Послъдніе стихи").

Гимнъ поэту-вотъ сущность всъхъ этихъ сильныхъ

стихотвореній.

Въ преддверіи в'ячности поетъ п'євецъ свою п'єсню любви и въры. Великій чистый духъ благословилъ его этимъ даромъ пъснопънія и нетолько для міра юдоли, но для выполненія иной, болье великой задачи. Поэть переживетъ міръ. Среди развалинъ міра его пъсня можетъ гремъть столь же свободно во славу таинственнаго начала всей міровой жизни.

Къ тебъ, о чистый Духъ, источникъ вдохновенья, На крыліяхъ любви несется мысль моя: Она затеряна въ юдоли заточенья, И все зоветъ ее въ небесные края. Но ты облекъ себя въ завъсу тайны въчной: Напрасно силится мой духъ къ тебъ парить. Тебя читаю я во глубинъ сердечной, И мнѣ осталося надъяться, любить. Греми надеждою, греми любовью, лира! Въ преддверьи въчности, греми его хвалой. И если-бъ рухнулъ міръ, затмился свѣтъ энира И хаосъ задавилъ природу пустотой, -Греми! Пусть сттують среди развалинъ міра Любовь съ надеждою и върою святой! ["Сонетъ"].

Если пъснь пъвца беретъ свое начало въ глубинахъ чистаго предвъчнаго Духа, то обладание этимъ божественным даромъ-удълъ немногихъ:

> Блаженъ, кому судьба вложила Въ уста высокій даръ рѣчей, Кому она сердца людей Волшебной силой покорила. Какъ Прометей похитилъ онъ Творящій лучъ, небесный пламень И вкругъ себя, какъ Пигмальонъ, Одушевляетъ хладный камень. Немногіе сей дивный даръ Въ удѣлъ счастливый получаютъ, И рѣдко, рѣдко сердца жаръ Уста послушно выражаютъ. ["Поэтъ и другъ"].

Всякое избраніе обязываетъ. Думать, что можно сочетать блага земной жизни съ небесной миссіей, было бы безразсудно. Самое цънное земное благо — жизнь должна быть принесена въ жертву тайнъ общенія съ Богомъ. Но для художника смерть есть лишь возрожденіе, и не возрожденіе за гробомъ, а вторая жизнь, здѣсь, на землѣ: надъ истинно художественной пѣснью время не властно:

Природа не для всѣхъ очей Покровъ свой тайный подымаетъ: Мы вст равно читаемъ въ ней, А кто, читая, понимаетъ? Лишь тотъ, кто съ юношескихъ дней Былъ пламеннымъ жрецомъ искусства, Кто жизни не щадилъ для чувства, Вънецъ мученьями купилъ, Надъ суетой вознесся духомъ И сердца трепетъ жаднымъ слухомъ Какъ въщій голосъ изловилъ!-Тому, кто жребій довершилъ, Потеря жизни не утрата-Безъ страха міръ покинеть онъ. Судьба въ дарахъ своихъ богата, И не одинъ у ней законъ: Тому-процвасть съ развитой силой И смертью жизни сладъ стереть, Другому-рано умереть, Но жить за сумрачной могилой. ["Поэтъ другъ"].

Но что же поэтъ имъетъ сказать міру? Жизнь кипитъ передъ нимъ, "какъ океанъ безбрежный". Найдетъ ли онъ надежный утесъ, на который могъ бы твердой ногой опереться?—

> Иль вѣчнаго сомнѣнья полный, Онъ будетъ горестно глядѣть На перемѣнчивыя волны, Не зная, что любить, что пѣть?

Но вотъ художникъ получаетъ приказаніе свыше:

Открой глаза на всю природу-Но дай имъ выборъ и свободу, Твой часъ еще не наступаль; Теперь гонись за жизнью дивной И каждый мигъ въ ней воскрешай, На каждый звукъ ея призывной Отзывной пъснью отвъчай! Когда-жъ минуты удивленья Какъ сонъ туманный пролетятъ И тайны въчнаго творенья Яснъй прочтетъ спокойный взглядъ:-Смирится гордое желанье Обнять весь міръ въ единый мигъ, И звуки тихихъ струнъ твоихъ Сольются въ стройныя созданья. ["Я чувствую, во мнъ горитъ"].

Тихія струны, стройныя созданья, смиреніе гордыхъ желаній — все показываетъ, что истинный поэтъ не только разгадчикъ великихъ тайнъ, но и царь надъ страстями. Внъшній міръ для него предметъ созерцанія, а не волненія; онъ не рабъ минуты, онъ принадлежитъ самому себъ и безраздъльно:

Смири преступныя волненья: Не ищетъ вчужъ утъшенья Душа, богатая собой.

Для людей живетъ эта богатая душа, но какъ будто бы не среди нихъ: она очень аристократична; она сторонится отъ всъхъ; всякое прикосновеніе толпы для нея почти что обида. Согрътая возвышенными страстями, она хочетъ казаться холодной и нъмой. "Не отдавай души моей"—молится поэтъ своему ангелу—

На жертву суетнымъ желаньямъ, Но воспитай спокойно въ ней Огонь возвышенныхъ страстей. Уста мои сомкни молчаньемъ, Всъ чувства тайной осъни; Да взоръ холодный ихъ не встрътитъ, И лучъ тщеславья не просвътитъ На незамъченные дни. ("Моя молитва", 1826)

Подальше отъ людей:

Не в в рь, чтобъ люди разгоняли Сердецъ возвышенныхъ печали. Скупая дружба ихъ даритъ Пустыя ласки, а не счастье; Гордись, что ими ты забытъ,— Ихъ равнодушное безстрастье Тебъ да будетъ похвалой. Заръ не улыбался камень; Такъ и сердецъ небесный пламень Толиъ бездушной и пустой Всегда былъ тайной непонятной. Встръчай ее съ душой булатной И не страшись отъ слабыхъ рукъ Ни сильныхъ ранъ, ни тяжкихъ мукъ. ("Посланіе къ Рожалину", 1826)

Всѣ эти мысли, въ которыхъ такъ поэтично оттѣнено одинокое положеніе поэта среди толпы, Веневитиновъ слилъ въ одномъ образъ, удивительно красивомъ и глубокомысленномъ:

Тебъ знакомъ ли сынъ боговъ. Питомецъ музъ и вдохновенья? Узналъ ли-бъ межъ земныхъ сыновъ Ты рѣчь его, его движенья?-Не вспыльчивъ онъ, и строгій умъ Не блещетъ въ шумномъ разговоръ, Но ясный лучь высокихъ думъ Невольно свътить въ ясномъ взоръ. Пусть вкругъ него, въ чаду утъхъ, Бунтуетъ вътреная младость, -Безумный крикъ, нескромный смѣхъ И необузданная радость; Все чуждо, дико для него, На все безмолвно онъ взираетъ; Лишь что-то редко съ устъ его Улыбку бъглую срываетъ. Его богиня-простота, И тихій геній размышленья Ему поставилъ отъ рожденья Печать молчанья на уста; Его мечты, его желанья, Его боязни, ожиданья, Все тайна вь немъ, все въ немъ молчитъ; Въ душъ заботливо хранитъ Онъ неразгаданныя чувства; Когда-жъ внезапно что-нибудь Взволнуетъ огненную грудь,-Душа безъ страха, безъ искусства, Готова вылиться въ рѣчахъ И блещеть въ пламенныхъ очахъ. И снова тихъ онъ, и стыдливый Къ землѣ онъ опускаетъ взоръ, Какъ будто бъ слышалъ онъ укоръ За невозвратные порывы. О, если встрътишь ты его Съ раздумьемъ на челъ суровомъ, Пройди безъ шума близъ него, Не нарушай холоднымъ словомъ Его священныхъ, тихихъ сновъ. Взгляни съ слезой благоговънья, И молви: это сынъ боговъ. ("Поэтъ") Питомецъ музъ и вдохновенья!

Но поэзія Веневитинова была все-таки лишь отрывокъ.

5. Какъ отрывки должны мы разсматривать и стихи Баратынскаго и Языкова. Оба эти писатели, весьма да-

ровитые, какъ вполнъ сложившеся поэты, принадлежатъ иному времени, чъмъ то, о которомъ мы говоримъ. Они — современники Пушкина, и вмъстъ съ нимъ выступили, но развите ихъ шло медленно, и самыя сильныя свои стихотворенія они создали въ концъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, въ совсъмъ иную историческую эпоху—когда они очутились одни, почти уже стариками, среди подроставшаго новаго покольнія; вотъ тогда-то они поднялись на высшую ступень вдохновенія. Судить ихъ какъ поэтовъ по тому, что ими было написано въ Александровскую эпоху,—нельзя, но имъ нужно отвести все-таки почетное мъсто въ исторіи этой литературной эпохи, такъ какъ и ихъ юношескіе стихи—въ особенности Баратынскаго—имъютъ большую стоимость.

Для одного—для Баратынскаго—жизнь была предметомъ глубокаго скорбнаго раздумья, для другого—для Языкова—она служила родникомъ самаго жизнерадостнаго настроенія. Никто изъ современныхъ поэтовъ не умъть такъ осмыслить своей печали, какъ Баратынскій, и развъ только Пушкинъ умъть такъ непринужденно

веселиться въ стихахъ, какъ Языковъ.

Родился Баратынскій наканун' XIX стольтія, въ 1800 году, въ имѣніи своего отца, Вяжлѣ, Тамбовской губерніи, и зд'ясь прожиль онь все свое д'ятство, пока на восьмомъ году не попалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ сначала въ нъмецкій пансіонъ, а затъмъ, спустя очень короткій срокъ, въ пажескій корпусъ. За безсознательно совершенный проступокъ онъ изъ корпуса былъ исключенъ (1815), какъ говорится, съ волчьимъ паспортомъ, безъ права опредъленія на службу. Три года послъ этого несчастія поэтъ прожиль въ Тамбовской, затъмъ въ Смоленской губерніи, а въ 1818 году мы встръчаемъ его снова въ Петербургъ простымъ рядовымъ егерскаго полка. Этотъ рядовой сводитъ знакомство съ Дельвигомъ, Плетневымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ, и въ ихъ кругу впервые начинаетъ лепетать его муза. Отъ лепета она очень быстро переходить къ связной и красивой рѣчи.

Въ періодъ отъ 1820-го по 1824-й годъ, нашъ поэтъ-

щаго въ Финляндіи, - пишетъ цълый рядъ стихотвореній, которыя пользуются большимъ успъхомъ у его очень взыскательныхъ критиковъ и друзей. Въ чинъ офицера онъ покилаетъ свой полкъ, селится въ Москвъ въ 1825, гдъ въ слъдующемъ году женится и поступаетъ въ межевую канцелярію на службу. На ней онъ, конечно, остается недолго, выходить въ отставку, и этимъ его служебная карьера кончается. Въ Москвъ, частнымъ человъкомъ, живетъ онъ затъмъ многіе годы въ кружкъ литераторовъ преимущественно славянофильскаго лагеря. Литературная работа идетъ сначала очень успъшно до 1831 года, затъмъ слегка ослабъваетъ. Въ 1839 году Баратынскій покидаетъ Москву и цѣлыхъ четыре года проводить въ деревнъ. Здъсь, въ деревнъ, пишеть онъ свои "Сумерки", эту панихиду о себъ самомъ и о своихъ друзьяхъ, и осенью 1843 года ѣдетъ за границу, чтобы черезъ годъ умереть совершенно случайно въ Неаполъ.

Вся внъшняя, тлънная оболочка жизни Баратынскаго укладывается въ эти узкія рамки.

Съ самыхъ раннихъ лѣтъ поэтъ сталъ ощущать приступы грусти и глубокой меланхоліи и уже въ его дѣтскихъ письмахъ выражается этотъ, совсѣмъ ребенку не свойственный, скорбный взглядъ на жизнь. Послѣ пережитой въ ранней юности непріятности, выбитый совсѣмъ изъ колеи, онъ еще больше отдался этимъ скорбнымъ настроеніямъ и только въ Петербургѣ въ 1829, попавъ въ кружокъ молодыхъ поэтовъ, онъ взглянулъ на жизнь болѣе радостно. Къ этому времени относятся всѣ его "веселыя пѣсни", которыхъ у него впрочемъ очень мало.

Настроеніе, имъ тогда пережитое, правда подъ легкой дымкой грустнаго воспоминанія, сохранено въ поэмѣ "Пиры", 1824. Изъ всѣхъ этихъ веселыхъ стиховъ и изъ поэмы видно, что ощущенія радости и веселья были въ его душѣ очень мимолетны. Даже любовь не заставила его пропѣть себѣ обычнаго гимна, и лучшее его любовное стихотвореніе — столь извѣстное "Разувѣреніе", 1821 ("Не искушай меня безъ нужды") —пропитано насквозь глубокой грустью. Самъ поэтъ какъ будто не вѣрилъ своему веселью, которое на мгновеніе его закружило, и въ прелестномъ стихотвореніи "Онъ близокъ, близокъ день свиданья" писалъ:

Онъ близокъ, близокъ, день свиданья, Тебя, мой другъ, увижу я! Скажи, восторгомъ ожиданья Что-жъ не трепещетъ грудь моя? Не мнѣ роптать: но дни печали; Съ тоской на радость я гляжу, Не для меня ея сіянье, И я напрасно упованье Въ больной душѣ моей бужу. Судьбы ласкающей улыбкой Я наслаждаюсь не вполнѣ: Все мнится, счастливъ я ошибкой, И не къ лицу веселье мнѣ.

Жизнь въ Финляндіи усилила меланхолію Баратынскаго, хотя затерянный среди дикой природы онъ на первое время какъ будто нашелъ въ ней отраду. Финляндіи посвятилъ онъ одно изъ лучшихъ своихъ описательныхъ стихотвореній ("Финляндія", 1820). Съ переселеніемъ въ Москву (1826) годы странствованій его окончились, и деревенская тишь (а онъ очень любилъ деревню, какъ видно изъ стихотворенія "Деревня", 1821) на время привела его въ спокойное состояніе.

Если вчитаться въ стихи, которые были имъ написаны за этотъ первый періодъ его дъятельности, то приходится удивляться силъ его скорбной мысли. Такую силу обнаруживали лишь поэты на Западъ—свидътели и участники великой тогда разыгравшейся исторической драмы.

Баратынскій прежде всего психологически оправды-

ваетъ необходимость страданія

Пов'врь, мой милый другъ, страданье нужно намъ. Не испытавъ его нельзя понять и счастья: Живой источникъ сладострастья Дарованъ въ немъ его сынамъ. Однъ ли радости отрадны и прелестны? Одно ль веселье веселитъ? Бездъйственность души счастливцевъ тяготитъ: Имъ силы жизни неизвъстны. Не намъ завидовать лънивымъ чувствамъ ихъ!

Что въ дружбъ вътреной, въ любви однообразной

И въ ощущеньяхъ слѣпыхъ Души разсъянной и праздной? Счастливцы мнимые, способны ль вы понять Участья нѣжнаго сердечную услугу? Способны ль чувствовать, какъ сладко повърять Печаль души своей внимательному другу? Способны ль чувствовать, какъ дорогъ върный другъ?

Но кто постигнуть рокомъ гнѣвнымъ, Чью душу тяготить мучительный недугь, Тотъ дорожитъ врачемъ душевнымъ. Что, что даетъ любовь веселымъ шалунамъ? Забаву легкую, минутное забвенье;

Въ ней благо лучшее дано богами намъ И нуждъ живъйшихъ утоленье! Какъ будетъ сладко, милый мой,

Повърить нъжности чувствительной подруги,

Скажу ль? всѣ раны, всѣ недуги, Все разслабленіе души твоей больной. Забывъ и свътъ и рокъ суровый, Желанье смутное въ одно желанье слить И на устахъ ея, въ ея дыханьи пить

Цълебный воздухъ жизни новой! Хвала всевидящимъ богамъ! Пусть мнимымъ счастіемъ для свъта мы убоги, Счастливцы насъ бъднъй, и праведные боги Имъ дали чувственность, а чувство дали намъ. . ("Къ Коншину", 1820)

Всякая попытка снять покровъ съ суровой истины жизни, только увеличиваетъ наше страданіе:

> О счастіи съ младенчества тоскуя, Все счастьемъ бѣденъ я; Или во въкъ его не обръту я Въ пустынъ бытія? Младые сны отъ сердца отлетъли, Не узнаю я свътъ; Надеждъ своихъ лишенъ я прежней цъли, А новой цели нетъ. "Безуменъ ты и всъ твои желанья"-Мнъ первый опытъ рекъ; И лучшія мечты моей созданья Отвергнулъ я на въкъ. Но для чего души разувъренье Совершилось не вполнъ? О юныхъ снахъ слѣпое сожалѣнье Зачѣмъ живетъ во мнѣ? Такъ нъкогда обдумывалъ съ роптаньемъ Я жребій тяжкій свой.

Вдругъ Истину (то не было мечтаньемъ) Узрѣлъ передъ собой. "Свътильникъ мой укажетъ путь ко счастью!" (Въщала) "захочу— И страстнаго отрадному безстрастью Тебя я научу. Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь; Пускай, узнавъ людей, Ты, можетъ быть, испуганный разлюбишь И ближнихъ и друзей. Я бытія всв прелести разрушу Но умъ наставлю твой; Я оболью суровымъ хладомъ душу, Но дамъ душъ покой".

Я трепеталъ, словамъ ея внимая, И горестно въ отвѣтъ Промолвилъ ей: "О, гостья роковая!

Печаленъ твой привътъ! Свѣтильникъ твой-свѣтильникъ погребальный Всѣхъ радостей земныхъ!

Твой миръ, увы! могилы миръ печальный, И страшенъ для живыхъ.

Нътъ, я не твой! въ твоей наукъ строгой Я счастья не найду,

Покинь меня: кой-какъ моей дорогой Одинъ я побреду

Прости! иль нътъ: когда мое свътило Во звъздной вышинъ.

Начнетъ блѣднѣть, и все, что сердцу мило Забыть придется мнъ,

Явись тогда! раскрой тогда мнъ очи, Мой разумъ просвъти:

Чтобъ, жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи Безропотно сойти!

("Истина", 1824)

Какой-то фатумъ виситъ надъ нами: чье сердце осуждено быть сосудомъ скорби, тотъ для радостей не воскреснетъ:

> Дало двъ доли Провидънье На выборъ мудрости людской. Или надежду и волненіе. Иль безнадежность и покой. Вѣрь тотъ надеждѣ обольщающей, Кто бодръ неопытнымъ умомъ Лишь по молвъ разновъщающей Съ судьбой насмъшливой знакомъ. Надъйтесь, юноши кипящіе, Летите: крылья вамъ даны;

Для васъ и замыслы блестящіе

И сердца пламенные сны, Но вы, судьбину испытавшіе, Тщету утъхъ, печали власть, Вы знанье бытія пріявшіе Тебѣ на тягостную часть, Гоните прочь ихъ рой прельстительный. Такъ доживайте жизнь въ тиши И берегите хладъ спасительный Своей бездъйственной души, Своимъ безчувствіемъ блаженные, Какъ труны мертвыхъ изъ гробовъ, Волхва словами пробужденные, Встають со скрежетомъ зубовъ: Такъ вы, согрѣвъ въ душѣ желанія, Безумно вдавшись въ ихъ обманъ, Проснетесь только для страданія, Лля боли новой прежнихъ ранъ. ("Двъ доли", 1823)

Въчно осуждены мы на неутолимую жажду счастія:

Напрасно мы мечтаемъ найти Въ сей жизни блаженство прямое: Небесные боги не дълятся имъ Съ земными дътьми Прометея. Похищенной искрой созданье свое Дерзнулъ оживить безразсудный; Безсмертныхъ онъ презрѣлъ, и страшная казнь Постигнула чадъ святотатства. Нашъ тягостный жребій: положенный срокъ Питаться бользненной жизнью. Любить и лелъять недугъ бытія, И смерти отрадной страшиться. Нужды непреклонной слъпые рабы, Рабы самовластнаго рока! Земнымъ ощущеньямъ насильственно насъ Случайная жизнь покоряетъ. Но въ искръ небесной пріяли мы жизнь, Намъ памятно небо родное, Въ желаніи счастья мы вѣчно къ нему, Стремимся неяснымъ желаньемъ!... Вотще! Мы надолго отвержены имъ! Сіяя красою надъ нами, На бренную землю безпечно оно Торжественный сводъ опираетъ... Но намъ недоступно! Какъ алчный Танталъ Сгораетъ средь влаги прохладной, Такъ сердцемъ постигнувъ блаженнъйшій міръ Томимся мы жаждою счастья. ("Дельвигу", 1820)

Художественная стоимость и глубина мысли этихъ стиховъ несомнънны. Это - искренняя и оригинальная исповъдь вполнъ самобытнаго писателя, который смотрить на жизнь и человъка взглядомъ необычайно субъективнымъ, и въ въкъ отнюдь не пессимистическаго настроенія поднимается на большую высоту скорбнаго созерцанія. Эта-то независимость и субъективность и

цънна въ Баратынскомъ какъ поэтъ.

Баратынскій быль очень силенъ и глубокъ какъ лирикъ, и другія формы художественнаго творчества встръчаются въ его сочиненіяхъ рѣдко. Нужно, впрочемъ, отмътить, что въ двадцатыхъ годахъ большимъ успъхомъ пользовалась его поэма "Эда". Поэма весьма незатъйлива по своему содержанію-исторія несчастной любви одной финляндской дѣвы, которая пострадала отъ излишней довърчивости къ русскому гусару. Сюжетъ быль въ сущности отголоскомъ очень старой литературной темы, осуждавшей "гръхи цивилизаціи" и прославлявшей чистоту и непорочность души "дътей природы". Достоинство поэмы, впрочемъ, не въ ея сюжетъ, а въ описаніяхъ, пейзажахъ и нѣжномъ идиллическомъ тонъ.

6. Поэзія Языкова, поставленная рядомъ съ поэзіей Баратынскаго, служитъ какъ бы естественнымъ ея дополненіемъ. Но таланть Языкова быль слабъе таланта Баратынскаго, и развъ только во внъшней техникъ стиха они могуть быть приравнены другъ къ другу. Стихъ Языкова — необычайно легкій, музыкальный и игривый, вполнъ соотвътствующій тому беззаботному настроенію молодой и полной силь жизни, какимъ въ въ эти ранніе годы своей д'ятельности быль охваченъ

художникъ.

Родился Языковъ въ 1803 году и первоначальное образованіе и воспитаніе получиль въ петербургскомъ институтъ горныхъ инженеровъ. По окончаніи института онъ поступиль въ инженерный корпусъ. Математическія науки были однако его уму и душъ совсъмъ чужды; съ дътства онъ обнаружилъ большую любовь къ словесности и, бросивъ инженерный корпусъ, онъ предпочелъ отдаться своимъ любимымъ занятіямъ. Ему нужно было прежде всего позаботиться объ общемъ образованіи, и Языковъ рѣшилъ поступить въ университетъ (1823). Онъ выбралъ дерптскій университетъ, разсчитывая, вѣроятно, что тихая провинціальная жизнь благотворно отзовется на его занятіяхъ. Но надежда эта не оправдалась, и Языковъ закружился въ вихрѣ веселой студенческой жизни. На студенческихъ пирушкахъ онъ былъ самымъ любимымъ гостемъ. Его застольныя пѣсни пользовались большимъ успѣхомъ. Образцомъ ихъ можетъ служить нижеслѣдующая:

Всему человъчеству Заздравный стаканъ, Два полныхъ-отечеству И славъ славянъ, Свободѣ божественной, Лелъющей насъ, Кругомъ и торжественно По троицѣ въ разъ! Поэзіи сладостной И міру наукъ, И буйности радостной И удали рукъ, Труду и бездѣлію Любви пировать, Вину и веселію Четыре да пять! Кружится, склоняется Моя голова Но духъ возвышается, Но громки слова! Восторгами нъжными Разнъжился я: Стучите стаканами И пойте, друзья!

Жизнь, какъ видимъ, была веселая: занятія отъ нея выигрывали очень мало, но кое-что выигрывала русская поэзія. Къ одному изъ своихъ друзей Языковъ писалъ объ этомъ времени:

Я знаю, другъ, и въ шумѣ свѣта
Ты помнишь первыя дѣла
И пѣсни русскаго поэта
При звонѣ дерптскаго стекла.
Пора безцѣнная, святая!
Тогда свобода удалая,

Восторги Музы и вина Меня живили, услаждали; Дни безмятежные мелькали; Душа не слушалась печали И не бывала холодна! Пускай извъстности прекрасной И думъ высокихъ я не зналъ; За то учился безопасно За то себя не забывалъ.

("Къ Н. Д. Киселеву", 1825)

Отъ "думъ высокихъ" онъ отказывался, но всетаки называлъ эти годы годами "благодатнаго" труда:

Я не забуду никогда Мои студенческіе годы, Раздолье Вакха и свободы И благодатнаго труда! Въ странъ умъреннымъ блаженной, Вдали блистательныхъ невъждъ, Они питали жаръ священный Моихъ желаній и надеждъ. Здѣсь Муза пѣсенъ полюбила Мои словесныя дѣла; Здѣсь духа творческая сила Во мнъ мужала и росла.... И слава ей! Не ласки свъта, Не взоръ любви, не блескъ наградъ, Какими свътскаго поэта Вельможи гордые дарятъ,-Мечты могучія живили Павца чувствительную грудь И мнѣ яснѣлъ высокій путь Для поэтическихъ усилій.

("Воспоминаніе", 1824)

Поэтическими своими усиліями Языковъ могъ остаться доволенъ, потому что на эти легкія пѣсни уже при первомъ ихъ появленіи обратили свое вниманіе и Жуковскій и Пушкинъ. Пушкинъ, который тогда жилъ въ селѣ Михайловскомъ, писалъ Языкову привѣтственныя посланія и желалъ съ нимъ познакомиться и съ 1826 года — когда Языковъ гостилъ у сосѣдей Пушкина — они стали близкими друзьями. Слава Языкова какъ поэта росла быстро и столь же быстро падалъ его интересъ къ университетской наукъ. До 1829 года онъ все оставался студентомъ, и наконецъ ,вышелъ изъ университета безъ диплома.

Какъ мы уже сказали, талантъ Языкова достигъ своего полнаго расцвъта въ эпоху позднъйшую, но уже и въ раннихъ стихахъ онъ обнаруживалъ истинную силу художника. Самъ онъ, кажется, дорожилъ больше всего своими застольными и любовными пъснями, судя по тому, что всего чаще сочинялъ ихъ. Стихи эти, дъйствительно, очень живы и иногда граціозно бравурны:

Кто за покаломъ не поетъ Тому не полная отрада: Богъ пѣсенъ богу винограда Восторги новые даетъ. Слова святыя: пей и пой! Необходимы для пирушки, Друзья! гдѣ арфа подлѣ кружки, Тамъ бога два-и пиръ двойной! Такъ ночью краше небеса При яркомъ мъсяца сіяньи; Такъ въ миловидномъ одъяньи Очаровательнъй краса. Кто за покаломъ не поетъ, Тому не полная отрада: Богъ пъсенъ богу винограда Восторги новые даетъ!-

("Пѣсня", 1824)

Игривы и вопреки мод'в того времени очень беззаботны и его любовныя элегіи ("Она меня очаровала", "Прощай, красавица моя" 1824).

Но настоящая поэтическая образность кроется не въ этихъ прославленныхъ стихотвореніяхъ, а въ воспоминаніяхъ поэта о своей родинѣ, въ волжскихъ пейзажахъ ("Моя родина", 1822, "Чужбина", 1823, "Родина", 1824). Въ этихъ стихахъ много и настроенія, и колорита.

Поэзія Языкова вообще колоритна, въ ней много яркихъ красокъ, и даже въ патріотическихъ и историческихъ балладахъ (самый слабый по выполненію отдълъ его стиховъ) попадаются красивыя сравненія и образы.

Иногда у поэта являлось желаніе осмыслить встразрозненныя впечатлівнія, которыя жизнь ему давала, и въ одномъ отвлеченномъ образів выразить сущность своего отношенія къ жизни, и тогда онъ говорилъ о

своей "музъ", о "поэтъ". Въ ряду другихъ "музъ", которыя навъщали пъвцовъ его поколънія, муза Языкова не затерялась, а сохранила свою оригинальную физіономію. Къ раздумью она почти не склонна, философскаго вопроса о своемъ призваніи она не ставитъ, глубокой думы на челъ у нея также нътъ; она вся—восторгъ и восхищеніе передъ тъмъ смутнымъ состояніемъ духа, которое называется "вдохновеніемъ".

Богиня струнъ пережила
Боговъ и грома и булата;
Она прекрасныхъ рукъ въ оковы не дала
Въкамъ тиранства и разврата.
Они пришли; повсюду смерть и брань,
Въ вънцъ раскованная сила,
Ея безсовъстная длань
Алтарь изящнаго разбила.
Но съ праха рушенныхъ громадъ,
Изъ тишины опустошенья,
Возсталъ, величественъ и младъ,
Безсмертный Ангелъ вдохновенія.

("Муза", 1823).

Мой ангелъ милый и прекрасный Богиня мужественныхъ думъ! Ты занимала сладострастно. Ты нѣжила мой юный умъ. Служа тебъ, тобою полный, Не видълъ я, не слышаль я, Какъ на пучинъ бытія Росли, текли, шумъли волны. Ты мнъ открыла въ тишинъ Великій міръ уединенья; Благообразныя ко мнъ Твои слетали вдохновенья; Твоей прекрасной красотой Твоимъ величьемъ величава, Сама любовь передо мной Явилась пышная, какъ слава... И весело мои мечты, Тобой водимыя, играли; Тебъ стихи мои звучали Живые, свътлые какъ ты. Такъ разноцвътными огнями Блеститъ рѣчная глубина, Когда торжественно мирна, Въ одеждъ убранной звъздами По понебесью ночь идетъ И смотрится въ лазури водъ.

("Къ Музѣ", 1826).

Истинный геній знать зависти не можеть: онъ черпаеть свою силу въ блескъ родственнаго ему генія.

Когда гремя и пламенъя
Пророкъ на небо улеталъ—
Огонь могучій проникалъ
Живую душу Елисъя:
Святыми чувствами полна,
Мужала, кръпла, возвышалась,
И вдохновеньемъ озарялась,
И Бога слышала она!—
Такъ геній радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ,
Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ
Иного генія полетъ;
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зръетъ для чудесъ...
И міру новыя свътила—
Дъла избранвика небесъ!

("Геній", 1825).

Нужно только дов'вриться своему генію: онъ самъ вознесеть п'явца на ту высоту, какой онъ достоенъ:

Искать ли славнаго вънца
На полъ рабскихъ состязаній,
Тревожа слабыя сердца,
Сбирая нищенскія дани?
Сія народная хвала,
Сей говоръ близкаго забвенья,
Вознаградитъ ли музъ пънья
Ея священныя дъла?
Кто ихъ постигнеть? Геній вспыхнетъ—
Толпа любуется на свъть,
Шумитъ, шумитъ— затихнеть:
И это слава нашихъ лъть—

Такъ мыслитъ юноша-поэтъ, Пока въ душъ его желанья Мелькають, темныя, какъ сонъ, И твердый гласъ самосознанья Не возвъстилъ ему, кто онъ. И вдругъ, надеждой величавой Свои предвидя торжества, Безпечный-право иль не право Его привътствуетъ молва-За независимою славой Пойдетъ любимецъ божества; Въ немъ гордость смѣлая проснется, Свободенъ, веселъ, полонъ силъ, Орелъ великій встрепенется, Расширить крылья и взовьется Къ безсмертной области свътилъ!

("Поэтъ", 1824).

Во всъхъ этихъ художественныхъ стихахъ гораздо больше образовъ, чъмъ мыслей, но какъ въ нихъ ярко обрисованъ поэтическій подъемъ восторженно настро-

енной луши! 7. Совствить особое мъсто въ ряду поэтовъ Пушкинской плеяды занимаетъ К. Ө. Рылвевъ. Поэтическій его даръ былъ довольно скромный, но имя его должно быть сохранено въ исторіи развитія нашей изящной словесности, такъ какъ онъ-единственный лирикъ этой эпохи, который предметомъ своей пъсни избралъ гражданское чувство и политическую мысль. Мы встръчались съ попытками такой воинствующей поэзіи у Пушкина, но эти гражданскіе мотивы были временнымъ и краткимъ увлеченіемъ для Пушкина, тогда какъ Рылъевъ понималъ свое призвание поэта именно какъ выполненіе долга гражданскаго. Онъ подчиняль поэзію общественной мысли и желалъ будить эту мысль въ читатель, пользуясь поэтической формой для ея пропаганды. Такое пониманіе роли поэта въ нашей жизни было большой рѣдкостью въ тѣ годы и свидътельствовало объ исключительномъ темпераментъ. Нужно зам'втить, впрочемъ, что эта политическая тенденція проведена была Рыльевымъ въ его стихахъ безъ ущерба для силы ръчи и относительной красоты образовъ. Онъ былъ все-таки поэтъ, а не публицистъ, умъющій нанизывать риемы, и современники цънили въ немъ и гражданина, и поэта; онъ кромъ того быль записной литераторъ, страстный любитель писательскаго дъла и пробовалъ свои силы въ разныхъ его областяхъ, какъ поэтъ, критикъ, публицистъ и издатель.

Родился Рыл'вевъ въ 1797 году и воспитывался въ кадетскомъ корпус'в въ Петербург'в. Былъ участникомъ нашей войны съ Наполеономъ посл'в 1812 года и усп'влъ дважды побывать за границей. Эта жизнь, равно какъ и чтеніе преимущественно французскихъ публицистовъ, повліяла на образъ его мыслей и на его сентиментальную душу. Онъ принадлежалъ къ числу т'вхъ благородныхъ мечтателей, которые глубоко в'єрили въ челов'єка, въ его прирожденную склонность къ добру и справедливости и очень бол'взненно воспринимали всякое проявленіе зла въ мір'є. Онъ в'єрилъ, что для искорененія этого зла достаточно лишь доброй воли и сильной энергіи, что борьба съ этимъ зломъ въ области гражданской-священная обязанность каждаго благомыслящаго человъка. Эти чувства и мысли поддерживало въ немъ общее филантропически-либеральное направленіе первыхъ годовъ царствованія Императора Александра I и то броженіе политической мысли, съ

которымъ онъ познакомился на Западъ.

Вернувшись послѣ войны въ Россію, онъ женился, вышелъ въ отставку и перебрался въ Петербургъ, гдъ поступилъ на частную службу. Въ Петербургъ у него завязались обширныя связи со встми выдающимися литераторами, и онъ всецъло отдался писательской дъятельности. Здъсь же постепенно сталъ онъ входить и въ кругъ тъхъ политическихъ идей, которыя привели къ образованію тайнаго политическаго общества, поставившаго себъ цълью измънение государственнаго строя въ Россіи. Общество это, составившееся изъ членовъ прежняго политико-нравственнаго "союза благоденствія" и членовъ новыхъ, довольно усердно вербуемыхъ, пріобрѣло себѣ въ Рылѣевѣ ревностнѣйшаго сторонника и усерднаго работника. Онъ участвовалъ въ выработкъ проектовъ новой организаціи государственнаго строя, занимался пропагандой среди солдатъ, былъ самымъ красноръчивымъ и восторженнымъ ораторомъ на собраніяхъ и въ день возстанія, 14-го декабря, на площади стоялъ въ рядахъ возставшихъ. Судъ призналъ въ немъ одного изъ самыхъ опасныхъ агитаторовъ и приговорилъ его къ смертной казни. Приговоръ былъ исполненъ.

Во всемъ этомъ заговоръ, въ его подготовкъ и выполненіи Рыл вевъ обнаружиль очень большой пылъ душевный и очень горячую мечту, но, конечно, весьма слабое знаніе историческихъ условій нашей жизни. Онъ какъ весьма субъективный лирикъ смотрълъ на суровую дъйствительность и въ вопросахъ политическихъ былъ больше поэтъ, чъмъ мыслитель и дъятель. Но эту черту ума и характера раздъляли съ нимъ почти всъ его единомышленники по тайному обществу.

Какъ поэтъ онъ составилъ себъ извъстность своими историческими "Думами" (1824). Это былъ сборникъ историческихъ картинъ въ стихахъ, взятыхъ изъ русской старины. Картины были выбраны съ извъстной тенденціей. Автору хотьлось преподать хорошій урокъ гражданской нравственности. Для этого онъ выбралъ нъсколько драматическихъ эпизодовъ, говорящихъ о мудрости, милосердіи и справедливости правителей, а также объ ихъ порокахъ и уклоненіяхъ отъ долга нравственнаго; рядомъ съ правителями поставилъ онъ и ихъ подданныхъ и на разныхъ примърахъ показывалъ, какъ эти подданные должны понимать свой долгъ передъ правителемъ и народомъ. Въ политическомъ смыслъ всъ "думы" Рылъева были очень благомыслящи и очень патріотичны. Любовь къ Россіи, ея военной славъ, ея прошлому, въра въ ея великое будущее, восторгъ передъ образцами чести, ума и храбрости, которыя обнаруживали ея истинные сыны-вотъ что въ поэть возбуждало наибольшій подъемъ чувства и выражалось иногда въ довольно красивыхъ формахъ. Любовь къ родинъ была, конечно, тъсно связана съ понятіемъ объ ея своболь, какъ политическаго и національнаго цълаго, и Рылъевъ въ своихъ "Думахъ" часто говорилъ о Малороссіи и ея борьбъ за свободу во времена вольной запорожской жизни. Это были пока единственные вольнолюбивые стихи въ его поэзіи.

Художественное выполнение "Думъ" было слабо; стихи были растянуты, и у Рылъева не хватало силы фантазіи и образовъ и силы рѣчи для передачи тѣхъ драматическихъ моментовъ, о которыхъ онъ говорилъ.

Но эти недостатки искупались тъмъ, что сила и искренность гражданскихъ чувствъ самого автора передавались читателю. (Изъ этихъ "Думъ" какъ наиболъе разнообразныя по мотивамъ можно отмътить: "Курбскій", "Борисъ Годуновъ", "Сусанинъ", "Яковъ Долгорукій", "Волынскій", "Державинъ" и какъ наиболъе вольнолю-

бивую "Исповъдь Наливайки").

Второй стихотворный опыть Рыльева, болье удачный, чъмъ его "Думы", была его поэма "Войнаровскій" довольно длинный разсказъ въ стихахъ-мъстами гладкихъ, а мъстами и сильныхъ-изъ исторіи борьбы Малороссіи за свободу при Мазепъ... Въ этомъ произведеніи политическая нота звучить уже яснъе. Въ поэмъ, впрочемъ, наибольшую цѣнность имѣютъ описанія далекаго Сибирскаго края, гдѣ Войнаровскому—герою повѣсти—пришлось погибнуть въ ссылкѣ за его участіе въ возстаніи

Мазепы противъ Петра.

На выполнении такихъ общихъ историческихъ темъ Рыл вевъ, конечно, не остановился: лирическая боевая пъсня была болъе удобна для выраженія того боевого настроенія, которое съ каждымъ годомъ повышалось въ его сердцъ. Еще въ 1820 году онъ въ первый разъ-и довольно удачно-выступилъ въ роли политическаго памфлетиста. Онъ написалъ тогда оду "Къ временщику", въ которой довольно прозрачно намекалъ на всесильнаго Аракчеева, клеймя его разными нелестными эпитетами. Затъмъ онъ личности оставилъ въ покоъ и сталъ выступать съ политической и гражданской пъснью отъ своего лица, отражая въ ней все повышавшійся въ немъ подъемъ боевого настроенія. Эти пъсни, изъ которыхъ немногія были тогда напечатаны. — лучшее, что написано Рылъевымъ, и хорошее пополнение ко всемъ лирическимъ песнямъ его времени.

Въ нихъ много бодраго негодованія, которое и составляеть основной мотивъ всей лирики Рылѣева. Съ 1821 года въ его лирикъ устанавливается твердое убъжденіе, что его муза не должна служить ничему иному,

какъ только "общественному благу".

Моя душа до гроба сохранитъ
Высокихъ думъ кипящую отвагу;
Мой другъ! не даромъ въ юношъ горитъ
Любовь къ общественному благу!
Въ чью грудь порой тъснится цѣлый свътъ,
Кого съ земли восторгъ души уноситъ,
На зло врагамъ,—тотъ завсегда поэтъ,
Тотъ славы требуетъ, не проситъ.

Передъ этой задачей блѣднѣютъ всякіе личные мотивы, даже всесильная любовь:

Лишь временно қажусь я слабъ; Движеніемъ души владѣю, Не христіанинъ и не рабъ, Прощать обидъ я не умѣю Мнѣ не любовь теперь нужна: Занятья нужны мнѣ иныя— Отрадна мнѣ одна война Однъ тревоги боевыя. Любовь никакъ нейдетъ на умъ. Увы! моя отчизна страждетъ: Душа въ волненьи тяжкихъ думъ Теперь одной свободы жаждетъ.

И наконецъ, эта пъсня гражданскаго чувства переходитъ въ открытое политическое воззваніе:

Я-ль буду въ роковое время Позорить гражданина санъ, И подражать тебъ, изнъженное племя Переродившихся славянь? Нътъ, не способенъ я въ объятьяхъ сладострастья Въ постыдной праздности влачить свой въкъ младой И изнывать кипящею душой Подъ тяжкимъ игомъ самовластья. Пусть юноши, не разгадавъсудьбы, Постигнуть не хотять предназначенья въка И не готовятся для будущей борьбы За угнетенную свободу человъка, Пусть съ хладнокровіемъ бросаютъ хладный взоръ На бъдствія страдающей отчизны И не читаютъ въ нихъ грядущій свой позоръ И справедливыя потомковъ укоризны. Они раскаются, когда народъ, возставъ, Застанеть ихъ въ объятьяхъ праздной нъги, И въ бурномъ мятежъ ища свободныхъ правъ, Въ нихъ не найдетъ ни Брута, ни Ріэги.

8. Лирическая пъсня, какъ мы видъли изъ предшествовавшаго обзора, за эти годы нашего литературнаго развитія была представлена въ очень цѣнныхъ образцахъ. Художникъ любилъ эту форму творчества и, скажемъ больше, онъ почти исключительно любилъ ее одну; даже тогда, когда онъ задавался цълью написать поэму или драму, онъ волей не волей придавалъ ей очень субъективный лирическій характеръ. Такое обиліе лирическаго настроенія въ литературъ, конечно, не случайность. Слишкомъ еще было юно искусство, и художникъ имълъ въ прошломъ слишкомъ еще мало художническаго опыта, чтобы, какъ поэтъ, быть хозяиномъ окружавши его дъйствительности. Многое въ этой дъйствительности онъ прямо не признавалъ годнымъ для художественной обработки; на многое просто не обращалъ вниманія, и главный его интересъ былъ направленъ на самого себя; среди всъхъ голосовъ жизни, которые вокругъ него раздавались,

его собственный былъ ему всего слышнъе, и обо всъхъ "впечатлъніяхъ бытія", которыя, дъйствительно, ему тогда были новы, онъ спъшилъ высказать свое личное мнъніе. Это мнъніе повиновалось очень часто минутъ и было не столько мнъніемъ и сужденіемъ, основаннымъ на достаточномъ знакомствъ съ фактами, сколько настроеніемъ. Запасъ наблюденій былъ еще очень малъ, художникъ очень юнъ душой, и эта юность, конечно, находила себъ удовлетвореніе прежде всего въ ръзкомъ подчеркиваніи своего "я".

При такой психикъ художника трудно было ожидать, что изъ него выработается хорошій бытописатель, умъющій спрятать свою личность за върной и детальной картиной окружающей его дъйствительности. Трудно было ожидать также, что онъ дастъ образецъ безпристрастной сатиры широкаго размаха, сатиры не только бойкой и ъдкой, но и улавливающей вполнъ смыслъ развертывающихся передъ сатирикомъ событій.

VII. Сатира.

1. Часто приходится встръчаться съ мнъніемъ, что одну изъ отличительныхъ чертъ нашей изящной словесности составляетъ ея неизмѣнное стремленіе-судить, бичевать и обличать. Въ этомъ иногда видятъ особую нашу чуткость къ нравственнымъ и общественнымъ вопросамъ. Составляетъ ли сатира отличительную черту именно русской литературы-объ этомъ можно спорить, такъ какъ сатира блистательно представлена во всъхъ литературахъ міра, но что въ нашей словесности такое отрицательное и обличительное отношение къ жизни стало сказываться очень рано и во вст періоды развитія нашего художественнаго слова не прерывалось, это-върно. Начиная съ эпохи Петра Великаго (конечно, и раньше) нашъ писатель все обличалъ и негодовалъ на людскіе пороки и на всевозможные изъяны нашей общественной жизни. Много ли отъ этого выигрывала сама жизнь-это иной вопросъ, но писатель безспорно имълъ большую склонность къ выговорамъ и проповъдямъ.

Остается опредълить, однако, откуда эта склонность вытекала—изъ дъйствительно повышеннаго нравственнаго и гражданскаго чувства писателя или она явилась потому, что сама литературная форма сатиры представляла для писателя много техническихъ удобствъ и была вообще болъе доступна и легка, чъмъ какая-нибудь иная форма.

Въ XVIII въкъ, при полной неопытности писателя, при невыработанности нашего литературнаго языка, при условіяхъ весьма неблагопріятныхъ для гласности, въ рядахъ нашей литературы стояли, дъйствительно, преимущественно сатирики и неукоснительно обличали, пользуясь для своихъ обличеній встыи литературными формами "сатиры" — формой посланія, эпиграммы, басни, комическаго эпоса, комедіи и бытовыхъ сценокъ въ стихахъ и прозъ. Безспорно, что въ нъкоторыхъ изъ сатириковъ того времени нравственное и общественное чувство было очень сильно, какъ напримъръ, въ фонъ-Визинъ, въ Новиковъ, Радищевъ, но кто тогда не писалъ сатиръ и обличеній, и неужели всъхъ писавшихъ надо зачислить въ разрядъ истинныхъ Катоновъ, съ широко развитымъ чувствомъ общественности? Есть, думается намъ, и другое объяснение этому факту.

Сатира въ одно и то же время весьма легкій и весьма трудный родъ творчества. Отрицательные типы создавать легче, чъмъ положительные или чъмъ такіе, въ которыхъ-какъ это всегда въ жизни бываетъ-темныя краски смѣшаны со свѣтлыми. Для начинающаго, неопытнаго художника всякая идеализація въ ту или другую сторону представляетъ много удобствъ, и въ особенности заманчива идеализація въ дурную сторону, такъ какъ эта сторона отъ положительной стороны въ человъкъ отличается большимъ колоритомъ, большимъ драматическимъ движеніемъ, несравненно большей дозой страсти, и къ тому же подмъчается въ людяхъ легче, чъмъ ихъ достоинства или простая ординарность.

Обличение и сатира дають кромъ, того писателю извъстное нравственное самоудовлетвореніе помимо удовольствія эстетическаго. Все-таки онъ является своего рода насадителемъ добра и морали, а къ такой похвалъ весьма многіе писатели бываютъ неравнодушны, въ особенности тъ, въ которыхъ съ недостаточной

силой развито эстетическое чувство.

Когда съ этой точки зрънія оцъниваешь развитіе нашей сатирической литературы въ XVIII въкъ, когда считаешься съ малымъ опытомъ писателя, съ его убъжденіемъ въ томъ, что искусство призвано служить добру и насажденію добрыхъ нравовъ: когда, наконецъ, вспомнишь, что въ XVIII въкъ у насъ не было ни одного настоящаго сильнаго художника слова, -- тогда становится понятнымъ чрезвычайно быстрое размноженіе сатиры во встхъ ея видахъ именно въ тъ годы. Но подходитъ ли вся эта сатира XVIII въка подъ по-

нятіе художественнаго произведенія?

Сатира, сказали мы, и легкій видъ литературной формы, и вмъстъ съ тъмъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ. Дать намъ живое сатирическое изображение человъка или быта-съ соблюденіемъ художественной правды, -задача очень трудная, которая по плечу только истинному художнику. Нужно, чтобы передъ нами были не пороки и слабости человъческие, а сами люди съ пороками и слабостями, но не профильтрованными, а естественными, какія всегда смъщаны въ жизни съ дозою иныхъ качествъ. Нужно, чтобы люди дъйствовали передъ нами не преднамфренно, не съ цълью показать себя съ той или другой стороны, а дъйствовали естественно, какъ въ самой жизни, и при этомъ все-таки необходимо, чтобы смъшныя и порочныя стороны ихъ характера, ума, настроенія проступали со всею яркостью наружу. Не нужно никакого излишества сатирическаго, въ рѣчахъ и положеніяхъ дъйствующихъ лицъ и, конечно, самое главное, - художникъ долженъ спрятаться за своихъ героевъ, чтобы читатель никогда не видълъ и не чувствовалъ посредника между собой и лицами, которыя передъ нимъ выступають. Наша сатира XVIII въка этимъ требованіямъ не удовлетворяла, даже въ лицъ самыхъ сильныхъ своихъ представителей,

Писались все больше сатиры общаго характера, т. е. извъстныя дурныя стороны человъка облекались въ условные типы и предавались осмъянію. Такой типъ могъ быть очерченъ иногда очень ръзко, ръчь сатиры могла быть очень остра, но это было опять-таки лирическое изліяніе автора, но не картинка жизни. Въ XVIII въкъ было нъсколько писателей, которые пытались подняться надъ этой формой сатиры общаго типа. Это были очень талантливые люди, съ зоркимъ глазомъ и острой рѣчью, но и они не были настоящими художниками. Такъ фонъ-Визинъ въ свои дидактическія комедіи вставилъ нъсколько очень живыхъ сценъ и вывелъ въ нихъ дъйствительно типичныхъ представителей всевозможныхъ уродствъ человъческаго ума и характера, назвавъ ихъ именами, которыя сразу указывали въ какой порокъ писатель мътилъ. Фонъ-Визинъ, конечно, изобразилъ правдиво эти пороки, но онъ ихъ слишкомъ обобщилъ, и за отдъльными качествами души и ума его героевъ исчезали сами люди. Наконецъ, и собраніе въ одной комнатъ всъхъ этихъ оригиналовъ гръщило противъ правдоподобія. Такъ же, какъ фонъ-Визинъ, поступилъ и Капнистъ въ своей извъстной комедіи "Ябеда". И здъсь вся сцена была занята пороками и на авансценъ

находился самъ авторъ со своей указкой.

Много довольно яркихъ бытовыхъ сценъ найдемъ мы въ журнальныхъ статьяхъ Новикова; и эти статьи имъютъ большое значение въ истории развития нашей общественной мысли, но какъ художественная сатира, онъ-слабы, да и самъ авторъ, прирожденный публицистъ, не особенно гонялся за художественностью, а былъ занять выясненіемь общественной стороны того вопроса, котораго онъ касался. Для него общественная мораль, вытекавшая изъ его писаній стояла на первомъ планъ, а декораціей служили люди, ихъ характеры, ръчи и жизнь. По этой же дорогь шелъ и самый крупный изъ нашихъ публицистовъ Радищевъ. Онъ былъ настояшій политическій мыслитель, великій гуманисть, страшно смълый и прямолинейно честный, но эстетическая сторона его обличенія мало его заботила. Онъ писалъ языкомъ очень тяжелымъ и некрасивымъ тогда, когда этотъ языкъ началъ пріобрътать уже довольно изящную форму. Онъ бросалъ на страницы своей записной книги штрихи, эскизы, очерки, силуэты, нисколько не заботясь объ ихъ группировкъ и отдълкъ. Ему это, впрочемъ, и не было нужно. Совсъмъ иную цъль онъ преслъдовалъ, - и онъ остался великъ въ исторіи развитія нашего самосознанія и его "Путешествіе" было однимъ изъ самыхъ сильныхъ памятниковъ нашей общественной и политической мысли. Какъ памятникъ литературный оно цънно лишь нъсколькими страницами, на которыхъ даны ультрареальныя картинки изъ народнаго быта.

Съ наступленіемъ царствованія императора Александра Павловича можно было надѣяться, что сатирическое направленіе въ литературѣ начнетъ крѣпнуть. Реформы, съ которыхъ царь началъ свою дѣятельность, либеральный образъ мыслей, вошедшій тогда въ моду у начальства; дѣйствительно искренняя жажда добра и совершенствованія, охватившая многіе слои нашего интеллигентнаго общества,—все какъ будто указывало на то, что отрицательное, обличительное направленіе въ литературѣ разовьется и что художникъ съ большей смѣлостью и свободой начнетъ выполнять благодарную роль сатирика.

Нельзя сказать, чтобы сатира ослабъла въ это царствованіе сравнительно съ сатирой Екатерининскаго времени. Сатиръ, комедій, посланій, эпиграммъ, басенъ писалось не меньше, если не больше. Въ одной области, въ области политической мысли и въ сферѣ боевого политическаго настроенія замѣчался даже рѣшительный приростъ темперамента и яркой смѣлой рѣчи. Но во всякомъ случаѣ, надежды на расцвѣтъ художественной сатиры, вполнѣ законныя при томъ направленіи, какое принимала жизнь, не оправдались въ той степени,

какъ этого можно было ожидать.

Объяснить это сложное явленіе довольно трудно, но едва ли можеть быть сомнівніе въ томъ, что сентиментальное настроеніе съ его оптимизмомъ и добродушіемъ, съ его вірой въ царя небеснаго и земного, съ его довіріемъ къ человізку вообще мало способствовало сатирическому и саркастическому отношенію къ жизни. По крайней мізріз всіз истинные наиболіве убіжденные проводники этого направленія были весьма снисходительные и ласковые сатирики... Тіз же изъ нашихъ тогдашнихъ писателей, которые умізли сердиться и обличать, крайне різдко позволяли себіз проявлять этотъ гнізвъ въ литературів.

Пушкина политика соблазнила, но на весьма короткій срокъ. Рылѣевъ былъ также совсѣмъ захваченъ политикой, но сатирѣ предпочиталъ лирическую пѣсню на гражданскій и политическій мотивъ. Князь Вяземскій — человѣкъ съ несомнѣннымъ сатирическимъ темпераментомъ и талантомъ—не шелъ въ своихъ стихахъ дальше граціозной шутки. Чаадаевъ ничего еще пока не писалъ, а только обдумывалъ свой глубокомысленный памфлетъ на Россію. Одинъ только Грибо вдовъ продолжалъ упорно работать надъсвоей комеліей, да Крыловъ, полководецъ цълой арміи баснописцевъ, тихо и лъниво писалъ свои басни. Пъятельность остальныхъ сатириковъ укладывается въ очень скромныя рамки. Нападали они все больше на самые ординарные недостатки человъка, и притомъ недостатки самаго общаго типа, обще всъмъ людямъ. Много они тратили времени на обличение бездарныхъ писакъ, показныхъ сторонъ свътской жизни, грубостей жизни не свътской, но всъ эти обличенія писались въ большинствъ случаевъ по античнымъ и французскимъ образцамъ и не давали ничего самобытнаго въ своей формъ. Если же форма была самобытна, то она была очень не совершенна и литературно необтесана. Народнаго и бытового въ этой сатиръ было очень мало.

2. Самой распространенной формой для сатиры въ тъ годы оставалась басня. Ею издавна пользовались и безымянный народъ, и отдъльные писатели для моральнаго наставленія, и она, дъйствительно, представляла очень много удобствъ. Литературная форма ея была давнымъ давно отлита и въ продолжение цълыхъ въковъ переходила по наслъдству отъ одного народа къ другому; она не требовала детальнаго или новаго развитія типовъ, такъ какъ всъ звъриные типы, подогнанные подъ человъческіе, были также заранъе готовы и за ними издавна признанъ опредъленный смыслъ и значеніе. Наконецъ, басня представляла писателю много свободы въ обращении съ лицомъ или явлениемъ, въ которое онъ мѣтилъ; онъ могъ рисовать портреты, не подставляя себя подъ обвинение въ прямомъ намекъ. Но съ другой стороны, конечно, басня какъ литературная форма была очень однообразна. Нужно было обладать большимъ талантомъ, чтобы втъснить въ эту традиціонную форму широкое содержание и, главнымъ образомъ, бытовое содержаніе, т. е. такое, которое передавало бы не только общія сентенціи, но сохраняло бы черты быта того народа, къ которому эта сентенція прилагалась.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ эту трудную задачу выполнилъ. Онъ былъ уже немолодымъ человъкомъ, когда, наконецъ, всю силу своего дарованія сосредоточилъ на этой литературной формъ, къ которой раньше прибъгалъ только изръдка. Крыловъ принадлежитъ собственно къ числу литераторовъ Екатерининскаго времени, когда онъ выступалъ какъ журналистъ, какъ авторъ бытовыхъ сатирическихъ сценокъ, комедій и какъ сочинитель стихотвореній всевозможнаго рода. Художникомъ сталъ онъ однако лишь какъ баснописецъ, такъ какъ во всемъ, что онъ писалъ не въ этой формъ, онъ не подымался выше литературнаго шаблона Екатерининскаго времени.

Родился онъ въ 1768 году. Дътство его протекло при самыхъ бурныхъ и тяжелыхъ условіяхъ Пугачевскаго бунта, въ усмиреніи котораго его отецъ принималъ участіе. Совстмъ ребенкомъ послт смерти отца поступилъ онъ затъмъ на службу въ Тверь и, кажется, очень бъдствовалъ. Здъсь, въ Твери, по свидътельству одного лично его знавшаго человъка, "онъ съ особеннымъ удовольствіемъ постадалъ народныя сборища, торговыя площади, качели и кулачные бои, гдв толкался между пестрою толпою. Нередко сиживаль онъ по целымъ часамъ на берегу Волги, противъ плотомоекъ и затъмъ разсказывалъ товарищамъ забавные анекдоты и поговорки, которые уловилъ изъ устъ словоохотливыхъ прачекъ, сходившихся на ръку съ разныхъ концовъ города, изъ дома богатаго и бъднаго". Эта школа принесла нашему писателю больше пользы, чъмъ какая-либо иная. Въ 1782 году мы встръчаемъ Крылова въ Петербургь, гдъ онъ опять на службъ, но, кажется, всего чаще въ театръ. Большой театралъ, онъ самъ начинаетъ писать трагедіи и комедіи, но славы он'в ему не приносятъ. Службу онъ скоро бросаетъ и становится вольнымъ литераторомъ. Онъ принимаетъ участіе во многихъ сатирическихъ журналахъ и, наконецъ, самъ становится издателемъ и редакторомъ "Почты Духовъ". Успъха этотъ журналъ не имълъ, какъ и слъдующій "Зритель", который издавалъ Крыловъ вибств съ нъкоторыми изъ видныхъ артистовъ нашей сцены. "Зритель" умеръ, впрочемъ, насильственною смертью. Крыловъ не унывалъ и еще разъ попыталъ счастье на жур-

нальномъ поль; но, наконецъ, пришлось отказаться отъ всякихъ литературныхъ предпріятій, и для Крылова наступили очень темные дни, о которыхъ намъ ничего не извъстно. Кажется, онъ странствовалъ по разнымъ городамъ и добывалъ себъ средства къ жизни путями очень рискованными-вплоть до азартной карточной игры. Съ 1801 года онъ служитъ при военномъ губернаторъ Прибалтійскаго края въ Ригъ, но съ 1803 года опять начинаются для него годы странствованія. Они длятся до 1806 г., когда мы его застаемъ въ Петербургъ, гдъ онъ вращается въ литературныхъ кругахъ, ставить на сценъ новыя свои пьесы и продолжаетъ пописывать басни, которыя встмъ очень нравятся и постепенно создають ему настоящую литературную славу. Въ 1812 году Крыловъ поступилъ на службу въ Императорскую публичную библютеку, гдв и оставался почти до самой своей смерти, которая последовала въ 1844

Крыловъ былъ окруженъ большимъ почетомъ какъ литераторъ и обязанъ былъ своей славой исключительно своимъ баснямъ. Писалъ онъ ихъ тихо, съ большими промежутками и тщательно ихъ отдълывалъ. Можно было подумать, что для него писаніе басенъ—дъло его жизни, — серьезное дъло, которому онъ отдавалъ всъ силы своего ума и таланта. Своимъ современникамъ онъ, дъйствительно, казался великимъ сатирикомъ и моралистомъ, и такъ какъ въ басняхъ своихъ онъ затрогивалъ темы очень жгучія для его времени и попадалъ въ цъль съ большой мъткостью, то такое высокое мнъніе современниковъ было какъ будто бы

основательно.

Но, должно замътить, что въ данномъ случать необычайно зоркій глазъ сатирика и необычайная мъткостъръчи совстямъ не соотвътствовали самому темпераменту художника. Для какой-нибудь боевой роли, роли обличителя убъжденнаго и граждански воспитаннаго Крыловъ былъ совершенно не годенъ. У него не только не было никакихъ установившихся принциповъ гражданской морали, но даже принципы его личной морали были довольно шатки. По натуръ своей онъ былъ страшный эгоистъ, очень спокойный и лънивый, кото-

рый надъ трудными вопросами головы никогда не ломаль; онъ обладаль большой наблюдательностью, быль большой насмѣшникъ и испытывалъ полное удовлетвореніе, когда ему удавалось подм'єтить и схватить юмористическую сторону въ людяхъ. Но на этомъ въ сущности и кончалось его отношение къ нимъ. Участія, ни въ людяхъ, ни въ событіяхъ онъ не принималъ никакого; онъ даже не изучалъ окружающей его жизни, не давалъ себъ труда пристально къ ней присматриваться, а сидълъ и ждалъ случая, когда какой-нибудь человъкъ или житейское явленіе особенно разбередять его любопытство. Тогда онъ откликался. Такъ выработалъ онъ себъ своеобразную эгоистическую философію жизни, которая непріятно поражала лицъ, близко его знавшихъ. Самъ остроумный сатирикъ и памфлетистъ онъ какъ будто всъми и всъмъ всегда оставался доволенъ.

А сила и остроуміе его басенъ бросались въ глаза каждому. Въ этихъ басняхъ сохраненъ, во-первыхъ, очень драгоцънный матерьялъ для изученія души человъка вообще. Нъкоторыя обыденныя психическія движенія закръплены въ безсмертныхъ образахъ. Нужно замътить, правда, что многія изъ лучшихъ басенъ Крылова—переводы съ французскаго, изъ Лафонтена. Но и Лафонтенъ въ своихъ басняхъ былъ не оригиналенъ и бралъ изъ общемірового запаса; а Крыловъ, заимствуя сюжетъ, придавалъ ему въ свою очередь національно-русскую окраску; и читатель русскій могъ и не замътить и, дъйствительно, не замъчалъ, что звъри, съ которыми онъ вступалъ въ разговоръ, родились не въ Россіи.

Пересказывать содержаніе басенъ Крылова съ общечеловъческимъ содержаніемъ нѣтъ, конечно, никакой нужды,—но онѣ такъ рельефно написаны, что стоитъ только назвать ихъ заглавія или ихъ конечный стихъ, какъ въ памяти нашей возникаютъ цѣлыя картины. Назовемъ хотя бы "Собачья Дружба", "Стрекоза и Муравей", "Орелъ и Пчела", "Ай, Моська, знать она сильна!" "А Васька слушаетъ, да ѣстъ", "Тришкинъ кафтанъ", "Левъ на ловлѣ", "Лишь мнѣ бы ладно было, а тамъ весь свѣтъ гори огнемъ", "Осталось всего овецъ пять, шесть, и тѣхъ собаки съѣли", "Молчи, все знаю я сама,

да эта крыса мнѣ кума", "Съ умомъ людей боятся и терпятъ при себъ охотнъй дураковъ", "Ты виноватъ ужъ тѣмъ, что хочется мнѣ кушать". Всъ въдь эти отрывочныя слова—цѣлые образы и приговоры. Но это все-таки безобидная сатира. Русской жизни Крыловъ въ этихъ басняхъ коснулся настолько, насколько мы, русскіе, вообще люди. Въ другихъ басняхъ онъ сталъ подходить къ намъ ближе.

Въ тъ годы, да и раньше, какъ и позже, была большая мода на обличение чиновниковъ и начальства. Особенной пользы отъ этихъ обличений не получалось, но они бывали иногда достаточно смъды и откровенны. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что до Гоголя никто въ этихъ обличенияхъ не бралъ столь

язвительной ноты, какъ Крыловъ.

Припомнимъ опять нѣсколько выраженій и заглавій: "Оракулъ", "Если голова пуста, то головѣ ума не придадутъ мѣста", "И сталъ оселъ скотиной превеликой", "Что сходитъ съ рукъ ворамъ, за то воришекъ бьютъ", "Слонъ на воеводствѣ", "А гдѣ пастухъ дуракъ, тамъ и собаки дуры", "Квартетъ", "На младшихъ не найдешь себѣ управы тамъ, гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ", "Отставку Мишкѣ дали, и приказали, чтобъ зиму пролежалъ въ берлогѣ старый плутъ", "И вслѣдствіе того казнить овцу и мясо въ судъ отдать, а шкуру взять истцу", "Какъ счастье многіе находятъ лишь тѣмъ, что хорошо на заднихъ лапкахъ ходятъ", "Важный чинъ на плутѣ какъ звонокъ", "Олени, серны, козы, лани, они почти не платятъ дани; набрать съ нихъ шерсти поскоръй, отъ этого ихъ не убудетъ".

Есть басни, въ которыхъ Крыловъ еще ближе подходитъ къ нашей дъйствительности; въроятно, ихъ-то и имъли нъкоторые люди въ виду, когда они просили начальство о томъ, чтобы цензура изъяла добрую половину басенъ Крылова изъ обращенія. Напримъръ, басня "Воспитаніе льва", въ которой разсказывается, какъ наслъдника львинаго царства обучили вить гнъзда—ее, говорятъ, поняли какъ прямой намекъ на воспитаніе Императора Александра I. Въ баснъ "Мартышка и очки" говорилось о томъ, какъ мы еще мало знаемъ цъну полезнымъ вещамъ и какъ стоитъ намъ только власть получить въ руки-мы противъ этихъ полезныхъ вешей подымаемъ гоненіе. Басня о "Морт звтрей", когда мелвъди, тигры и волки приговорили на костеръ вола. который съълъ чужое съно, - къ нашимъ внутреннимъ распорядкамъ вполнъ подходила. А сколькимъ изъ нашихъ управителей можно было напомнить басню о "Гусяхъ", у которыхъ только одно достоинство. что ихъ предки когда-то Римъ спасли своимъ крикомъ. Можно было задуматься и надъ басней "Орелъ и Кротъ", въ которой разсказывается, какъ кротъ. обслѣдовавъ корни того дерева, на которомъ орелъ свилъ свое гитадо, предсказалъ ему, что гитадо витасть съ деревомъ рухнетъ. Та же мысль о здоровыхъ "корняхъ". которые питаютъ все дерево, - подчеркнута и въ баснъ "Листы и Корни". Полна общественнаго смысла басня "Мірская сходка", повъствующая о темъ, какъ волкъ попалъ въ овечьи старосты и какъ о немъ "словцо было замолвлено у львицы". Очень сильна басня "Кошка и Соловей", направленная, очевидно, противъ цензуры. О судейских порядках недвусмысленно говорила басня "Щука", называя по имени гг. судей: "Два осла, двъ клячи старыя, да два иль три козла".

Такія басни могли бы намъ дать право зачислить Крылова въ разрядъ, какъ тогда говорилось, "либералистовъ", но эта была бы ошибка. Во-первыхъ, во всѣхъ такихъ басняхъ въ сущности было сказано ни больше, ни меньше, чѣмъ въ любой сентиментальной проповъди, того времени. Только сентиментальная проповъдь увъщевала, а сатирикъ смѣялся. Его сатирой могъ воспользоваться любой либералъ какъ подходящимъ оружіемъ, но самъ Крыловъ ни о какомъ общественномъ подвигъ не думалъ, а какъ художникъ ловилъ только смѣшную

сторону явленій и.... см'вялся.

Когда же онъ начиналъ разсуждать или хотълъ чтонибудь доказать, то взгляды его были либо очень не-

опредъленны, либо консервативно скромны.

Онъ, напримъръ, очень часто возвращался въ своихъ басняхъ къ вопросу о просвъщении, его значении для жизни и границъ, въ которыхъ оно должно держаться. Сравнивая эти басни, приходишь къ выводу, что нашъ сатирикъ очень косо смотрълъ на свободу просвъщения;

онъ желалъ включить его въ рамки очень тъсныя и все предостерегаль отъ пагубныхъ послъдствій излишней мудрости, словно въ мудрости можетъ быть излишекъ или словно идея не искупаетъ всъхъ своихъ ошибокъ-одной свободой своего развитія. Онъ сов'туеть очень осторожно сдирать съ людей кору грубости, чтобы съ ней не растерять и добрыхъ свойствъ, и не ослабить духъ людей, не испортить ихъ нравы и не разлучить ихъ съ простотой ("Червонецъ"); онъ грозитъ народамъ, которые повърятъ мнимымъ мудрецамъ и впадутъ въ невъріе, грозитъ имъ всъми громами небесъ ("Безбожники"); онъ убъжденъ, что стоитъ лишь съ юныхъ дней напитаться вреднымъ ученіемъ и потомъ на всъхъ дълахъ и поступкахъ оно будетъ отзываться. ("Бочка"). Онъ поднимаетъ затъмъ науку на смъхъ въ баснъ "Огородникъ и философъ", оговоривъ, правда, что рѣчь идеть о философѣ недоученномъ и великомъ краснобаъ. Со смысломъ этой басни можно было бы еще согласиться, если бы у насъ въ Россіи въ тъ годы умъстно было бы говорить объ излишествъ теорій при полномъ нищенствъ ихъ во всъхъ областяхъ знанія. Въ баснъ "Сочинитель и Разбойникъ" нашъ сатирикъ уже прямо отдаетъ предпочтение разбойнику, -- который вреденъ, пока онъ живетъ, и заслуживаетъ большаго снисхожденія, чемъ писатель, который и после смерти своей можеть быть вреденъ настолько, что способенъ цълую страну наполнить убійствами и грабежами. Басней этой Крыловъ, несомнънно, мътилъ во французскую литературу XVIII въка и главнымъ образомъ въ Вольтера.

Въ баснъ "Водолазы" Крыловъ, наконецъ, подвелъ итогъ всъмъ своимъ разсужденіямъ объ этомъ вопросъ.

Получился слъдующій выводъ:

Хотя въ ученіи зримъ мы многихъ благъ причину, Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину И свой погибельный конецъ; Лишь съ разницею тою, Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

Басню эту критика хотъла спасти отъ обвиненія въ отрицательномъ отношеніи къ наукть и мысли вообще, и такая критика была права: басня не реакціон-

на, какъ и всъ предшествовавшія; но она ничего не говоритъ, такъ какъ признаетъ необходимость ученія и знанія, но обставляєть это признаніе одной оговоркой, которая его сводитъ къ нулю. Эта сентиментальная оговорка гласить, что только одно знаніе допустимо и желательно, именно то, которое ведетъ къ добру, т. е. свобода мысли человъка поставлена подъ контроль очень относительнаго понятія. Во всякомъ случать назвать Крылова обскурантомъ и ретроградомъ было-бы несправедливо, но что истинный либералъ никогда бы не позволилъ себъ такихъ ръчей по адресу науки и знанія, это-несомнънно. Крыловъ и въ данномъ случать не желалъ утруждать себя долгимъ размышленіемъ и, въроятно, подъ впечатлъніемъ французской революціи, весьма поверхностно понятой, ограничился острымъ словомъ и смъшнымъ сопоставленіемъ тамъ, гдъ требовалось необычайно серьезное и сознательное отношение къ дълу. Но, если ужъ говорить объ общественныхъ взглядахъ Крылова, то ихъ, конечно, придется признать въ общемъ консервативными. Новшествъ онъ вообще не любилъ: наказалъ же онъ лягушекъ за то, что онъ, недовольныя своимъ царемъ, просили другого ("Лягушки, просящія царя"). Мѣщанамъ онъ рекомендовалъ не желать жить какъ именитые граждане, и мелкую сошку уговаривалъ, чтобы она въ знатные дворяне не лъзла ("Лягушка и Волъ"). Доброму селянину и простому солдату онъ тоже не совътовалъ сличать ихъ состояние съ состояниемъ иныхъ сословій и доказывалъ имъ, что государство о нихъ-то именно всего больше и заботится ("Колосъ"). Иногда, слъдуя все этому же правилу, что каждый долженъ знать свое мъсто, онъ совсъмъ безхитростной баснъ навязывалъ мораль, которая плохо вязалась съ разсказомъ. Такъ въ баснъ "Ворона въ павлиныхъ перьяхъ", онъ заговорилъ о томъ, что каждый долженъ держаться званія, въ которомъ рожденъ, и что простолюдинъ со знатью не долженъ родниться. "Лучше върнаго держаться, чъмъ за обманчивой надеждою гоняться, говорилъ онъ въ баснъ "Пастухъ и море" и повторялъ ту же мысль въ трогательномъ разсказъ "Два голубя". Да и въ первой своей баснъ, съ которой началась его литературная д'вятельность, онъ, не любя ни опасности, ни борьбы, готовъ былъ кажется отдать предпочтеніе гибкой трости передъ могучимъ дубомъ

("Дубъ и Трость").

И, въ концъ концовъ, къ чему ропотъ, недовольство, къ чему критика?. Какъ случилось однажды лошади критиковать работу крестьянина ("Крестьянинъ и лошадь"), не такъ-ли

Съ самой древности, въ нашъ даже вѣкъ Не такъ ли дерзко человѣкъ О волѣ судитъ Провидѣнья, Въ безумной слѣпотѣ своей, Не вѣдая Его ни цѣли, ни путей?

3. Имъемъ ли мы въ лицъ Крылова, какъ это принято иногда утверждать, — сатирика и бытописателя? Что онъ сатирикъ и очень субъективный, это-несомнънно. Онъ выработалъ для своего обихода мораль довольно обыденную, пассивную, въ общихъ чертахъ сентиментально добропорядочную, и съ этихъ точекъ зрѣнія судилъ онъ о людяхъ и жизни. Очень многое въ этой жизни онъ не видълъ или не хотълъ видъть, но то, на что онъ устремлялъ свой взглядъ, то онъ ловилъ необычайно ловко и какъ настоящій художникъ рельефно, пластически воспроизводилъ съ большой жизненной правдой. Но въ каждой баснъ всегда говоритъ онъ, и мораль читаетъ онъ, и если сгруппировать эти выводы басенъ, то получится не философія жизни, жизни вообще или жизни данной эпохи, а довольно связный очеркъ незатьйливаго міросозерцанія самого баснописца.

Крыловъ, несомнънно, въ извъстной степени и бытописатель, только эту сторону его творчества не слъдуетъ выдвигать на первый планъ при его оцънкъ. Онъ умъетъ въ двухъ-трехъ штрихахъ рисовать отдъльныя положенія и сцены, мастерски ведетъ краткій діалогъ и въ особенности силенъ онъ отдъльными колоритными словами, оборотами ръчи съ яркой бытовой окраской.

Но трудно—почти невозможно по его баснямъ получить понятіе о какой-нибудь цълой бытовой полосъ нашей жизни. Чаще всего среди дъйствующихъ лицъ его басенъ появляется нашъ крестьянинъ. Говоритъ онъ, дъйствительно, иногда языкомъ народнымъ но самъ онъ, съ бытовой стороны, обрисованъ чертами крайне неопредъленными. Какъ живетъ онъ, въ какомъ состояніи, каковъ образъ его мыслей, его религіозное міропониманіе, кто онъ, какъ парень, какъ мужъ, какъ отецъ? — объ этомъ мы ничего не узнаемъ изъ басенъ Крылова. Странно, однако, предъявлять баснописцу такія требованія, но на эту особенность въ басняхъ Крылова все-таки слъдуетъ обратить вниманіе, хотя бы для того, чтобы видъть, какъ художникъ того времени, имъвшій возможность близко узнать простой народъ, всетаки былъ пока еще не въ состояніи включить его жизнь въ сферу своего поэтическаго созерцанія. Сатирикъ не то, чтобы считалъ этотъ матерьялъ для искусства непригоднымъ, но онъ пока еще не умѣлъ обращаться съ нимъ

Заслуги Крылова передъ нашей словесностью были бы исчислены не полностью, если бы мы въ немъ не признали большого мастера языка. Съ нимъ простая неподкрашенная народная рѣчь вступала въ художественную литературу. Но кромѣ народной рѣчи въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, мы въ басняхъ Крылова имѣемъ образцовую литературную рѣчь. Такой сочности, сжатости и мѣткости она до него не имѣла. Это была очень трезвая, реальная рѣчь, дополнявшая ту плавную, возвышенную и поэтическую, которая одновременно съ басней Крылова развертывалась въ стихо-

твореніяхъ Жуковскаго.

Недаромъ цълыя строфы Крылова вошли въ посло-

вицу и стали поговоркой.

Какъ мастеръ рѣчи нашъ баснописецъ былъ прямой предшественникъ, и пожалуй, учитель Грибоѣдова.

VIII. "Горе отъ ума".

1. Комедія Александра Сергъевича Гриботдова служила издавна предметомъ оживленныхъ споровъ среди встхъ ея безчисленныхъ поклонниковъ. Споръ шелъ не объ ея литературныхъ достоинствахъ, - которыя были сразу всеми признаны, а о томъ, что она собой представляла какъ извъстная литературная форма. Комедія ли она, въ настоящемъ смыслъ слова, или сатира въ монологахъ и діалогахъ? Съ перваго взгляда можетъ показаться, что споръ идетъ о пустякахъ, - не все ли равно, комедія ли "Горе отъ ума", или сатира, лишь бы она была художественнымъ произведеніемъ. Но совствить иначе приходится оцтнивать этотъ споръ, когда имфемъ въ виду опредфлить рость эстетическаго отношенія художника къ жизни. Можемъ ли мы сказать, что съ Грибоъдовымъ нашъ художникъ поднялся на ту высоту творчества, съ которой онъ могъ бросить на окружающую его жизнь свободный и широкій взглядъ комика, улавливающаго въ этой жизни ея смѣшную сторону какъ она естественно и непринужденно въ этой жизни выражается?-Или, въ лицъ Грибоъдова, передъ нами сатирикъ, съ очень ясными личными симпатіями, пропов'єдникъ изв'єстныхъ взглядовъ на жизнь, который для доказательства правоты этихъ взглядовъ подбираетъ факты, искусно ихъ комбинируетъ, гръшить противъ правдоподобности, рисуетъ не столько

живыхъ людей, сколько общіє типы, въ которыхъ воплощаетъ тѣ или другія людскія мысли и склонности? Грибоѣдовъ—художникъ ли онъ, созерцающій жизнь и интересующійся въ ней преимущественно ея комической стороной, или онъ художникъ-судья, строгій судья, который читаетъ этой жизни наставленіе? Какъ велика доза того субъективнаго отношенія къ предмету, которую Грибоѣдовъ внесъ въ свою комедію?

Отвъты на эти вопросы давались разные еще со временъ Бълинскаго, который за "Горемъ отъ ума" отрицалъ право на названіе художественной комедіи и доказывалъ свою мысль тонкими философскими и эстетическими соображеніями. Споръ не конченъ и въ наше

Намъ кажется, что болѣе правы тѣ, кто въ Грибоѣдовѣ видитъ по преимуществу сатирика, а не комика-

драматурга.

Сатирикъ гнался, во, первыхъ-не за смѣшными сторонами жизни, когда задумалъ свою комедію: онъ ръшалъ одинъ очень больной и очень серьезный вопросъ своего времени. Этотъ вопросъ, а не людей выдвигалъ онъ на первый планъ и обставлялъ его доказательствами въ образъ типичныхъ воплощеній разныхъ ходячихъ тогда мнѣній. Сцена была заполнена такими ходячими мнѣніями, носителями которыхъ являлись отдъльныя лица съ очень прозрачными фамиліями: Скалозуба, Молчалина, Хлестовой, Репетилова, Чацкаго фамилія котораго первоначально писалась "Чадскій". въ этой транскрипціи хотьли видъть намекъ на Чаадаева, но дъло объясняется проще: фамилія "Чадскій" происходить отъ слова "чадъ", и авторъ, очевидно, намекалъ на тотъ туманъ, который и въ головъ его героя гнъздился]. Всъ эти лица по предписанію автора жили и дъйствовали даже въ мельчайшихъ подробностяхъ своего поведенія (вплоть до отдъльныхъ выходовъ и уходовъ на сценъ). Говорили они также то, что имъ приказывалъ авторъ, говорили иногда его собственными словами и всъ ихъ рѣчи клонились опять-таки къ доказательству единой мысли, которая не давала покоя автору. Правъ былъ Пушкинъ, когда, прослушавъ комедію, сказалъ, что Чацкій вель себя глупо, а что Гриботдовъ очень умный человъкъ.

И дъйствительно, Александръ Сергъевичъ Гриботедовъ былъ изъ малаго числа самыхъ умныхъ людей своего въка, и безспорно самый злой и остроумный изъ нихъ. И была въ немъ еще одна особенность очень ръдкая въ то время, полагавшая ръзкую грань между нимъ и большинствомъ его современниковъ: онъ по природъ своей былъ враждебенъ всякому сентиментализму—былъ человъкъ очень трезвыхъ взглядовъ, и чувствительность въ разныхъ ея формахъ вызывала въ немъ чаще всего насмъшку. Есть указанія современниковъ, что въ личныхъ отношеніяхъ онъ неръдко проявлялъ даже холодность, доходящую до жестокости.

Кром'в того изъ нашихъ литераторовъ того времени онъ былъ, кажется, единственный челов'вкъ д'вла—прозаическаго, житейскаго д'вла и при томъ еще государственнаго, въ которомъ всякій сентиментализмъ могъ

быть сочтенъ только за недостатокъ.

2. Родился Александръ Сергъевичъ въ 1795 году въ Москвъ, въ семьъ богатой и знатной, и воспитание и образование его съ самыхъ юныхъ лътъ было обставлено очень благопріятными условіями. Пятнадцати льтъ поступилъ онъ въ Московскій университетъ на юридическій факультеть. Занимаясь своими юридическими науками, онъ однако удълялъ не мало времени исторіи и словесности и самъ пробовалъ свои силы въ сочинительствъ – стихотворномъ. Сдавъ кандидатскій экзаменъ, Грибоъдовъ въ знаменательный 1812 годъ поступилъ на военную службу въ гусарскій полкъ и служилъ въ офицерскихъ чинахъ четыре года. Много проказничалъ онъ за это время, и образъ жизни его былъ разстянный и вольный, но въ немъ зрълъ человъкъ наблюдательнаго и остраго ума и художникъ. Уже въ эти ранніе годы онъ былъ большимъ театраломъ и авторомъ двухъ комедій, литературная стоимость которыхъ была однако весьма ординарна. Въ 1817 году онъ поступилъ въ въдомство коллегіи иностранныхъ дѣлъ, гдѣ ему суждено было очень быстро продвигаться по службъ. Годъ спустя его назначили состоять при нашемъ повъренномъ въ дълахъ въ Персіи. Необычайный даръ къ языкамъ позволилъ Грибоъдову въ короткій срокъ хорошо овладѣть арабскимъ и пер-

силскимъ, а необычайный тактъ и умъ сдълали его однимъ изъ нашихъ самыхъ искусныхъ дипломатовъ. талантъ котораго былъ сразу опъненъ. Съ 1819 года Грибофдовъ жилъ преимущественно на Востокъ, хотя часто наъзжалъ въ столицы. Мимолетной угрозой его быстрой дипломатической карьеръ были событія 1825 года, такъ какъ среди декабристовъ у него было очень много друзей. Его вытребовали съ Кавказа, арестовали и, оправдавъ, даже повысивъ въ чинъ, отпустили обратно на службу. Точныхъ свъдъній о томъ, какъ онъ относился къ событію 14 декабря, мы не имъемъ, но, принимая во вниманіе строгость, съ какой велось слъдствіе, и болъе чъмъ благополучное окончаніе его для Гриботадова, можно предположить, что Грибовловъ, дъйствительно, къ дълу никакого касательства не имълъ. Да и все то, что мы знаемъ о складъего ума и характера, говоритъ противъ возможности его увлеченія той политической мечтой, которая привела его друзей и знакомыхъ къ катастрофъ.

Въ концъ 1826 года Грибоъдовъ вернулся къмъсту своего служенія. Разгоралась наша война съ Персіей. Она кончилась миромъ въ Туркманчать, и этотъ мирный поговоръ, для насъ очень выгодный, былъ выработанъ при ближайшемъ участіи Грибовдова, которому и было поручено доставить его въ Петербургъ. Изъ Петербурга Грибовдовъ вернулся въ чинъ статскаго совътника, награжденный высокимъ орденомъ и большой суммой денегь. Вскоръ послъ этого онъ былъ назначенъ нашимъ полномочнымъ министромъ-резидентомъ въ Тегеранъ. Назначение было очень почетное, но очень опасное, въ виду страстей, которыя послѣ войны еще не остыли. Грибо вдовъ сознавалъ, что онъ вдетъ на върную смерть, и опасенія его оправдались. Въ январъ 1829 года во время возмущенія черни въ Тегеранъ Грибоъдовъ былъ убитъ. Россія потеряла въ немъ, быть можетъ, самаго умнаго и тонкаго дипломата того царствованія, помимо того, что она теряла въ немъ крупнаго писателя, который сталъ знаменитостью съ того момента, какъ начали появляться въ рукописяхъ списки его комедіи "Горе отъ ума".

Въ этой комедіи заключено все литературное на-

слъдство Грибовдова, такъ какъ всъ остальные его драматическіе опыты никакой художественной стоимости

Первая мысль "Горе отъ ума" явилась Грибовдову. кажется, въ 1816 году. Въ продолжение долгихъ лътъ эта мысль приводилась въ исполнение, и авторъ урывками, когда ему позволяли его занятія, надъ ней работалъ. Въ 1823 году комедія, кажется, была закончена, но печати при жизни автора не увидъла. Точно также безуспъшны были всъ попытки поставить ее на сцену, Она попала сразу въ разрядъ какъ бы запрещенныхъ произведеній, хотя самъ авторъ былъ внъ всякихъ подозрѣній; да и въ самой пьесѣ не было на первый взглядъ ничего такого, что могло бы обезпокоить цензуру.

Но цензура, и въ особенности театральная, не могла, конечно, съ этой пьесой помириться; она въ ней видъла прямое обличение и Екатерининской старины, которая была еще жива, и Аракчеевскаго режима, который процвъталъ. Послъ 1825 года цензура должна была насторожиться еще болье, такъ какъ главное лицо въ пьесъ напоминало слегка тъхъ молодыхъ людей, съ которыми правительству пришлось въ 1825 году посчитаться. Тъсную связь комедіи съ переживаемымъ моментомъ читатель однако понялъ и оцфиилъ сразу: онъ занялся перепиской комедіи, и она въ безчисленныхъ спискахъ разлетълась по всей Россіи.

3. Комедія Грибоъдова, какъ уже было сказано, неоднократно возбуждала возраженія со стороны своего внъшняго и внутренняго выполненія. Многіе отрицали ея право на названіе комедіи, или если признавали ее за таковую, то не хотъли согласиться въ томъ, что она-

комедія чисто русская.

Дъйствительно, на ней безспорно замътны слъды вліянія театральной техники французскаго классицизма. Въ комедіи соблюдено, наприм'єръ, единство м'єста (домъ Фамусова) и единство времени (съ утра одного дня до его вечера). Остался въ комедіи среди чисто русскихъ типовъ и какъ будто не совсѣмъ русскій типъ Лизы—не то субретки, не то наперсницы. Защитники Грибоъдова, впрочемъ, утверждаютъ, что такіе типы дворовыхъ были возможны; что сънныя дъвушки,

камеристки могли стать въ очень интимныя отношенія къ своимъ господамъ. (Фактъ не невъроятный, но мемуарами и литературой того времени не подтверждающійся). Несомнівню, что во всіху этих в мелочах замітны отголоски литературнаго чтенія Грибо дова и неизбъжная въ его положеніи малая опытность русскаго дра-

матическаго писателя.

Но кромъ этого комедію можно обвинить въ очень тенденціозномъ подборъ типовъ. Положимъ, извъстный выборъ типовъ всегда необходимъ даже для писателя ультрареальнаго направленія. Но когда видишь, что такіе избранные типы, каждый порознь, являются выразителями опредъленныхъ чувствъ и понятій, доведенныхъ по крайняго своего выраженія, что они, такъ сказать, символы извъстныхъ пороковъ, облеченные въ человъческій образъ, и при этомъ каждый изънихъ-выразитель непремънно одного какого-нибудь порока или смъшной крайности, - тогда начинаешь подозръвать автора въ извъстной тенденціозной группировкъ типовъ, въ стремленіи не изобразить жизнь только, а въ стремленіи этимъ изображеніемъ доказать нѣчто. Въ этомъ отношеніи любопытно сравнить "Горе отъ ума", напримъръ, съ "Ревизоромъ", гдъ также подобрана цълая кунсткамера. Въ "Ревизоръ" передъ нами все-таки люди, хоть, можеть быть, слишкомъ смѣшные, -- но люди, и ни про одного изъ этихъ людей нельзя сказать, что онъ-олицетворенный какой-нибудь порокъ, что онъ-символъ какого-нибудь до крайности доведеннаго смъшного взгляда на жизнь. Всъ герои "Ревизора"-пустые, пошлые и порочные люди, но въ розницу они всъ въ жизни встръчаются, и только ихъ встрѣча въ гостиной городничаго можеть быть названа случайностью. Встрътиться въ жизни съ героями "Горя отъ ума" значительно труднъе, и, кажется намъ, даже невозможно. Мы можемъ подмътить въ людяхъ фамусовскія, молчалинскія, репетиловскія наклонности, болъе или менъе ясно обнаруженныя, но съ Гриботьдовскими героями едва ли судьба насъ свести можетъ. Предположить, что они существовали въ свое время и исчезли, также едва ли будетъ основательно, такъ какъ всъ до сихъ поръ опубликованные матерьялы изъ жизни "Грибо тдовской Москвы" даютъ намъ типы лишь слегка похожіе на тѣ, которые обрисованы Грибоѣдовымъ. Это не исключаетъ возможности, что самъ Грибоѣдовъ, вырисовывая какой-нибудь изъ своихъ типовъ, имѣлъ предъ глазами живыхъ людей, которыхъ наблюдалъ. Разсказываютъ, напримѣръ, что онъ актерамъ передавалъ подробности изъ жизни такихъ "оригиналовъ".

Если сами типы "Горе отъ ума" гръщатъ извъстной общностью и геніальны какъ сатирическіе символы, но мало правдоподобны какъ живые портреты, то и сборище ихъ въ одномъ домѣ не есть случайность, а предумышленно созванное собраніе, для того, чтобы дать возможность автору или главному дъйствующему лицу произвести надлежашій смотръ и оцінку всіхъ собравшихся чудаковъ. Такой смотръ, дъйствительно, и происходитъ, начиная съ ранняго утра до поздняго вечера въ домѣ Фамусова. Уже давно было замѣчено, что и самый ходъ развитія драматическаго дѣйствія заключаетъ въ себъ много странностей, плохо вяжущихся съ тъмъ, что называется правдоподобностью. Ночной концертъ Софьи и Молчалина, прітвять свътскаго молодого человъка въ аристократическій домъ прямо съ дороги въ дорожномъ костюмъ раннимъ утромъ, его обличительная ръчь противъ всъхъ родственниковъ любимой имъ дъвушки, ръчь, сказанная послъ перваго же привътствія, его нежеланіе сказать съ хозяиномъ двухъ словъ при встрѣчѣ послѣ долгой разлуки; неожиданная прогулка Молчалина, зимой верхомъ, монологъ Чацкаго на балу, когда онъ разражается цълой филиппикой въ пустое пространство, наконецъ, весь четвертый актъ, когда Чацкій прячется незамътно отъ швейцара, и финальный скандалъ, какой Фамусовъ устраиваетъ своей дочери при всей прислугь, - все это отдъльныя сцены, которыя, конечно, могли случиться въ видъ исключенія, но при обычномъ теченіи жизни едва ли имъли мъсто. Автору онъ, впрочемъ, были очень нужны, такъ какъ каждая изъ этихъ сценъ давала ему отличный поводъ для дальнъйшаго развитія дъйствія.

Всѣ эти замѣчанія теряютъ, конечно, свою силу, если "Горе отъ ума" признать сатирой, не претендующей

на названіе художественной "комедіи".

Какъ сатира, бичующая въ человъческихъ образахъ извъстныя ходячія тогда понятія и извъстныя формы гражданской и личной морали, "Горе отъ ума"—неподражаемо сильное и злое произведеніе; и въ особенности сильно должно было быть впечатлѣніе, производимое имъ на современниковъ, для которыхъ всѣ эти сатирическіе символы были итогомъ взглядовъ и понятій, среди которыхъ они жили, и кромѣ того самыхъ живыхъ повседневныхъ, а не понятій общаго характера, какими они стали теперь для насъ, за давностью лѣтъ.

Но кром'в того—и это самое главное—въ комедіи былъ поднять одинъ животрепещущій вопросъ, стоявшій тогда на очереди, на виду у вс'єхъ и поглощавшій всеобщее вниманіе. Это былъ вопросъ, неизм'єнно возникающій при органическомъ развитіи всякой общественной жизни, вопросъ о старомъ и молодомъ покол'єніи,

объ "отцахъ и дътяхъ".

Бываютъ эпохи, когда этотъ вопросъ разрѣшается какъ-то тихо, хотя всегда не мирно, когда въ жизни не ощущается особенно сильнаго перелома и когда между отцами и дътьми устанавливается извъстнаго рода компромиссъ, позволяющій имъ ужиться безъ ръзкихъ столкновеній. Случается однако, что такое неизбъжное столкновение молодого и стараго совпадаетъ съ эпохой крайне возбужденной общественной или политической жизни народа. Естественно, что споръ между отцами и дътьми принимаетъ тогда болъе острый характеръ. Такъ было и въ тъ годы, когда писалось "Горе отъ ума", въ концъ царствованія Императора Александра Павловича. Молодежь, которая подросла къ этому времени, которая родилась въ самомъ началъ въка, сентиментальная, либерально настроенная молодежь была свидътельницей великихъ событій. Ростъ нашего національнаго самосознанія послъ наполеоновскихъ войнъ, быстрое расширеніе политическаго кругозора, запасъ впечатлъній, вынесенныхъ изъ общенія прямого или книжнаго съ Западомъ, пробужденіе общественной самод'ятельности въ разныхъ областяхъ жизни, -- всъ эти впечатлънія, мысли и ощущенія отразились на повышеніи въ молодыхъ людяхъ интеллигентнаго круга-чувства см'влости, сознанія собствен-

наго достоинства и увъренности въ своихъ силахъ, отразились и на гордости ихъ и на самомнънии, на ръшительности въ осуждении всего того, что стариной отзывалось. Во многомъ молодежь была, конечно, права, и многое въ старинъ заслуживало осужденія, -- но какъ въ такихъ случаяхъ всегда бываетъ-гнъвъ противъ этой старины и насмъшки надъ ней росли въ молодыхъ устахъ и головахъ гораздо быстръе, чъмъ росла сама работа этого молодого поколънія на пользу общества. Противъ поступковъ и мыслей стариковъ, надъ которыми молодежь смъялась и которыхъ она осуждала, она могла выставить пока еще только свои объщанія и пожеланія, и единственнымъ пока оружіемъ въ ея рукахъ было острое слово-безпощадное и смълое, которое, конечно, было тымъ безпощадные и смылые, чъмъ меньше была житейская опытность обличителя.

Само собою разумъется, что на эту обличительную ръчь старшее поколъніе не отвъчало улыбкой. Столкновеніе между стариками и ихъ наслъдниками становилось неизбъжно и оно должно было принять характеръ довольно острый, въ особенности въ тъхъ дворянскихъ семьяхъ стараго закала, въ которыхъ были живы традиціи недавней старины двухъ предшествующихъ царствованій. Появленіе въ такихъ семьяхъ молодыхъ людей, хотя бы съ самой скромной программой жизни, построенной на новыхъ взглядахъ, людей, отнюдь не разрушителей или вольнодумцевъ, а просто моралистовъ и слегка либераловъ—всегда могло грозить скандаломъ. Старики преувеличивали опасность и вредъ направленія новой мысли, а люди молодые могли дойти до огульнаго отрицанія всего существующаго.

Вотъ этотъ-то вопросъ о положеніи молодого человѣка среди стараго общества—вопросъ необычайной важности и интереса и положилъ Грибоѣдовъ въ основаніе своей сатиры. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что эта тема, жизненная и вполнѣ современная, допускала возможность совсѣмъ иной литературной обработки. Она могла служить канвой для широкой повѣствовательной картины, для романа или повѣсти, какъ она и послужила много лѣтъ спустя, когда въ шестидесятыхъ годахъ опять обострились отношенья между дѣтьми и

отпами. Но мы знаемъ, что эпоха, о которой мы говоримъ, была крайне неблагопріятна для такихъ бытописательныхъ повъстей и романовъ. Художнику эта форма не давалась за малымъ его литературнымъ опытомъ и въ виду очень яснаго субъективнаго его отношенія ко всъмъ явленіямъ окружающей его дъйствительности. Перевъсъ субъективнаго элемента въ творчествъ не позволилъ художнику написать на эту тему и вполнъ художественной объективной комедіи. Въ его распоряженьи была единственная форма, именно форма сатиры, которая позволяла ему одновременно ръзко подчеркнуть свое личное отношеніе къ вопросу и въ то же время не упустить бытовой стороны, выразивъ ее въ нъсколькихъ характерныхъ и ръзко очерченныхъ типахъ.

Но, втискивая означенный широкій вопросъ въ тѣсныя рамки сатиры въ драматической формѣ, авторъ неизбѣжно долженъ былъ допустить нѣсколько условностей. Нѣкоторыя изъ нихъ онъ допустилъ умышленно,

другія былъ вынужденъ сдѣлать.

Онъ долженъ былъ прежде всего, чтобы не разбить впечатлънія, стустить краски при обрисовкъ старины, съ которой враждовало молодое поколъніе. Нътъ сомнънья, что эта старина вовсе не была такъ безнадежно тупа, глупа и пошла, какъ она обрисована въ комедіи. Въ высшемъ дворянскомъ кругу попадались въдь не одни только Фамусовы, Хлестовы, Тугоуховскіе и К°. Было въ немъ много людей и просвъщенныхъ и прогрессивныхъ и съ несомнънными заслугами. Но такимъ людямъ не мъсто было въ этой сатиръ, если только авторъ желалъ, чтобы его Чацкій сдълалъ старикамъ строгій выговоръ. А авторъ, несомнънно, желалъ этого. Такимъ образомъ, въ комедіи бытовой, гдъ впервые передъ зрителемъ являлось старое дворянское поколъніе Екатерининскаго времени, весь этоть классъ людей быль представлень во образъ какихъ-то нравственныхъ уродовъ. Точно также военный классъ того времени-и среди военныхъ въ особенности полковники, т. е. люди средняго возраста-едва ли могъ быть подведенъ подъ общій Скалозубовскій типъ. Война 12-го года, въ которой Скалозубъ принималъ участіе, сохранила намъ много образовъ и типовъ, совсъмъ на него непохожихъ. Но Грибоъдову былъ нуженъ именно онъ, для сатиры, которая могла одновременно бить по старинъ Павловскаго времени и по Аракчееву. Наконецъ, все ръзче подчеркивая рознь между молодымъ энтузіастомъ и средой, которая его не признаетъ, авторъ пожелалъ создать фигуру для контраста—фигуру также молодого человъка, но такого, какимъ старики желали бы видъть представителя подрастающаго покольнія. И въ гостиной Фамусова появился Молчалинъ— опять олицетвореніе извъстнаго порядка мыслей и чувствъ, но отнюдь не живое лицо. Таковы были условности, которыя были нужны сатирику и которыя онъ допустилъ

вполнъ обдуманно. Были и другія, въ которыхъ авторъ быль почти что неволенъ, такъ какъ онъ ему были продиктованы извиъ. Мы разумъемъ цензурныя условія, которыя принудили автора умолчать о многомъ, о чемъ конечно, нужно было говорить. Выводя на сцену молодого человъка въ боевой позъ, какъ обличителя цълаго общественнаго уклада нужно было, конечно, хорошо вооружить его и убъжденіями и знаніями. Такія убъжденія и взгляды авторъ, конечно, имълъ, но передать ихъ своему герою онъ былъ не въ состоянии. Что знаемъ мы, напримъръ, о религіозныхъ, о политическихъ взглядахъ Чацкаго? Слъдовъ этихъ взглядовъ мы не найдемъ въ комедіи, но если мы вспомнимъ какъ этими вопросами интересовалось подрастающее покольніе, какимъ предметомъ спора и вражды между стариками и молодыми были, напримъръ, вопросы политики внутренней и внъшней, то отсутствіе даже намека на нихъ въ комедіи очень сбиваетъ читателя. Вся серьезная сторона въ столкновении стараго съ новымъ освъщена въ комедіи лишь туманными выходками Чацкаго противъ иностранцевъ. Но вина въ данномъ случаъ не автора. Поднять эти вопросы на сценъ было невозможно, тъмъ болъе, что и безъ нихъ комедія была сочтена достаточно опасной. Приходилось, такимъ образомъ, молчать, пожалуй, о самомъ главномъ и изыскивать способы чъмънибудь заполнить этотъ пробълъ. Но заполнить его было нечемъ: онъ такъ и остался, и всъ, кто читалъ

комедію или смотрѣлъ на нее, выносили впечатлѣніе, что главный герой въ обрисовкѣ автора вышелъ очень неяснымъ: чувства его всѣмъ понятны, но что онъ думаетъ, во что онъ вѣритъ, чѣмъ замѣнилъ бы онъ то, что отрицаетъ, — на это нѣтъ точныхъ указаній въ цьесѣ.

Давно уже было зам'ячено, что любовной интригъ отведено въ пьесъ слишкомъ много мъста. Впечатлъніе отъ этой интриги какъ бы отодвигаетъ на задній планъ всю идейность протеста Чацкаго и главнымъ источникомъ его негодованія, его филиппикъ является какъ будто уязвленное самолюбіе непризнаннаго любовника. Что было бы, если бы Софья Павловна бросилась ему на шею? Неужели онъ помирился бы и съ Фамусовымъ, и съ Молчалинымъ, и съ Скалозубомъ? Легко возможно, если брать его таковымъ, какимъ онъ стоитъ передъ нами въпьесъ, и не дополнять всъхъ его словъ тъми словами, которыхъ онъ не успълъ или не могъ сказать. Вся комедія въ сущности построена на его любви, и эта любовь, быть можеть, извиняеть и его ранній прівздъ въ домъ Фамусова и его небрежное отношеніе къ хозяину дома, и его наскокъ на Сколозуба и Молчалина и, наконецъ, это послъднее странное по своей напыщенности ръшеніе: "Вонъ изъ Москвы". Но, зная глубокій умъ автора, его широкій умственный кругозоръ, нельзя подумать, чтобы именно эту личную обиду Чацкаго онъ чувствовалъ такъ больно. И можетъ прійти въ голову мысль-не потому ли авторъ такъ налегъ на эту любовную исторію, что въ болѣе широкомъ развитіи дъйствія онъ быль несвободень? Не потому ли оскорблена такъ сильно въ Чацкомъ любовь, чтобы заставить его почувствовать непримиримую вражду къ этимъ людямъ, къ которымъ онъ долженъ чувствовать эту вражду и помимо отвергнутой любви, въ силу принципіальной своей розни съ ними по вопросамъ, гораздо болъе существеннымъ, чъмъ личное чувство? Не есть ли эта оскорбленная любовь своего рода символъ непримиримаго несогласія во всъхъ взглядахъ? Если такъ понять ее, то и роль Молчалина въ этой любви станетъ болъе правдоподобна. Любовь Софьи Павловны къ Молчалину всегда возбуждала недоумъніе. Что она нашла

въ немъ? Положимъ, она души его не знала. Онъ игралъ съ ней въ любовь и все больше молчалъ или говорилъ сентиментальныя приторности. Но все же —не могла она не замътить, ну если не пошлости, то хоть пустоты этого человъка, а между тъмъ любовь ея искренняя, а не простое кокетство. Иногда эту любовь объясняли нельпымъ воспитаніемъ; быть можеть - но возможно предположить также, что эта любовь навязана ей авторомъ въ цъляхъ болъе ръзкаго оттъненія душевной трагедіи Чацкаго. Отвергнутая любовь да еще перенесенная на недостойнаго человъка - хорошій драматическій рычагъ. Онъ могъ быть нуженъ, чтобы пропасть между Чацкимъ и окружающимъ его обществомъ сдълать еще глубже. Во всякомъ случать и любовь Чацкаго и его соперничество съ Молчалинымъ никакъ не могутъ быть признаны за основную пружину всего драматическаго дъйствія, а между тъмъ по пьесъ оно такъ выходитъ. Впрочемъ, кто знаетъ, -можетъ быть, авторъ руководился въ данномъ случать старой литературной традиціей, которая любовную интригу дълала обязательной для всякой пьесы, хотя бы ея основная идея ничего общаго съ любовными дълами не имъла.

Мы видимъ, такимъ образомъ, какъ трудно было автору втъснить въ рамки драматической сатиры вопросъ—необычайно широкій и необычайно важный по

своему общественному значенію.

4. Нѣтъ нужды давать характеристики всѣхъ дѣйствующихъ лицъ комедіи. Большинство изъ нихъ такъ ясно очерчено, что добавлять къ словамъ автора нечего Но на главномъ лицѣ комедіи—на Чацкомъ прійдется остановиться, такъ какъ онъ одинъ изъ всѣхъ допускаетъ разнорѣчивое толкованій. И, дѣйствительно, такихъ разнорѣчивыхъ толкованій накопилось въ нашей литературѣ большое количество. Каждое поколѣніе выступало со своей оцѣнкой этого лица, и одно это обстоятельство указываетъ на глубокій смыслъ появленія въ обществѣ такихъ людей, какъ этотъ молодой энтузіастъ, обличитель, попадающій въ смѣшное положеніе.

Что хотълъ авторъ сказать этимъ смъшнымъ положеніемъ, въ которое героя поставилъ? Заслуживалъ ли

Чацкій этого? Если принять во вниманіе, что мы говорили выше, то—нѣтъ, потому что повидимому это типъ положительный. Въ молодомъ поколѣніи Александровскаго царствованія мы замѣчаемъ безспорное стремленіе критиковать старину, смѣлое отрицаніе старыхъ устоевъ жизни, много огня въ сердиѣ, много экзальтированности въ чувствахъ, большую порывистость въ мысляхъ—качества, которыми такъ блещетъ герой комедіи Грибоѣдова. Если по многимъ вопросамъЧацкій не имѣетъ, что сказать, то, какъ выше указано, онъ, быть можетъ, молчитъ поневолѣ.

Но можно сдълать другое предположение. Что, если у Чацкаго, на самомъ дълъ, не было никакихъ установившихся взглядовъ ни на одинъ серьезный вопросъ жизни? Что, если Грибовдовъ отлично зналъ, что у его героя такихъ отвътовъ не имъется, и что, если онъ Чадкаго вывелъ на сцену не для того, чтобы имъ любоваться или кому-нибудь его ставить въ примъръ? Возможно, что нашъ сатирикъ, наблюдая за молодежью своего времени, отмътилъ въ ней ея экзальтированность, не прикрытую никакими убъжденіями, ея недовольство окружающимъ, безъ возможности указать на способы плодотворной борьбы съ ней, ея увлечение словомъ, не подкръпленнымъ дъйствіемъ, ея жаромъ душевнымъ, который самъ себя пожираетъ и ни на какое дъло не направляетъ ни ума, ни чувства? Отмътивъ эти качества, которыя всегда во всякомъ молодомъ поколѣніи встрѣчаются, не желалъ ли нашъ сатирикъ указать на нихъ, какъ на нъчто не менъе нежелательное, чъмъ вся хваленая старина, достойная прямого осужденія? Припоминая, какой Грибофдовъ былъ практичный и дъловой человъкъ, какъ трезво онъ относился къ себъ самому, какъ трезво онъ смотрълъ на жизнь, какъ мало было въ немъ сентиментальнаго-можно предположить, что онъ съ одинаковой строгостью отнесся и къ старикамъ, и къ молодымъ и вовсе не былъ влюбленъ въ своего "Чадскаго", сердце котораго и горъло и чадило, и которому умъ пошелъ не на радость, а "на горе".

Есть въ комедіи два намека, которые, независимо отъ вопроса и личности Чацкаго, говорять въ пользу такого предположенія. Какъ разъ въ то время, когда

комедія Грибо вдова была закончена (1823), въ Москвъ начиналъ пользоваться извъстностью и уваженіемъ одинъ кружокъ молодыхъ людей, ревностно занимавшихся нъмецкой философіей. Цълые дни и ночи проводили эти молодые люди-изъ семей, Гриботдову знакомыхъ-въ спорахъ о самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ и вмъстъ съ тъмъ они состояли чиновниками на службъ въ архивъ министерства иностранныхъ дълъ. Это были большіе идеалисты и очень культурные люди, но, конечно, совствить не "дъловые". И вотъ въ ихъ компанію Грибофдовъ зачемъ-то поместилъ Молчалина, определивъ его въ тотъ же архивъ на службу *).

Затъмъ въ тъ же годы, когда Грибоъдовъ работалъ надъ своей комедіей, были уже сформированы такъ называемыя тайныя общества, завершившія свою діятельность политическимъ возстаніемъ 1825 года. Гриботдовъ быль хорошо осведомлень объ ихъ рость, такъ какъ имълъ среди ихъ членовъ много хорошихъ знакомыхъ.

И болъе чъмъ странны тъ слова, которыя онъ вложилъ въ уста Репетилову, и въ которыхъ заключенъ довольно прозрачный намекъ на эти тайныя общества.

 Поздравь меня, — говоритъ Репетиловъ Чацкому: — "теперь съ людьми я знаюсь съ умнъйшими... Изъ шумнаго я засъданія... Пожалуйста молчи-я слово далъ молчать. У насъ есть общество и тайныя собранія, по четвергамъ. Секретнъйшій союзъ. Вслухъ, громко говоримъ-никто не разберетъ. Я самъ, какъ схватятся о камерахъ, присяжныхъ, о Байронъ... о матерьяхъ важныхъ, частенько слушаю, не разжимая губъ. Что за люди! Сокъ умной молодежи... Ръшительные люди, горячихъ дюжина головъ; кричимъ-подумаешь, что сотни голосовъ! Шутимъ, братецъ, шумимъ... Не мъсто объяснять теперь и не досугъ, но-государственное дъло! оно, вотъ видишь, не созрѣло, нельзя же вдругъ.. что за люди!"

И затъмъ идетъ перечисленіе этихъ людей-чистая

кунсткамера пошляковъ:

Во-первыхъ, князь Григорій, Чудакъ единственный! насъ со смъху моритъ! Въкъ съ англичанами, все англійская складка. И такъ же онъ сквозь зубы говоритъ. И такъ же коротко обстриженъ для порядка. Ты не знакомъ? О. познакомься съ нимъ. Пругой-Воркуловъ Евдокимъ. Ты не слыхалъ, какъ онъ поетъ? О, диво! Послушай, милый, особливо Есть у него любимое одно:

"А нонъ ла-шьяръ ми но-но-но!" Еще у насъ два брата:

Левонъ и Боренька-чудесные ребята! Объ нихъ не знаешь, что сказать.

Но если генія прикажете назвать, Удушьевъ, Ипполитъ Маркелычъ! Ты сочиненія его

Читалъ ли что-нибудь? хоть мелочь? Прочти, братецъ! Да онъ не пишетъ ничего!

Вотъ этакихъ людей бы сѣчь-то, И приговаривать: писать, писать, писать! Въ журналахъ можешь ты однако отыскать Его отрывокъ: "Взглядъ и Нѣчто".

Объ чемъ бишь "Нѣчто"?-обо всемъ: Все знаетъ; мы его на черный день пасемъ; Но голова у насъ, какой въ Россіи нъту, Не нало называть, узнаешь по портрету:

Ночной разбойникъ, дуэлистъ, Въ Камчатку сосланъ былъ, вернулся алеутомъ,

И кръпко на руку нечистъ. Да умный человъкъ не можетъ быть не плутомъ! Когда-жъ о честности высокой говорить, Какимъ-то демономъ внушаемъ, Глаза въ крови, лицо горитъ, Самъ плачетъ, и мы всѣ рыдаемъ.

Можно, конечно, спросить—да декабристовъ ли имълъ въ виду Грибофдовъ? Быть можетъ, эти слова къ нимъ никакого отношенія не им'єють? можеть быть, сатирикъ говорилъ о какомъ-нибудь иномъ секретномъ обществъ, быть можеть, о какой-нибудь выродившейся массонской ложь (хотя свъдъній о таковой въ исторіи того времени не имъется)? Какъ бы то ни было, но во всякомъ случав намекъ "на государственное двло, которое еще не созръло", могь быть истолкованъ въ томъ смыслъ, какъ мы его понимаемъ; и Грибоъдовъ зналъ, что такое толкованіе будетъ сдълано, и тъмъ не менъе произвелъ Репетилова въ члены тайнаго политическаго общества. За что онъ кольнулъ и философовъ, и политиковъ? Быть можетъ, за излишнюю любовь къ слову?

^{*)} Въ комедіи, впрочемъ, не сказано въ какой архивъ, и намекъ вообще очень глухой.

А что, если и къ Чацкому, этому герою преимущественно словеснаго низложения всъхъ авторитетовъ, Грибоъдовъ относился иронически, и его сатира была, такимъ образомъ, не проповъдью съ опредъленнымъ положительнымъ содержаниемъ, а разносомъ и отцовъ, и дътей, и стараго и новаго, т. е. ихъ отрицательныхъ сторонъ, конечно? Все это, само собою разумъется, лишь предположения, но въ нихъ виновата неясность облика

главнаго героя *).

Нужно признать, что харастеристика Чацкаго по тъмъ указаніямъ, которыя намъ даетъ комедія, дъло не легкое. Изъ всъхъ типовъ это наиболъе колеблющійся и неопредъленный, и авторъ былъ очень скупъ на свъдінія объ этомъ повидимому ему очень близкомъ лиць. Мы не знаемъ ничего о дътствъ Чацкаго и его ранней юности, мы не знаемъ, какъ его воспитывали, не знаемъ лаже, кончилъ ли онъ какое-нибудь высшее учебное заведеніе. О чемъ онъ думалъ, чемъ занимался — намъ это неизвъстно. Есть глухое указаніе на какую-то его "связь съ министрами", но мало въроятно, чтобы у этого мальчика (а съ министрами онъ, очевидно, былъ знакомъ до своего отътзда изъ Россіи, когда ему было 18 лътъ) были какія нибудь серьезныя сношенія съ дъловыми людьми. Гдъ онъ пропадалъ три года? - спросимъ мы, и на этотъ вопросъ тоже нътъ отвъта. Онъ былъ, конечно, за границей, такъ какъ сказано, что онъ видълъ "свътъ" и уъхалъ "въ даль", а если бы онъ жилъ въ Петербургъ, то за три года навърное побывалъ бы въ Москвъ, хотя бы для того, чтобы посмотръть на Софью Павловну. Чъмъ онъ занимался за границей, въ какихъ кругахъ вращался-этой, для того времени очень важной справки намъ авторъ не даетъ. Наконецъ, куда увзжаетъ Чацкій и гдъ его оскорбленное чувство находить себъ уголокъ-на станціяхъ ли безконечной дороги, у себя ли въ усадьбъ (кстати, какъ онъ смотрълъ на эту свою обязанность пом'вщика? им'вніемъ, мы знаемъ, онъ управлялъ оплошно, но противъ крѣпостного правадекламировалъ хорощо) или, быть можетъ, опять за границей? Кто знаетъ? Онъ появляется передъ нашими глазами въ одно прекрасное утро, и ночью того же дня исчезаетъ, какъ таинственный незнакомецъ.

Въ комедіи ему выдается очень опредъленная аттестація: онъ очень гордъ и большой насмѣшникъ. Пока онъ не появлялся, эта насмъщливость располагаетъ въ его пользу, а не отталкиваетъ. Софья Павловна признается, что онъ славно умъетъ всъхъ пересмъять: болтаеть, шутить-и ей забавно. Ей кажется, что дълить смѣхъ можно со всякимъ. Признавая его умъ, остроту, и красноръче, признавая, что онъ умъетъ увлечь людей, Софья Павловна дълаетъ только одну оговорку: она полагаетъ, что онъ о себъ думаетъ слишкомъ высоко и что въ насмъшкъ его не столько критическаго отношенія къ жизни и серьезности, сколько самоуслажденія: "Онъ тамъ счастливъ, - говоритъ она, гдъ люди посмъшнъе". Она, очевидно, обвиняетъ Чацкаго въ томъ, что людей-то собственно онъ не любитъ и мало опечаленъ тъмъ, что въ нихъ такъ много смъшныхъ сторонъ. Она повидимому права, такъ какъ при первой же встръчъ Чацкій не щадить ея родственныхъ чувствъ и всъхъ ея родныхъ, начиная съ папаши, высмъиваетъ безпощадно. "Не человъкъ-змъя!" говоритъ уже теперь Софья Павловна и спрашиваеть его язвительно, случалось ли ему когда-нибудь о комъ-либо сказать доброе? Онъ очень удивленъ этимъ вопросомъ и не хочетъ върить, чтобы его слова могли кому-нибудь принести вредъ. "Если это случается, -говоритъ онъ, - то помимо его воли". Софья Павловна однако не можетъ признать въ немъ такого безобиднаго смѣха:

Хотите знать вы истины два слова?
Малъйшая въ комъ странность чуть видна—
Веселость ваша не скромна:
У васъ тотчасъ ужъ острота готова,

А сами вы...

Чацкій. А самъ? не правда ли, смъщонъ? Софья.

Да, грозный взглядь, и ръзкій тонъ... И этихъ въ васъ особенностей бездна; А надъ собой гроза куда не безполезна!

въ Самъ Грибовдовъ, впрочемъ, въ одномъ частномъ письмѣ (къ П. Катенину 1825) признавался въ полной своей симпатій къ Чацкому, но зато весь смыслъ своей комедіи сводилъ къ простой любовной интригъ.

Наконецъ въ смѣхѣ Чацкаго Софья Павловна начинаетъ подозрѣвать откровенное презрѣніе къ людямъ... Смирнѣйшему нѣтъ отъ Чацкаго пощады!

"Шутить, и въкъ шутить! Какъ васъ на это ста-

нетъ?!"

Она идетъ еще дальше и въ его смъхъ готова видьть лишь пустое тщеславіе. Она думаетъ, что онъ затъмъ ругаетъ весь свътъ, чтобы свътъ замътилъ его и о немъ сказалъ бы хоть что-нибуль.

И у Чацкаго не находится на эти довольно справедливыя зам'вчанія иного отв'єта, кром'є уже разъ ска-

заннаго:

Ахъ, Боже мой! неужли я изъ тѣхъ, Которыхъ цѣль всей жизни смѣхъ? Мнѣ весело, когда смѣшныхъ встрѣчаю, А чаще съ ними я скучаю.

Но на самомъ дѣлѣ, что же такое этотъ смѣхъ Чацкаго? Простая забава или, дѣйствительно, сознательная сатира, острая и ѣдкая?

Чацкій смъется двойнымъ смъхомъ. Когда онъ см'вется какъ Чацкій, какъ этотъ молодой баловень. капризный и самолюбивый - его смъхъ простое острословіе, дерзкое въ достаточной степени и необычайно колкое, но безъ всякой примъси какого-нибудь негодованія или скорби. Свѣтскій человѣкъ потѣшается надъ всеми окружающими. Когда же Чапкій начинаеть смъяться смъхомъ Грибоъдова, смъхомъ сатирика и судьи цълаго общества, тогда этотъ смъхъ насквозь пропитывается и негодованіемъ, и печалью. Это уже настоящій, обличительный смѣхъ человѣка, глубоко принимающаго къ сердцу тъ общественные недуги, надъ которыми ему приходится глумиться. Въ эти минуты Чацкій даже не смъется, а скоръе плачеть, и его знаменитые монологи становятся патетичны и глубоко серьезны. Они настолько серьезны и съ такимъ жаромъ сказаны, что отъ насъ ускользаетъ безспорная несерьезность повода, ихъ вызвавшаго. Въдь пока Чацкій лишь неудачный любовникъ – а говорить о томъ, какъ его обманула-родина. Услыхавъ, что его ославили безумнымъ (и кто ославилъ: г-нъ Загоръцкій, гг. Х. и У., княжны Тогоуховскія, Хлестова еtc.) онъ говоритъ "и

вотъ общественное мнюніе! и вотъ та родина! нѣтъ, въ нынѣшній пріѣздъ, я вижу, что она мнѣ скоро надо-ѣстъ!" Причемъ тутъ родина?—можемъ мы спросить. Неужели вся она умѣстилась въ гостиной Фамусова? Еще страннѣе, чтобы не сказать больше, послѣднія слова, съ какими Чацкій прощается съ нами;

Такъ! отрезвился я сполна. Мечтанья съ глазъ долой и спала пелена! Теперь не худо-бъ было сряду На дочь и на отца, И на любовника глуппа, И на весь міръ излить всю желчь и всю досаду. Съ къмъ быль? Кула меня закинула судьба? Всѣ гонять! всѣ клянутъ! мучителей толпа. Въ любви предателей, въ враждъ неутомимыхъ, Разсказчиковъ неукротимыхъ, Несклапныхъ умниковъ, лукавыхъ простяковъ, Старухъ зловъщихъ, стариковъ, Пряхлъющихъ надъ выдумками, вздоромъ!... Безумнымъ вы меня прославили всъмъ хоромъ-Вы правы: изъ огня тотъ выйдеть невредимъ, Кто съ вами день пробыть усиветъ, Подышить воздухомъ однимъ, И въ комъ разсудокъ уцѣлѣетъ! Вонъ изъ Москвы! сюда я больше не ѣздокъ. Бъгу, не оглянусь, пойду искать по свъту, Гдъ оскорбленному есть чувству уголокъ! Карету мнъ, карету!

И мы, -- но, конечно, въ иномъ смыслъ чъмъ Фамусовъ, -можемъ спросить, чемъ Москва провинилась передъ Чацкимъ, и не говорятъ ли эти слова о нъкоторой его умственной неуравновъшенности? Дъйствительно, бъжать изъ Москвы и мыкаться по свъту, потому что случай свелъ съ людьми, которыхъ имъещь право презирать, - нъсколько странно. Но весь комизмъ этихъ громкихъ словъ Чацкаго отъ насъ какъ-то ускользаетъ, потому что въ ушахъ нашихъ все звучатъ его страстные монологи и все намъ кажется, что передъ нами какой-то непризнанный пророкъ и обличитель, поборникъ идеаловъ молодого покольнія, человькъ, который съ радостью и гордостью говорить, что "если сравнить въкъ нынъшній и въкъ минувшій-свъжо преданіе, а върится съ трудомъ", что "нынче смъхъ страшитъ и стыдъ держитъ въ уздъ многихъ, которые раньше подличали откровенно".

Для насъ Чацкій все-таки какой-то герой благороднаго подвига и все потому, что онъ, трижды забывая самого себя и свою любовную канитель, выступилъ съ громогласнымъ, сильнымъ и серьезнымъ словомъ. Въ первый разъ онъ—не успъвъ еще опомниться отъ впечатлънія первой встръчи съ Софьей Павловной—нашелъ-таки возможность сказать нъсколько теплыхъ и правдивыхъ словъ о нашихъ общественныхъ язвахъ, о кръпостномъ состояніи, объ обскурантахъ и системъ воспитанія. Положимъ, ръчи эти были не кстати, но все же искренни:

А наше солнышко, нашъ кладъ? На лбу написано: театръ и маскарадъ; Домъ зеленью расписанъ въ видъ рощи,

Самъ толстъ, его артисты тощи... На балъ, помните, открыли мы вдвоемъ За ширмами, въ одной изъ комнатъ посекретнъй, Былъ спрятанъ человъкъ и щелкалъ соловьемъ

Пъвецъ зимой погоды лътней.

А тотъ, чахоточный, родня вашъ—книгамъ врагъ, Въ ученый комитетъ который поселился

И съ крикомъ требовалъ присягъ, Чтобъ грамотъ никто не зналъ и не учился?... Опять увидъть ихъ мнъ суждено судьбой!

Ахъ! къ воспитанью перейдемъ: Что нынче, такъ же, какъ издревле,

Хлопочутъ набирать учителей полки, Числомъ поболъе, цъною подешевле?

Не то, чтобы въ наукъ далеки:
Въ Россіи подъ великимъ штрафомъ,
Намъ каждаго признать велятъ
Историкомъ и географомъ!
Нашъ менторъ.—помните, колдакъ его, халатъ,

Нашъ менторъ.—помните, колпакъ его, халатъ, Перстъ указательный, всѣ признаки ученья, Какъ наши робкіе тревожили умы!...

Затъмъ тъ же мысли, но съ еще большей силой и уже съ явнымъ негодованіемъ онъ повторилъ при Скалозубъ.

А судьи кто?.. За древностію лѣтъ, Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима; Сужденья черпаютъ изъ забытыхъ газетъ Временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма; Всегда готовые къ журьбъ,

Всегда готовые къ журьбѣ, Поютъ все пѣснь одну и ту же, Не замѣчая о себѣ,

Что старъе, то хуже. Гдъ, укажите намъ, отечества отцы, Которыхъ мы должны принять за образцы?

Не тѣ ли, что, грабительствомъ богаты,
Защиту отъ суда въ друзьяхъ нашли въ родствѣ,
Великолѣпныя соорудя палаты,
Гдѣ разливаются въ пирахъ и мотовствѣ,
И гдѣ не воскресятъ кліенты иностранцы
Прошедшаго житья подлѣйшія черты?
Да и кому въ Москвѣ не зажимали рты
Обѣды ужины и танцы?
Не тотъ ли вы къ кому меня съ целенъ

Не тотъ ли вы, къ кому меня съ пеленъ, Для замысловъ какихъ-то непонятныхъ, Дътей возили на поклонъ?

Тоть Несторь негодяевь знатныхь Толпою окруженный слугь? Усердствуя, они, въ часы вина и драки, И жизнь, и честь его не разъ спасали; вдругъ На нихъ онъ вымъняль борзыя три собаки! Или вонъ тотъ еще, который для затъй На кръпостной балеть согналъ на многихъ фурахъ Отъ матерей, отцевъ отторженныхъ дътей? Самъ погруженъ умомъ въ зефирахъ и амурахъ, Заставилъ всю Москву дивиться ихъ красъ;

Но кредиторовъ тъмъ не согласилъ къ отсрочкъ: Амуры и зефиры всъ

Распроданы по одиночкъ!
Вотъ тъ, которые дожили до съдинъ!
Вотъ уважать кого должны мы на безлюдьи!
Вотъ наши строгіе цънители и судьи!

Теперь пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,
Не требуя ни мъстъ, ни повышенья въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ умъ, алчущій познаній;
Или въ душъ его самъ Богъ возбудитъ жаръ
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ

Они тотчасъ: разбой! пожаръ! И прослывешь у нихъ мечтателемъ опаснымъ. Мундиръ! одинъ мундиръ! Онъ въ прежнемъ ихъ быту Когда то укрывалъ, расшитый и красивый, Ихъ слабодушіе, разсудка нищету;

И намъ за ними въ путь счастливый? И въ женахъ, дочеряхъ къ мундиру та же страстъ... Я самъ къ нему давно-ль отъ нѣжности отрекся? Теперь ужъ въ это мнѣ ребячество не впасть.

Собесъдникъ, положимъ, былъ выбранъ неудачно, но ръчь опять была отъ души и полна очень искренняго воодушевленія.

Наконецъ въ третьемъ актъ, сначала передъ Софьей, а затъмъ въ пространство, Чацкій разражается своимъ послъднимъ монологомъ. Это тотъ знаменитый

монологъ въ которомъ Чацкій силится разобраться въ вопросъ о нашемъ національномъ чувствъ и о подражаніи иноземному:

Софья

Скажите, что васъ такъ гнѣвитъ?

Чапкій.

Въ той комнатѣ незначущая встрѣча: Французикъ, изъ Бордо, надсаживая грудь,

Собралъ вокругъ себя родъ въча

И сказываль, какъ снаряжался въ путь Въ Россію, къ варварамъ, со страхомъ и слезами; Пріъхаль—и нашелъ, что ласкамъ конца: Ни звука русскаго, ни русскаго лица Не встрътилъ: будто бы въ отечествъ, съ друзьями—Своя провинція! Посмотришь, вечеркомъ Онъ чувствуетъ себя здъсь маленькимъ царькомъ! Такой же толкъ у дамъ, такіе же наряды...

Онъ радъ, но мы не рады. Умолкъ. И тутъ со всъхъ сторонъ Тоска, и оханье, и стонъ:

"Ахъ! Франція! Нътъ въ міръ лучше края!"— Ръшили двъ княжны-сестрицы, повторяя Урокъ, который имъ изъ дътства натверженъ.

Куда дъваться отъ княженъ? Я одань возсылалъ желанья Смиренныя,—однако вслухъ,—

Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ Пустого, рабскаго, слъпого подражанья; Чтобъ искру заронилъ онъ въ комъ-нибудь съ душой,

Кто могъ бы словомъ и примъромъ Насъ удержать, какъ кръпкою вожжей, Отъ жалкой тошноты по сторонъ чужой.

Пускай меня объявять старов вромь, Но хуже для меня нашь Съверь во сто крать Съ тъхъ поръ, какъ отдаль все въ обмънъ на новый ладъ, И нравы, и языкъ, и старину святую,

И величавую одежду на другую

По шутовскому образцу:

Хвостъ сзади, спереди какой-то чудный выемъ, Разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ; Движенья связанны и не краса лицу. Смъшные, бритые, съдые подбородки!.. Какъ платье, волосы, такъ и умы коротки!.. Ахъ, если рождены мы все перенимать, Хоть у китайцевъ бы намъ нъсколько занять Премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ! Воскреснемъ ли когда отъ чужевластья модъ, Чтобъ умный, добрый нашъ народъ

Хотя по языку насъ не считалъ за нѣмцевъ? "Какъ европейское поставить въ параллель

"Съ національнымъ—странно что-то! "Ну, какъ перевести мадамъ, мадмуазель? Ужли—сударыня?"—забормоталъ мнъ кто-то...

Вообразите, тутъ у всѣхъ
На мой же счетъ поднялся смѣхъ.
"Сударыня! ха! ха! ха! ха! прекрасно!
"Сударыня! ха! ха! ха! ужасно!"
Я, разсердясь и жизнь кляня,

л, разсердясь и жизнь кляня, Готовилъ имъ отвъть громовый,— Но всъ оставили меня.

Вотъ случай вамъ со мною, —онъ не новый. Москва и Петербургъ во всей Россіи то

Что человъкъ изъ города Бордо
Лишь ротъ открылъ—имъетъ счастье
Во всъхъ княженъ вселять участье
И въ Петербургъ, и въ Москвъ.

Кто недругь выписныхъ лицъ, вычуръ, словъ кудрявыхъ, Въ чьей, по несчастью, головъ

Пять-шесть найдется мыслей здравыхъ,

И онъ оемълится ихъ гласно объявлять-

Монологъ сказанъ опять некстати, и въ немъ есть довольно опасная логическая туманность (Фамусовъ, напримъръ, былъ тоже противъ иностраннаго вліянія на нашъчисто русскій укладъ жизни). Но наболъвшая душа Чацкаго въ немъ все-таки видна.

Итакъ, передъ нами собственно два Чацкихъ: одинъ влюбленный юноша, "франтъ—пріятель, отъявленъ мотомъ, сорванцомъ", какъ его аттестуетъ Фамусовъ; гордый, самолюбивый юноша, насмъшникъ и насчетъ идей довольно беззаботный. Другой—серьезный обличитель разныхъ общественныхъ недуговъ, сатирикъ, съ большой дозой гражданской скорби съ очень горячей душой.

Первый ведетъ себя не умно: плохо знаетъ женское сердце и пренебрегаетъ приличіемъ: любовную интригу ведетъ крайне неумѣло и на каждомъ шагу рискуетъ подставить себя подъ цѣлый рядъ непріятныхъ замѣчаній со стороны людей, которыхъ онъ имѣетъ всѣ основанія не уважать. Фамусовъ былъ правъ, когда сказалъ ему: "Поди-ка, послужи!"—напирая на то, что онъ ни къ какому дѣлу не приткнутъ; ему и Скалозубъ могъ замѣтить: "Я все-таки сидѣлъ въ траншеѣ, а — вы?" Наконецъ, и Молчалинъ, если бы онъ собрался съ духомъ, могъ бы намекнуть Чацкому, что онъ, Молчалинъ, все-таки тру-

дится и зарабатываеть себъ кусокъ хлъба, а Чацкій

живеть на даровыхъ хлъбахъ.

Второй Чацкій — тотъ ведетъ себя тоже не умно, потому что говоритъ всегда некстати и передъ лицами глухими. Но рѣчь его умна и полна темперамента и смысла, полна искренняго увлеченія предметомъ, о которомъ она трактуетъ. Видно, что онъ велъ долгія бесѣды съ Грибоѣдовымъ. Но изъ этихъ рѣчей нельзя себѣ составить яснаго понятія объ его міросозерцаніи.

Мы не знаемъ, насколько этотъ представитель молодого поколънія отстаетъ отъ своего времени или опережаетъ тогдашнее движеніе религіозной, общественной и политической мысли. Мы знаемъ только, что противъ старины онъ возстаетъ во имя туманнаго, но весьма честнаго идеала. Онъ, конечно, не консерваторъ, но онъ и либералъ безъ программы. Въ единственномъ вопросъ, по которому онъ высказывается болъе подробно,—по вопросу о національномъ чувствъ, онъ, кажется, склоняется въ сторону націонализма и очень подозрительно смотритъ на иноземное вліяніе. Онъ правъ, потому что обрушивается на смъшныя стороны этого подражанія, но гдъ граница между смъшнымъ и вреднымъ подражаніемъ и полезнымъ заимствованіемъ—онъ не указываетъ.

Если, дъйствительно, такіе Чацкіе встръчались въ самой жизни, то это были образцы еще совсъмъ не сформировавшихся молодыхъ людей, большихъ энтузіастовъ и критикановъ, въ сердиъ и умъ которыхъ бродили всъ мысли и чувства; эти люди понимали, что такъ жить, какъ живутъ старики,—нельзя, но они даже для собственнаго обихода не имъли пока еще сознанія

яснаго новаго пути.

Не хотълъ ли Грибоъдовъ, покончивъ съ отжившей стариной, посмъяться и надъ зеленой молодежью? Здъсь

широкое поле для всякихъ догадокъ.

5. Комедія "Горе отъ ума" занимаетъ, какъ видимъ, совершенно исключительное мъсто въ ряду памятниковъ своего времени. Помимо того, что въ ней литературный языкъ, повседневный, трезвый и образный достигаетъ высшей степени художественнаго совершенства, она и въ эстетическомъ отношеніи, въ какое ху-

дожникъ становится къ своему матерьялу, обнаруживаетъ извъстное отклоненіе отъ общепризнанныхъ направленій и вкусовъ того времени. Все-таки никто до Гриботрова не придвигалъ типы, которые создавались фантазіей художника, такъ близко къ дъйствительной жизни, какъ онъ; никто не ставилъ эти типы въ такую реальную обстановку, какъ онъ. Но настоящимъ реалистомъ въ искусствъ Гриботрова назвать нельзя. Слишкомъ много, какъ мы видъли, было условностей въ созданіи типовъ и въ ихъ подборъ. Старина была сатирически осмъяна и обличена, но не выведена на сцену въ ея художественной цъльности и объективности. Сцена была заполнена скоръе пороками, чудачествами и странностями, чъмъ живыми людьми.

Посредникомъ между зрителемъ и дъйствующими лицами оставался самъ авторъ, который одну часть своего "я" уступилъ на время Чацкому—что не помъшало ему высмъять этого Чацкаго и поставить его въглупое положеніе. Одинаково сердито отнесся авторъ ко всѣмъ своимъ героямъ, никого не ставя на пьедесталъ и показывая, какъ неизмъримо высоко стоялъ надъ всѣми онъ самъ со своимъ трезвымъ сужденіемъ. Онъ былъ судья надъ всѣми, онъ былъ единственно умный человъкъ среди всей этой компаніи, и онъ ни на одно мгновеніе не забывалъ о себъ. Какъ сынъ сво-

ей эпохи онъ быль очень субъективенъ.

Но художественная его сатира изъ всъхъ современныхъ ей творческихъ созданій ближе другихъ подошла къ реальнымъ явленіямъ жизни.

Развъ только "Евгеній Онъгинъ" можеть въ этомъ

смыслѣ съ ней поспорить.

ІХ. "Евгеній Онъгинъ".

1. Въ бытность свою на югѣ, въ годы "романтической тревоги" духа, Пушкинъ сталъ набрасывать этотъ знаменитый романъ въ стихахъ. Писалъ онъ его съ перерывами, выпуская въ свѣтъ по главамъ, и ко времени освобожденія поэта изъ его плѣна въ селѣ Михайловскомъ, такихъ главъ было написано шесть. Пушкинъ продолжалъ работу надъроманомъ и позже и добавилъ еще двѣ главы, и, какъ извѣстно, на восьмой главъ работу оборвалъ и больше къ ней не возвращался.

Авторъ, кажется, не особенно жалѣлъ о такомъ внезапномъ концѣ своего романа. "Онѣгинъ" свое дѣло сдѣлалъ. Пушкинъ прожилъ съ нимъ много—и самыхъ тревожныхъ—лѣтъ, находя въ своей работѣ и отдохновеніе, и утѣшеніе; а когда настроеніе, которое дѣлало "Онѣгина" автору столь любезнымъ и дорогимъ, исчезло, то естественно, что поэтъ довольно равнодушно простился со своимъ героемъ. Онѣгинъ былъ его другомъ юности въ годы его пребыванія въ ссылкѣ, онъ дѣлилъ съ нимъ одиночество въ селѣ Михайловскомъ, а затѣмъ наступило время, когда этотъ человѣкъ сталъ ему совсѣмъ неинтересенъ.

Но были длинные годы ихъ весьма интимной дружбы, и для біографіи Пушкина, для исторіи смѣнявшихся въ его душѣ настроеній повѣсть объ Онѣгинѣ—источникъ и матерьялъ первостепенной важности.

2. Но и помимо автобіографическаго значенія, какое "Евгеній Онъгинъ" имъетъ какъ интимныя признанія автора, онъ — документъ цълой литературной эпохи; онъ—произведеніе, какъ принято выражаться, "творящее эпоху". Такое его значеніе было, впрочемъ, не сразу отгадано критикой. Она встрътила романъ при его появленіи несовсъмъ дружелюбно, пораженная новизной его замысла и выполненія, и только позже, отойдя отъ произведенія на нъкоторое разстояніе, она смогла оцънить все его колоссальное литературное значеніе.

Въ творчествъ самого Пушкина "Онъгинъ" — исключительное и единственное явленіе. Никогда ни до него, ни послъ Пушкинъ не подходилъ на такое близкое разстояніе къ жизни ему современной. Поэтъ умълъ удовлетворять требованіямъ художественнаго реализма даже при обработкъ сказочныхъ, легендарныхъ и историческихъ сюжетовъ, но сами сюжеты, которые онъ избиралъ, не имъли обыкновенно никакого отношенія къ окружающей его реальной дъйствительности. Одинъ только "Евгеній Онъгинъ" могъ претендовать на названіе "современнаго романа, такъ какъ "Повъсти Бълкина" были сборникомъ анекдотовъ, "Домикъ въ Коломнъ" - шуткой, "Лѣтопись села Горохина"—пародіей, а отрывки и попытки реальнаго романа въ прозѣ въ разсчетъ приняты быть не могуть, въ виду того, что Пушкинъ обрывалъ ихъ на первыхъ же главахъ. Положимъ, и "Евгеній Онъгинъ" не оконченъ, но въ немъ дано гораздо больше матерьяла, чемъ во всехъ остальныхъ только что указанныхъ произведеніяхъ.

Но мы не должны преувеличивать количества этого матерьяла, этихъ сценъ и типовъ, взятыхъ Пушкинымъ

для "Онъгина" изъ современной ему жизни.

Типовъ очень мало (всего три, если не считать самого Онъгина: Татьяна, Ольга и Ленскій), но зато эти типы стоятъ какъ живые передъ нами, и мы не скажемъ ни про одинъ изъ нихъ, что онъ—олицетвореніе какого-нибудь единичнаго чувства или какого-нибудь взгляда. Все это—люди, и люди того времени, и историкъ можетъ найти имъ параллели среди дъйствительно въ то время жившихъ людей. Въ изображеніи ихъ авторъ необычайно искусно избътъ всякой идеализаціи (а Татьяна могла легко подать къ ней поводъ) и ироніи (а Лен-

скій и Ольга могли ее вызвать).

Но при встать этихъ достоинствахъ реальнаго художественнаго письма, все-таки "Евгенія Онъгина" нельзя назвать широкой картиной современной поэту жизни. Провинціальная деревенская жизнь дана въ видъ наброска, а изъ столичной жизни намъ показанъ очень бъглолишь одинъ маленькій уголокъ, преимущественно уголокъ свътскихъ развлеченій; и притомъ всѣ эти сцены въ будуарахъ, салонахъ, въ театрахъ, и на балахъ только намъчены нъсколькими штрихами-словно авторъ торопился поскоръй набросать фонъ, который былъ ему нуженъ для чего-то, а самъ по себъ интересовалъ его малосвоими бытовыми особенностями.

Дъйствительно, хоть эти штрихи и истинно геніальны по своей мъткости и выразительности, хоть понимъ возсоздаются цълыя картины, но не ихъ имълъ въ виду авторъ, когда писалъ свой романъ. Да въ сущности романъ ли это? Не кроется ли подъэтимъ романомъ самая чистая лирическая исповъдь?Во-первыхъ, надо отмътить, что всъ главы романа, дъйствительно, пестрятъ лирическими отступленіями, иногда очень длинными. Говорять будто Пушкину въ данномъ случать служилъ образцомъ "Донъ-Жуанъ" Байрона, гдъ эпическій разсказъ ежеминутно прерывается лирическими изліяніями. Но зачъмъ говорить о Байронъ, когда независимо отъ него Пушкину могло прійти желаніе вести дневникъ въ стихахъ? А "Евгеній Онъгинъ" възначительной своей части несомивнный дневникъ. Откровенно поэтъ дълится съ нами воспоминаніями своей юности, лицейской жизни, своихъ первыхъ шаговъ въ "свътъ", разсказываетъ намъ интимности своихъ сердечныхъ увлеченій, а всего чаще даетъ сентенціи въ стихахъ, вырываетъ листки изъ своего альбома, въ которомъ онъ собралъ наиболъе мъткіе афоризмы, вычитанные имъ изъ книги жизни. Онъ въ своемъ романъ передъ нами въ полномъ смыслъ слова на-распашку, какъ онъ еще никогда ни въ одномъ стихотворении не былъ. Мы не преувеличимъ, если скажемъ, что о Пушкинъ, какъ о человъкъ и о поэтъ, мы изъ "Евгенія Онъгина" узнаемъ гораздо больше, чъмъ изъ всъхъ другихъ его сочиненій. Даже его переписка не даеть намъ столь богатаго автобіографическаго матерьяла. Конечно, это не случайность. Поэтъ постоянно переходитъ къ откровенной бестать о себть самомъ, увлекаемый своимъ лиризмомъ. Онъ самъ сознаетъ, что этой лирики слишкомъ, много и даже какъ бы извиняется за нее передъ читателемъ. Но сдержаться онъ не можетъ и готовъ каждую минуту забыть о своихъ герояхъ. Онъ самъ одинъ изъ глав-

ныхъ, если не главный, герой этой повъсти.

Оставивъ въ сторонъ бытовыя картины, такъ бъгло очерченныя, выдъливъ изъ романа всъ строфы чисто лирическія и относящіяся прямо къ жизни и къ личности автора, -- мы получимъ эпическую завязку несложной повъсти и нъсколько сценъ, повидимому безъ развязки, такъ какъ конецъ Онъгина намъ не извъстенъ. Но въ тъхъ шести главахъ, которыя были написаны Пушкинымъ на югь и въ Михайловскомъ, разсказанъ эпизодъ, вполнъ закругленный и совершенно достаточно обрисовывающій характеры главныхъ действующихъ лицъ. Фабула-мы сказали-необычайно проста и въ свое время поразила всъхъ своей простотой. Явленіе было, дъйствительно, необычное, если припомнить, какъ замысловаты и запутаны бывали тогда сюжеты любимыхъ повъстей и романовъ.

Но фабула "Евгенія Онъгина" вовсе не такъ проста, какъ это съ перваго взгляда кажется. Если припомнить условія личной жизни поэта и то колебаніе въ сторону "романтической" тревоги, которое испытало его настроеніе, то начинаешь понимать, почему такой простой сюжеть такъ долго занималъ поэта и почему поэтъ все къ нему возвращался, словно онъ хотълъ осилить какую-то трудность, пока, наконецъ, не

отказался отъ мысли съ нею справиться.

Въдь въ сущности основная идея и завязка "Евгенія Онъгина" заключается въ противупоставленіи "романтической" натуры двумъ натурамъ сентиментальнымъ. Тревожный и мятежный духъ Онъгина и двъ нъжныя и безмятежныя души Ленскаго и Татьяны, и столкновение этихъ силъ-вотъ собственно въ чемъ завязка всей трагедіи. Душа взволнованная, разочарованная, гордая до самообожанія, душа протестующая, хотя и не дающая себѣ отчета, противъ чего она протестуетъ—однимъ словомъ, "романтическая" душа подвергнута на нашихъ глазахъ двойному испытанію. Какъ сосчитается она съ двумя чувствами, сентиментальными по преимуществу—съ дружбой и съ любовью? Что она внесетъ новаго въ пониманіе этихъ чувствъ? Будутъ ли они для нея святы, какъ они были искони святы для всякой истинно-сентиментальной души? Какое она свершитъ надъ ними насиліе, увлеченная своей тревогой и своимъ эгоизмомъ? И не захочетъ ли авторъ, какъ онъ уже сдѣлалъ это въ "Цыганахъ", еще разъпроизнести свой судъ надъ "романтизмомъ"—надъ тревожной душой, которая, попавъ въ кругъ мирныхъ простыхъ людей, натуръ непосредственныхъ, способна причинитъ имъ великую боль и страданіе?

Эти вопросы невольно навертываются, когда читаешь романъ Пушкина, и вспоминаешь все пережитое имъ за эти годы, всъ написанныя имъ тогда "романтическія" поэмы и лирическіе стихи въ тревожномъ ключъ.

3. Въ лицъ Владиміра Ленскаго намъ данъ трогательный и поэтичный образъ чистъйшаго сентимента-

листа.

Въ свою деревню въ ту же пору Помѣщикъ новый прискакалъ, И столь же строгому разбору Въ сосѣдствѣ поводъ подавалъ; По имени Владиміръ Ленскій, Съ душою прямо геттингенской, Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, Поклонникъ Канта и поэтъ. Онь изъ Германіи туманной Привезъ учености плоды: Вольнолюбивыя мечты, Духъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженную рѣчь И кудри черныя до плечъ.

Отъ хладнатъ не услѣвът

Отъ хладнаго разврата свъта Еще увянуть не успъвъ, Его душа была согръта Привътомъ друга, лаской дѣвъ. Онъ сердцемъ милый былъ невъжда; Его лелъяла надежда, И міра новый блескъ и шумъ Еще плъняли юный умъ. Онъ забавлялъ мечтою сладкой Сомнѣнья сердца своего; Цѣль жизни нашей для него Была заманчивой загадкой; Надъ ней онъ голову ломалъ, И чудеса подозрѣвалъ.

Онъ върилъ, что душа родная Соединиться съ нимъ должна; Что, безотрадно изнывая, Его вседневно ждетъ она; Онъ върилъ, что друзья готовы За честь его принять оковы, И что не дрогнетъ ихъ рука Разбить сосудъ клеветника; Что есть избранные судьбами Людей священные друзья, Что ихъ безсмертная семья Неотразимыми лучами Когда-нибудь насъ озаритъ И міръ блаженствомъ одаритъ.

Негодованье, сожальнье Ко благу чистая любовь И славы сладкое мученье Въ немъ рано волновали кровь. Онъ съ лирой странствовалъ на свъть; Подъ небомъ Шиллера и Гёте, Ихъ поэтическимъ огнемъ Душа воспламенилась въ немъ; И музъ возвышенныхъ искусства, Счастливенъ, онъ не постыдилъ: Онъ въ пъсняхъ гордо сохранилъ Всегда возвышенныя чувства, Порывы дъвственной мечты И прелесть важной простоты. Не пълъ порочной онъ забавы, Не пълъ презрительныхъ цирцей: Онъ оскорблять гнушался нравы Прелестной лирою своей. Онъ пълъ любовь, любви послушный, И пѣснь его была ясна, Какъ мысли дъвы простодушной, Какъ сонъ младенца, какъ луна Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ, Богиня тайнъ и вздоховъ нъжныхъ. Онъ пълъ разлуку и печаль, И нѣчто, и туманну даль, И романтическія розы; Онъ пълъ тъ дальныя страны, Глѣ долго въ лоно тишины Лились его живыя слезы; Онъ пълъ поблеклый жизни цвътъ, Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ.

Понять эту душу очень нетрудно, несмотря на всъ туманности ея изліяній. Въ характеристикъ, которая дана Пушкинымъ, только нъкоторыя частности возбуждаютъ сомнъніе. Неясно, напримъръ, какимъ образомъ Ленскій попалъ въ поклонники Канта, когда въ тъ годы объ этомъ философъ у насъ почти ничего не знали и когда философія Канта вообще такъ мало говорить сентиментальной душъ. Далъе, изъ самого романа никакъ нельзя ничего узнать о "вольнолюбивыхъ" мечтахъ Ленскаго, но сентименталисту александровской эпохи полагалось имъть таковыя: зато "учености плоды" могли смѣло отсутствовать, да и Ленскій, кажется, не пользовался ими. Во всемъ остальномъ символъ сентиментальной въры воспроизведенъ въ этой характеристикъ полностью и точно, съ темъ чувствомъ художественной мѣры, съ какимъ парадированы и образново сентиментальные стихи, которые Ленскій читалъ Онъгину изъ своихъ "съверныхъ поэмъ".

Въ пояснение этого сентиментальнаго характера разсказана и вся исторія любви Ленскаго къ Ольгь. Эта любовь, которая всегда видить то, что она хочеть вильть. всегда повышаетъ чувство на нъсколько степеней и не желаетъ признать въ немъ ничего земного, -тогда какъ именно это земное и является его главнымъ источникомъ, - очень ярко подчеркиваетъ основное положеніе сентиментальнаго міропониманія, которое создаеть міръ по образу своихъвидъній и чаяній, не считаясь съ налич-

ностью фактовъ.

Недостатки и даже смѣшныя стороны такой натуры Пушкинымъ не скрыты, но симпатіи его безспорно на сторонъ этого идеалиста, и въ печальномъ исходъ дружбы Ленскаго и Онъгина кроется глубоко трагическая мысль. Дружба этихъ двухъ столь противоположныхъ натуръ не совствиъ понятна. Но эта дружба не отъ скуки, какъ хотълъ бы объяснить ее авторъ; въ ней есть что-то задушевное, что-то, дъйствительно, связывающее эти двъ души, которыя должны были бы повидимому разойтись при первой встръчъ. Непонятенъ и финалъ этой дружбы. Какъ бы ни чувствовалъ себя оскорбленнымъ Ленскій, онъ по экспансивности своей долженъ былъ бросить въ лидо Онъгину

хоть слово упрека или негодованія, и это слово, несомнънно, устранило бы поединокъ. Съ другой стороны, какъ бы Онъгинъ ни взвинчивалъ своего задора (слабо мотивированнаго вообще), онъ не могъ такъ легкомымысленно ставить на карту свою жизнь и жизнь другого. Пушкинъ это отлично понималъ, когда такъ мътко и полробно говорилъ намъ о томъ, какъ Онъгинъ обвинялъ себя за свое глупое поведеніе на балу. Но дуэль должна была состояться, и Ленскій долженъ былъ умереть, такъ какъ этого требовала психологическая правда того тревожнаго и разочарованнаго настроенія, какое овладъло на время художникомъ. Тайна "романтической" души требовала для себя жертвы, и то чувство, на которое сентиментализмъ всегда такъ довърчиво опирался, отъ котораго онъ такъ много ждалъ для міра, - чувство дружбы должно было первое испытать на себъ ударъ этой душевной тревоги-неясной, немотивированной, но несомнънно искренней. Въ лицъ Ленскаго было убито то очарование дружбой, которое лежало въ основъ личной этики наивнаго сентиментализма.

Такой же ударъ долженъ былъ сразить и другое чувство, - чувство любви, которой сентиментализмъ отводиль въ мірѣ еще большую роль чѣмъ дружбѣ. Отвергнуть любовь Татьяны Онтгинъ долженъ былъ въ силу той же психологической необходимости, какая побудила его убить Ленскаго. "Романтикъ" давалъ второй разъ почувствовать, что онъ не можетъ удовлетвориться тымъ ходячимъ сентиментальнымъ взглядомъ на любовь, который въ иной душъ, при иныхъ обстоятельствахъ обожествилъ бы Татьяну, возвелъ бы ее въ идеалъ и заставилъ человъка въ ея любви найти высшее блаженство.

Пъйствительно, лучшаго идола для чистъйшей сентиментальной любви, чтмъ Татьяна, найти трудно, - въ особенности Татьяна первыхъ шести пъсенъ романа. Когда она затъмъ, уступая волъ матери, выходитъ замужъ и потомъ говоритъ свою знаменитую фразу "я буду въкъ ему върна", она изъ "чувствительной" дъвушки превращается въ разсудительную невъсту и добродътельную жену. Сама она признается, что въ былые годы она была "лучше", и это "лучше" надо понимать не въ смыслъ морали, такъ какъ съ годами она стала въ этомъ отношеніи еще лучше, а въ смыслъ пъльности и поэтичности ея натуры. А въ деревнъ она была такой цъльной сентиментальной душой самой чистой пробы. Она—родная сестра Ленскаго—и удивительно, что не на ней остановилъ онъ свой выборъ.

Его могла, впрочемъ, оттолкнуть отъ нея ея внъшность, которая подходила больше къ натурамъ тревожнымъ и романтическимъ, чъмъ къ чисто сентимен-

тальнымъ.

Дика, печальна, молчалива, Какъ лань лѣсная боязлива. Она въ семъѣ своей родной Казалась дѣвочкой чужой. Она ласкаться не умѣла Къ отцу, ни къ матери своей; Дитя сама, въ толпѣ дѣтей Играть и прыгать не хотѣла, И часто цѣлый день одна

Сидъла молча у окна Задумчивость-ея подруга Отъ самыхъ колыбельныхъ дней-Теченье сельскаго досуга Мечтами украшала ей. Ея изнъженные пальцы Не знали иглъ; склонясь на пяльцы, Узоромъ шелковымъ она Не оживляла полотна. И были дътскія проказы Ей чужды; страшные разсказы Зимою въ темнотъ ночей, Плъняли больше сердце ей Когда же няня собирала Для Ольги, на широкій лугъ, Всѣхъ маленькихъ ея подругъ, Она въ горълки не играла, Ей скученъ былъ и звонкій сиѣхъ, И шумъ ихъ вътреныхъ утъхъ.

Вела она себя также не совсѣмъ похоже на истинно томную дѣву, нѣжную и хрупкую:

Она любила на балконта Предудпреждать зари восходъ, Когда на блтадномъ небосклонта Звтадъ исчезаетъ хороводъ, И тихо край земли свттлтетъ,

И въстникъ утра, вътеръ въетъ, И всходитъ постепенно день. Вимой, когда ночная тънь Полміромъ долъ обладаетъ, И долъ въ праздной тишинъ, При отуманенной лунъ, Востокъ лъниво почиваетъ,— Въ привычный часъ пробуждена, Вставала при свъчахъ она.

Но при этой внъшности и при этихъ привычкахъ— указывающихъ какъ будто на энергію души, на сильно развитое чувство личности, на умѣнье владѣть собой, Татьяна обнаруживаетъ всѣ симптомы сентиментальной натуры, живущей въ желаемомъ мірѣ призраковъ. Міръ дъйствительности заслоненъ для нея міромъ мечты, и по книгамъ учится она думать и чувствовать, и руководствомъ къ познанію людей служатъ ей самые лучшіе образцы сентиментальной литературы:

Теперь съ какимъ она вниманьемъ Читаетъ сладостный романъ. Съ какимъ живымъ очарованьемъ Пьетъ обольстительный обманъ! Счастливой силою мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юліи Вольмаръ, Малекъ Адель и де-Линаръ, И Вертеръ, мученикъ мятежный, И безподобный Грандисонъ, Который намъ наводитъ сонъ,-Всѣ для мечтательницы нѣжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Онъгинъ слились. Воображаясь героиней Своихъ возлюбленныхъ творцовъ, Кларисой, Юліей, Дельфиной, Татьяна въ тишинъ лъсовъ Одна съ опасной книгой бродитъ; Она въ ней ищетъ и находитъ Свой тайный жаръ, свои мечты, Плоды сердечной полноты.

Наконецъ, когда она уже не можетъ противиться своему чувству, она, столь скрытная и нелюдимая, становится необычайно откровенной, убъжденная въ томъ, что искренность чувства оправдываетъ его обнаруженіе, что любовь, согласно сентиментальному ученію, есть

своего рода благотворный фатумъ, передъ которымъ надо преклониться:

"Другой!... Нътъ, никому на свътъ Не отдала бы сердце я! То въ высшемъ суждено совътъ ... То воля неба-я твоя: Вся жизнь моя была залогомъ Свиданья върнаго съ тобой: Я знаю, ты мит посланъ Богомъ, Ло гроба ты-хранитель мой... Ты въ сновилъньяхъ мнъ явдялся: Незримый, ты мнъ былъ ужъ милъ, Твой чудный взглядъ меня томилъ, Въ душъ твой голосъ раздавался Давно... нътъ, это былъ не сонъ! Ты чуть вошель, я вмигь узнала, Вся обомлъла, запылала, И въ мысляхъ молвила: вотъ онъ Не правда ль? я тебя слыхала: Ты говорилъ со мной въ тиши. Когда я бъднымъ помогала, Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души? И въ это самое мгновенье Не ты ли, милое видѣнье, Въ прозрачной темнотъ мелькнулъ, Приникнулъ тихо къ изголовью? Не ты ль съ отрадой и любовью Слова надежды мнъ шепнулъ? Кто ты: мой ангелъ ли хранитель, Или коварный искуситель? Мои сомнънья разръши. Быть можеть, это все пустое, Обманъ неопытной души, И суждено совствить иное... Но такъ и быть! судьбу мою Отнынъ я тебъ вручаю, Передъ тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю,.. Вообрази: я здъсь одна, Никто меня не понимаетъ, Разсудокъ мой изнемогаетъ, И молча гибнуть я должна. Я жду тебя: единымъ взоромъ Надежды сердца оживи, Иль сонъ тяжелый перерви, Увы, заслуженнымъ укоромъ!

И на такую любовь, въ которой растворилась вся сущность человъка, любовь, полную самозабвенія и готовую на всѣ жертвы, Онѣгинъ отвѣтилъ выговоромъ и совѣтомъ поучиться обуздывать свои страсти. Всегда этотъ отвѣтъ Онѣгина на письмо Татьяны возбуждаетъ

въ насъ посапное чувство. Почему Онъгинъ не отвътилъ на эту любовь и почему не призналъ въ Татьянъ своего спасителя, того добраго генія, который спасъ бы его отъ душевнаго разлада и изнуряющаго его духъ разочарованія или безочарованія? Но. во-первыхъ, не должно забывать, что надъ своей любовью никто не властенъ, а главное, склонись Онъгинъ передъ этою любовью-быль бы нарушенъ весь смыслъ трагической завязки романа и искажена его основная мысль. При встръчъ съ этой тревожной душой искренняя и беззащитная въ своей откровенности любовь должна была пострадать. Чувство въ его "романтической формъ" не могло признать напъ собой власти мягкаго и довърчиваго чувства, и какъ дружба была убита Онъгинымъ на дуэли съ Ленскимъ, такъ не понята и оскорблена была теперь любовь при встръчъ Онъгина и Татьяны. И хорошо еще, что она была только оскорблена, а не обманута, не измучена, не убита какъ это случалось въ другіе разы, когда настоящая романтически-демоническая натура встръчалась съ такой наивной и безхитростной любовью. Такія встр'вчи демоновъ и ангеловъ (литературная тема очень широко распространенная на Западѣ и у насъ) кончались для "ангеловъ" всегда гораздо болъе печально, чъмъ кончился романъ Татьяны.

Итакъ, столкновеніе Онѣгина съ Ленскимъ и съ Татьяной, повидимому столь естественная простая встрѣча въ условіяхъ самыхъ обыкновенныхъ, имѣетъ свое историческое значеніе какъзнаменательный фактъ въ исторіи настроенія той эпохи и какъ документъ автобіографическій, какъ страница изъ исторіи развитія психики самого художника. Онъ, который въ это время какъ разъ переживалъ тревогу духа, внесшую въ его гармоничную душу разладъ и разочарованіе, онъ убилъ въ мечтахъ Ленскаго и отвергъ любовь Татьяны не безъ умысла. Онъ въ Онѣгинѣ наказывалъ до извѣстной степени самого себя и безпощадно анализировалъ мрачныя стороны того душевнаго состоянія, какимъ самъ

былъ временно охваченъ. А мы знаемъ, какъ ръшительно и скоро Пушкинъ овладълъ собою и осилилъ

въ себъ это тревожное состояніе.

Но неужели же эти живые образы Ленскаго и Татьяны лишь символы извъстныхъ психическихъ состояній, съ которыми авторъ сводилъ свои счеты? Нътъ нужды пълать такой выводъ. Изъ документовъ того времени мы знаемъ, что люди типа Ленскаго и даже типа Татьяны, дъйствительно, встръчались, хотя, конечно, не въ видъ общаго правила; и, быть можетъ, Пушкинъ такихъ людей видълъ воочію. Онъ и изобразилъ ихъ вполнъ реально безъ всякой фальши или шаржа. Но что въ выборъ этихъ фигуръ, въ ихъ размъщении на планъ романа участвовали чисто субъективныя ощущенія автора, его личные счеты съ самимъ собою, его раздумье надъ тъмъ душевнымъ состояніемъ, которое онъ самъ переживалъ тогда, когда писалъ свой романъ, въ этомъ едва ли можно сомнъваться. Личность Онъгина еще яснъе подтверждаетъ это предположение.

4. Нельзя сказать, чтобы эта личность была яркая, съ рѣзко выраженнымъ характеромъ и съ ясными взглядами. Въ ней очень много недосказаннаго и неопредъленнаго. Такая неопредъленность, впрочемъ, и была нужна автору, потому что въ ней-то главнымъ образомъ и заключалась типичность этого лица и характерность того настроенія, носителемъ котораго являлся, онъ и на нѣкоторое время его ближайшій другъ—самъ Пушкинъ.

Когда мы знакомимся съ Онъгинымъ, онъ—"молодой повъса", съ необычайно легкимъ умственнымъ багажемъ.

Мы всв учились понемногу, Чему-нибудь и какъ-нибудь, Такъ воспитаньемъ, слава Богу, У насъ немудрено блеснуть. Онвгинъ былъ, по мнвнью многихъ (Судей ръшительныхъ и строгихъ), Ученый малый, но педантъ. Имвлъ онъ счастливый талантъ— Безъ принужденья въ разговоръ Коснуться до всего слегка. Съ ученымъ видомъ знатока Хранитъ молчанье въ важномъ споръ, И возбуждать улыбку дамъ Огнемъ нежданны эгипъ храммъ.

Специальность его — "наука нѣжной страсти", но и эту единственную науку, къ которой онъ относился съ рѣдкимъ прилежаніемъ, онъ изучалъ, кажется, больше по книгамъ, чѣмъ на опытѣ.

Всего, что зналъ еще Евгеній, Пересказать мнѣ недосугъ; Но въ чемъ онъ истинный былъ геній, Что зналъ онъ тверже всъхъ наукъ, Что было для него измлада И трудъ, и мука, и отрада, Что занимало цълый день Его тоскующую лѣнь,-Была наука страсти нъжной, Которую воспълъ Назонъ, Насъ пылъ сердечный рано мучитъ-Очаровательный обманъ-Любви насъ не природа учитъ, А Сталь или Шатобріанъ. Мы алчемъ жизнь узнать заранъ, Мы узнаемъ ее въ романъ, Мы все узнали, между тъмъ Не насладились мы ничъмъ.

Между нимъ и міромъ незамѣтно становилась книга, т. е. чужая мысль, чужое чувство, и онъ поддѣлывалъ свой умъ и свое сердпе подъ уже готовые образцы, которые могли ему нравиться и своей красотой и тѣмъ, что натрудные вопросы жизни они давали готовые отвѣты. Если мы припомнимъ, что этому "философу", какъ его называетъ авторъ, было семнадцать лѣтъ, когда мы съ нимъ знакомимся, что онъ былъ человѣкъ очень состоятельный и потому не зналъ никакого обязательнаго труда, что онъ отъ всякаго труда умышленно бѣгалъ и слонялся безъ всякаго дѣла, срывая съ жизни одни лишь цвѣты удовольствія, то неудивительно, что имъ овладѣла самая ординарная скука отъ пресыщенія тѣми впечатлѣніями, которыя придаютъ жизни красоту лишь при условіи гигіеничнаго съ ними обращенія.

Но, шумомъ бала утомленный И утро въ полночь обратя, Спокойно спить въ тъни блаженной Забавъ и роскоши дитя. Проснется за полдень, и снова До утра жизнь его готова, Однообразна и пестра, И завтра—то же, что вчера, Но быль ли счастливь мой Евгеній, Свободный, въ цвѣтѣ лучшихъ лѣтъ, Среди блистательныхъ побѣдъ, Среди вседневныхъ наслажденій? Вотще ли быль онъ средь пировъ Неостороженъ и здоровъ?

Нѣтъ, рано чувства въ немъ остыли; Ему наскучилъ свѣта шумъ; Красавицы не долго были Предметъ его привычныхъ думъ; Измѣны утомить успѣли; Друзья и дружба надоѣли, Затѣмъ, что не всегда же могъ Вееf steaks и страсбургскій пирогъ Шампанской обливать бутылкой, И сыпать острыя слова, Когда болѣла голова; И хоть онъ былъ повѣса пылкій, Но разлюбилъ онъ, наконецъ, И брань, и саблю, и свинецъ.

Недугъ, котораго причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный англійскому сплину,
Короче—русская хандра
Имъ овладъла понемногу;
Онъ застрълиться, слава Богу,
Попробовать не захотълъ,
Но къ жизни вовсе охладълъ.
Какъ Сhild-Нагоld, угрюмый, томный,
Въ гостиныхъ появлялся онъ;
Ни сплетни свъта, ни бостонъ,
Ни милый взглядъ, ни вздохъ нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замъчалъ онъ ничего.

Давно изв'єстно, что противъ хандры, какой былъ боленъ Он'єгинъ, т. е. хандры отъ безд'єлья, есть два хорошихъ средства леченія—путешествіе или наоборотъ уединеніе и бес'єда съ книгой или съ бумагой, на которую бросаешь собственныя мысли. На первый разъ Он'єгинъ отъ путешествія отказался (въ немъ онъ искалъ ут'єшенія потомъ, уже посліє б'єгства изъ усадьбы) и зас'єль за письменный столъ. Ничего, конечно, изъ вс'єхъ его писаній не вышло, и тогда онъ зам'єнилъ писаніе—чтеніемъ.

Отрядомъ книгъ уставилъ полку, Читалъ, читалъ, а все безъ толку: Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ; Въ томъ совѣсти, въ томъ смысла нѣтъ; На всѣхъ различныя вериги; И устарѣла старина, И старымъ бредитъ новизна. Какъ женщинъ, онъ оставилъ книги, И полку съ пыльной ихъ семьей Задернулъ траурной тафтой.

Всякія попытки связать себя какими-нибудь обязательствами съ окружающей жизнью, ну, хоть стать хорошимъ помѣщикомъ, также кончились ничѣмъ. Слѣдуя либеральной модѣ своего времени, Онѣгинъ на первыхъ порахъ своей деревенской жизни принялъ къ сердцу судьбу крестьянъ и, какъ увѣряетъ поэтъ, заставилъ раба благословить свою сульбу. Но если крестьянинъ выигралъ отъ сосѣдства Онѣгина, то Онѣгинъ отъ его близости ничего не выигралъ. Никакого направленія его уму, сердцу и дѣйствію эти новыя для него отношенія не придали. Онъ скучалъ по-старому и, наконецъ, въ эту скуку вторглась дружба Ленскаго и любовь Татьяны.

Кто же, наконецъ, этотъ герой, на долю котораго выпала такая чистая любовь и такая нѣжная дружба? Сначала "молодой повѣса", затѣмъ "пасмурный чудакъ", кѣмъ же былъ онъ между этими двумя состояніями, когда онъ поселился въ деревнѣ, когда могъ такъ нравиться, такъ плѣнять своимъ умомъ и своей поэтичной внѣшностью?

Этотъ вопросъ задала себъ Татьяна вскоръ послъ бъгства Онъгина и тогда она вмъстъ съ Пушкинымъ, который тоже не могъ себъ разъяснить психики—какъ онъ выражался—своего "страннаго" спутника, стала рыться въ книгахъ Онъгина и какъ будто напала на ръшеніе загадки.

Хотя мы знаемъ, что Евгеній Издавна чтенье разлюбилъ, Однако-жъ нѣсколько твореній Онъ изъ опалы исключилъ: Пѣвца Гяура и Жуана, Да съ нимъ еще два-три романа, Въ которыхъ отразился вѣкъ, И современный человѣкъ Изображенъ довольно вѣрно

Съ его безнравственной душой, Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданной безмърно, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кипящимъ въ дъйствіи пустомъ.

Хранили многія страницы
Отмѣтку рѣзкую ногтей.
Глаза внимательной дѣвицы
Устремлены на нихъ живѣй.
Татьяна видитъ съ трепетаньемъ,
Какою мыслью, замѣчаньемъ,
Бывалъ Онѣгинъ пораженъ,
Съ чѣмъ молча соглашался онъ.
На ихъ поляхъ она встрѣчаетъ
Черты его карандаша:
Вездѣ Онѣгина душа
Себя невольно выражаетъ—
То краткимъ словомъ, то крестомъ,
То вопросительнымъ крючкомъ.

И начинаетъ понемногу Моя Татьяна понимать Теперъ яснъе, слава Богу, Того, по комъ она вздыхать Осуждена судьбою властной: Чудакъ печальный и опасный, Созданье ада иль небесъ, Сей ангелъ, сей надменный бъсъ, Что жъ онъ? Ужели подражанье, Ничтожный призракъ, иль еще Москвичь въ Гарольдовомъ плащъ, Чужихъ причудъ истолкованье, Словъ модныхъ полный лексиконъ?... Ужъ не пародія ли онъ? Ужель загадку разръшила? Ужели слово найдено?

Дъйствительно, найдено ли "слово"? Неужели Онъгинъ только пародія? Повидимому и авторъ согласился съ такимъ объясненіемъ, потому что, когда много лътъ спустя онъ встрътился съ Онъгинымъ въ Петербургъ, онъ спрашивалъ:

"Все тотъ же ль онъ, иль усмирился? Иль корчить такъ же чудака? Скажите, чѣмъ онъ возвратился? Что намъ представить онъ пока? Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ, Космополитомъ, патріотомъ, Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой Иль маской щегольнетъ иной?

Иль просто будеть добрый малый, Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ? По крайней мѣрѣ, мой совѣтъ: Отстать отъ моды обветшалой. Довольно онъ морочилъ свѣтъ..."
— Знакомъ онъ вамъ?—"И да, и нѣтъ".

Очевидно, Пушкинъ считалъ Онѣгина способнымъ часто мѣнять маску. Намъ какъ-то трудно согласиться съ тѣмъ, чтобы въ этомъ человѣкѣ, который при всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ и дикихъ поступкахъ все-таки вызываетъ къ себѣ извѣстное сочувствіе, чтобы во всемъ его явленіи рѣшительно не было ничего серьезнаго.

Повидимому однако въ немъ нътъ ничего серьезнаго, ни въ его разочаровании, ни въ его думахъ, ни въ чувствахъ. Разочарованіе его вытекаетъ изъ простого пресыщенія удовольствіями жизни; никакого отвътственнаго поста онъ въ этой жизни не занималъ, ни за что не боролся, ничего не отстаивалъ въ ней и потому ничему не радовался и ни о чемъ не скорбълъ. Быть можетъ, трагичное въ жизни ему открылось въ книгахъ, и онъ его выстрадалъ умственно? Но и этого не было. Книги онъ читалъ невнимательно. поверхностно, и никакая идея его никогда не мучила. Презиралъ онъ людей изъ чувства индифферентизма къ нимъ, а отнюдь не изъ любви къ нимъ, которая одна могла бы оправдать такое презрѣніе. Онъ былъ уменъ, т. е. даже не уменъ, а просто остроуменъ, и въ мысляхъ своихъ жилъ на чужой счетъ. Чувствовалъ ли онъ глубоко? Едва ли. Хотя мы плохо знаемъ его прошлое, но очевидно, что настоящихъ душевныхъ трагедій онъ не переживалъ, потому что иначе-будь онъвъ такихъ трагедіяхъ испытанъ-онъ не отнесся бы такъ легкомысленно къ дружбъ Ленскаго и къ любви Татьяны. Однимъ словомъ, тѣ его строгіе судьи, которые называли его "пустымъ" человъкомъ, были какъ будто правы.

Если предположить, однако, что въ довершение всего Онъгинъ еще "пародія", т. е. человъкъ, умышленно позирующій, то нравственная и умственная его стоимость падаетъ еще ниже, и мы начинаемъ понимать нъкоторыхъ

современниковъ и друзей Пушкина, которые на поэта весьма искренне сердились за то, что онъ тратитъ свое время на описаніе похожденій столь незначительнаго и неинтереснаго человъка.

А, междутьмъ, поэтъ питалъ къ своему знакомому чувства очень нъжныя: онъ во всякомъ случаъ былъ

очень имъ заинтересованъ.

Пушкинъ откровенно признается, что нашелъ въ

Онъгинъ родственную душу:

Условій свъта свергнувъ бремя, Какъ онъ, отставъ отъ суеты, Съ нимъ подружился я въ то время. Мнѣ нравились его черты, Мечтамъ невольная преданность, Неподражательная странность И ръзкій, охлажденный умъ. Я быль озлоблень-онь угрюмь; Страстей игру мы знали оба, Томила жизнь обоихъ насъ; Въ обоихъ сердца жаръ погасъ; Обоихъ ожидала злоба Слѣпой Фортуны и людей На самомъ утръ нашихъ дней. Мнъ было грустно, тяжко, больно, Но, одолъвъ мой умъ въ борьбъ, Онъ сочеталъ меня невольно Своей таинственной судьбъ; Я сталъ взирать его очами, Съ его печальными рѣчами Мои слова звучали въ ладъ...

Онъгинъ пріобрълъ даже извъстную власть надъ душой поэта:

Мою задумчивую младость Онъ для восторговъ охладилъ. Я неописанную сладость Въ его бесъдахъ находилъ. Я сталь взирать его очами; Открылъ я жизни бъдной кладъ, Въ замъну прежнихъ заблужденій, Въ замѣну вѣры и надеждъ Для легкомысленныхъ невъждъ.

Вліяніе Онъгина на Пушкина стало столь замътно, что поэть начиналь опасаться, какъ бы ихъ не приняли за одно лицо:

Цвѣты, любовь, деревня, праздность, Поля! я преданъ вамъ душой.

Всегда я радъ замътить разность Между Онъгинымъ и мной, Чтобы насмѣшливый читатель Или какой-нибудь издатель Замысловатой клеветы, Сличая здѣсь мои черты, Не повторяль потомъ безбожно, Что намаралъ я свой портретъ, Какъ Байронъ, гордости поэтъ; Какъ будто намъ ужъ невозможно Писать поэмы о другомъ, Какъ только о себъ самомъ?

И опасенія Пушкина были вполнъ основательны. Не только "насмъшливый" читатель или клеветникъ могъ въ Онъгинъ узнать Пушкина, но и читатель очень добросовъстный, который пожелаль бы навести историческія справки о жизни поэта и его друга. Многое могли бы объяснить такія справки въ любопытномъ

эпизодъ ихъ временной дружбы.

Историческое развитіе типа Евгенія Онъгина, его генеалогія и его связь съ современной ему эпохой въ настоящее время выяснены опредъленно и точно. Нашъ извъстный историкъ В. О. Ключевскій далъ намъ полную генеалогію этого типа, и теперь не можетъ быть сомнънья въ томъ, что Евгеній Онъгинъ-лицо живое, дъйствительно жившее: продуктъ опредъленныхъ исто-

рическихъ условій.

Повторимъ выводы ученаго, такъ какъ добавить къ нимъ нечего. Начиная съ XVII въка въ нашемъ обществъ стали попадаться люди, которые никакъ не могли идти вровень со своимъ вѣкомъ и, стремясь угоняться за нимъ, постепенно отъ него отставали. Петровская реформа потребовала отъ многихъ молодыхъ людей такихъ знаній и такого образа мыслей, который былъ имъ недоступенъ. Эти, не ко времени пришедшіеся люди чувствовали себя очень неловко и должны были прійти къ сознанію, что они "лишніе". Д'втей своихъ они пожелали избавить отъ такого непріятнаго положенія и какъ-нибудь приспособить къ потребностямъ новаго времени, созданнаго реформой. Наскоро стремились эти дъти нахвататься разныхъ практическихъ знаній (хотя въ большинствъ случаевъ въ этомъ не успъвали), которыми особенно дорожилъ великій реформаторъ. Но времена быстро мѣнялись, и со смертью Петра совсѣмъ иного стали требовать отъ человъка, который не желалъ отстать отъ времени. "Одни, послъ Петра заболъвшіе тоской по родной старинъ, встрътили петровскаго служаку насмъшками и ругательствами за "европейскій обычай", привезенный имъ изъ Голландіи; другіе, одержимые вожделъніемъ къ новизнъ, преслъдовали его кличками неуча деревенскаго, мужика, за недостаточный запасъ европейскаго обычая, имъ привезенный, за незнаніе моднаго катехизиса, которымъ вмізнялось благородному шляхтичу въ обязанность то самое шпажное и танцовальное искусство, которое онъ считалъ безполезнымъ". Молодой человъкъ Петровскаго времени послъ Петра попалъ, такимъ образомъ, въ неловкое положение, какъ нъкогда и его родитель, и, испытавъ много непріятностей за свое неум'єніе приноравливаться къ обстоятельствамъ, заперся въ деревнъ, гдъ до смерти "коптилъ небо, созерцая звъзды". Въ этой деревнъ, въ его семь в родился отецъ Онъгина. Воспитание свое онъ получилъ при Елисаветъ, кончилъ его при Екатеринъ и доживалъ свой въкъ при Александръ. Онъ усвоилъ себъ весь внъшній лоскъ западной образованности, но дъла на родинъ себъ также не нашелъ. Покинувъ службу, онъ пережхалъ въ свою губернію, задумавъ служить по выборамъ. "Онъ былъ выбранъ въ дворянскіе засъдатели, но соскучился, дожидаясь дълъ, которыхъ въ три года поступило ровно три и не было ръшено ни одного, пробовалъ заняться сельскимъ хозяйствомъ, но только сбилъ съ толку управляющаго и старосту, хотълъ по крайней мъръ пожить весело, потчивалъ гостей частыми объдами, бъгами и псовой охотой съ дворовою музыкой и цыганской пляской и, наконецъ, уставъ и заглянувъ въ долговую книгу, махнулъ на все рукой и окончательно переселился въ деревню доканчивать давно начатую и сложную работу изолированія себя отъ русской дъйствительности". "Всю жизнь помышляя о "европейскомъ обычаъ", о просвъщенномъ обществъ, онъ старался стать своимъ между чужими и только становился чужимъ между своими. Въ Европъ видъли въ немъ переодътаго по-европейски татарина, а въ глазахъ своихъ онъ казался родившимся въ Россіи франпузомъ. Въ этомъ положении культурнаго межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и ему самому подчасъ становилось невыразимо тяжело чув-

ствовать себя въ такомъ положени".

"Сынъ его—нашъ Онъгинъ—воспитывался въ его преданіяхъ, но не подъ его вліяніемъ. Онъ наслѣдовалъ многія изъ его идей, убъжденій, взглядовъ, привычекъ, но не наслъдовалъ его вкусовъ, чувствъ и отношеній къ окружаюшему и не наслъдовалъ потому, что выросъ и началъ дъйствовать подъдругими впечатлъніями". Наступило Александровское царствованіе, и молодежь была увлечена въ круговоротъ религіозной, національной и политической мысли. Сознаніе, "что въ Россіи образованнъйшій и руководящій классъ пренебрегаетъ роднымъ языкомъ и всъмъ, что касается родины"; сознаніе, "что въ русскомъ народъ таятся могучія силы, лишенныя простора и дъятельности, скрыты умственныя и нравственныя сокровища, нуждающияся въ разработкъ", заставило эту молодежь "круто и прямо повернуть лицомъ къ русской пъйствительности". Одна часть этой молодежи отдалась политикъ и погибла: "другіе пошли стороной, осторожно вглядываясь въ даль и озираясь вокругъ. Они также питали много надеждъ и иллюзій, желали д'вятельности и готовились къ ней, запасаясь идеями и иноземными образцами, которые можно было бы примънить въ отечествъ". Но послъ, когда со средины царствованія преобразовательное движеніе, см'яло начатое правительствомъ, остановилось, и реакція взяла верхъ, всъ ихъ иллюзіи разстялись и "они впали въ уныніе или нравственное оцъпенъніе и опустили руки". Послъ, "оправившись отъ столбняка, они кое-какъ стали прилаживаться къ русской дъйствительности". Наряду съ этими людьми, которые такъ смъло и ръшительно пошли впередъ и не убоялись политической борьбы, и наряду съ тъми изъ нихъ, которые впали въ уныніе, -- стояли еще и другіе, по возрасту болъе молодые, которые своеобразно откликнулись на свершившійся переломъ въ жизни ихъ родины. "Они проходили школу тогдашняго столичнаго свъта съ его показнымъ умомъ, заученными приличіями, зам'внявшими нравственныя правила, и съ любезными словами, прикрывавшими пустоту общежитія. Эта

школа давала много пищи злословію, вырабатывала "насмъшку съ желчью пополамъ", но не пріучала ни къ умственному труду, ни къ практической дъятельности, - напротивъ, отучала отъ того и другого, всего же болъе располагала къ скукъ. На наклонности, воспитанныя такой школой, ложились чувства старшихъ братьевъ-патріотическая скорбь однихъ, уныніе другихъ. Изъ смъщенія столь разнородныхъ вліяній и составилось сложное настроеніе, которое тогда стали звать разочарованіемъ. Поэзія часто рисовала его байроновскими чертами, и сами разочарованные любили кутаться въ Гарольдовъ плащъ. Но въ составъ этого настроенія входило гораздо болъе туземныхъ ингредіентовъ. Здъсь были и запасы схваченныхъ налету идей съ приправой мысли объ ихъ ненужности, и унаслъдованное отъ вольнодумныхъ отцовъ брюзжанье съ примъсью скуки жизнью, преждевременно и безтолково отвъданной, и презрѣніе къ большому свѣту съ неумѣньемъ обойтись безъ него, и стыдъ бездълья съ непривычкой къ труду и недостаткомъ подготовки къ дълу, и скорбь о родинъ, и досада на себя, и лънь, и уныніе-весь умственный и нравственный скарбъ, унаслъдованный отъ отцовъ и дедовъ и прикрытый слоемъ острыхъ и гнетущихъ чувствъ, внушенныхъ старшими братьями. Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся въ одномъ правилѣ: ничего дълать нельзя и не нужно дълать. Поэтическимъ олицетвореніемъ этой растерянности и явился Евгеній Онъгинъ".

Таково историческое толкованіе этого типа, данное большимъ знатокомъ нашей прошлой жизни. Теперь, послѣ этого толкованія мы едва ли станемъ утверждать, — какъ это дѣлали многіе современники поэта, —что типъ Онѣгина —типъ пустой, которымъ не стоило интересоваться. Какъ видимъ, это типъ, полный историческаго смысла, и, если вѣритъ показаніямъ современниковъ, типъ довольно распространенный. Остается только опредѣлить — съ удачнымъ ли экземпляромъ такого типа имѣлъ Пушкинъ случай познакомиться.

Все, что романъ говоритъ намъ объ Онъгинъ, указываетъ на то, что этотъ экземляръ былъ изъ неособенно удачныхъ. Всъ тъ очень серьезныя мысли и чувства,

которыя—какъ показалъ намъ историкъ—въ оригинальномъ своемъ сочетаніи произвели этотъ любопытный типъ, въ Онѣгинѣ до того стерлись и вывѣтрились, что докопаться до нихъ нѣтъ никакой возможности. Ни патріотической скорби, ни идейнаго разочарованія на почвѣ общественныхъ чувствъ мы не замѣчаемъ въ нашемъ Онѣгинѣ. Его психика туманна и неопредѣленна, но отнюдь не сложна. Онъ, очевидно, изъ всей своей семьи лицо наиболѣе блѣдное и наименѣе даровитое.

Чъмъ же собственно привлекъ онъ Пушкина и почему такъ долго поэтъ не могъ выкинуть его изъ своей

памяти?

Объясненіе этой пылкой привязанности надо искать не въ глубинъ чувствъ и мыслей Онъгина, а въ душъ самого Пушкина. Онъ въ гораздо большей степени, чемъ его пріятель, выстрадаль въ те годы всю ту трагедію души, о которой говорилъ намъ историкъ. На дорогу политической борьбы Пушкинъ, положимъ, не вступалъ, но мы знаемъ, что и на съверъ и на югъ, гдъ онъ съ Онъгинымъ встрътился, онъ въ тъ годы политикой интересовался и имълъ уже случай убъдиться лично, къ какимъ послъдствіямъ можетъ привести излишнее довъріе къ либеральному направленію правительства. Такимъ образомъ, въ извъстномъ смыслъ онъ былъ уже знакомъ и съ патріотической скорбью, и съ разочарованіемъ. Если припомнить къ тому же, что всъ эти мысли и ощущенія возбудили въ немъ ту тревогу духа, которая-какъ мы знаемъ-наложила свой отпечатокъ на все его творчество тъхъ годовъ, то такое тревожное состояніе должно было еще больше расположить его въ пользу Онъгина. Въдь такъ часто, въ минуты душевнаго волненія, мы въ людяхъ видимъ то, что хотимъ видѣть, и, любуясь ими, на дѣлѣ любуемся самими собой. Для Пушкина Евгеній Онъгинъ былъ поэтическимъ воплощениемъ его собственной тревожной души, разочарованной, озлобленной, минутами недовольной всъмъ міропорядкомъ, людьми и, быть можетъ, самимъ собою. Какъ ни былъ простъ и духовно немощенъ Онъгинъ, но въ эти минуты Пушкинъ любилъ въ немъ человъка, который, хоть и безъ всякаго права, но бросалъ вызовъ всему окружающему. Только спустя нѣкоторое время, когда тревога улеглась въ сердцѣ поэта, онъ, нѣсколько сердясь на самого себя за свое увлеченіе, бросилъ уѣхавшему Онѣгину въ догонку жесткое слово: "Пародія".

Такъ много субъективнаго было въ этомъ романъ! Субъективность поэта сказалась и въ томъ, что

Субъективность поэта сказалась и въ томъ, что, какъ ни нравился Онъгинъ Пушкину, но онъ не смогъ ни на минуту покорить себъ поэта всецъло. Пушкинъ интересовался имъ, находилъ удовольствіе въ его бесъдахъ, долго и много о немъ думалъ, но увлеченъ имъ не былъ. Онъ всегда относился къ нему критически, и мы помнимъ, сколько ироническихъ словъ сказалъ поэтъ по его адресу. Да наконецъ и разсказъ о дружбъ Онъгина съ Ленскимъ и объ его любви къ Татьянъ показалъ намъ ясно, на чьей сторонъ были симпатіи поэта. Частицу души своей поэтъ Онъгину довърилъ, но тотчасъ же предалъ его суду.

Поступилъ же онъ такъ потому, что въ его собственномъ сердцѣ та тревога духа, которая роднила его съ Онѣгинымъ, была мимолетнымъ волненіемъ, несвойственнымъ его уравновѣшенной артистической душѣ. Онъ отъ этого волненія освобождался очень быстро, и по мѣрѣ того, какъ писались главы романа, характеръ Онѣгина становился не предметомъ для раздумья, а

предлогомъ для косвеннаго наставленія.

Въ 1825 году близкое знакомство Пушкина съ Онвгинымъ оборвалось, и поэтъ встръчался со старымъ другомъ лишь изръдка, а спустя нъсколько лътъ со-

всъмъ потерялъ его изъ виду.

6. Романъ "Евгеній Онъгинъ" помимо своей цънности какъ документъ для изученія психики художника—явленіе крупнъйшее въ исторіи развитія нашего словеснаго творчества. Это — нашъ первый по времени художественный романъ съ реальнымъ направленіемъ, хотя и не настоящаго реальнаго типа. Субъективнаго элемента въ немъ больше, чъмъ описательнаго и бытового, но все-таки, несмотря на перевъсъ личныхъ вкусовъ и взглядовъ автора, романъ сохранилъ намъ столько деталей и картинъ изъ нашей прошлой жизни, что сталъ въ извъстномъ смыслъ историческимъ

памятникомъ своей эпохи. Это былъ первый романъ, въ которомъ художникъ полошелъ на близкое разстояніе къ современной ему жизни. Если центральной фигурой и оставался самъ художникъ или его излюбленный герой, то этотъ герой дъйствовалъ въ условіяхъ не вымышленныхъ, а настоящихъ, согласныхъ съ исторической правдой даннаго момента. До "Евгенія Онъгина" такого реальнаго письма въ нашей повъствовательной литературъ, да и вообще во всей нашей изящной словесности не было. Послъ "Евгенія Онъгина" оно также не попадалось вплоть до Гоголя.

Нашъ романъ въ XVIII въкъ былъ въ большинствъ случаевъ подражательный, и хорошо, если романисту удавалось нъсколько върныхъ штриховъ или нъсколько силуэтовъ изъ галлереи современныхъ ему людей. То, что въ особенности мъшало романисту XVIII въка подняться до истинной художественности, была обязательная моральная или сатирическая тенденція; она, а не

жизнь, планировала весь романъ.

Въ этой же тенденціозности можно упрекнуть и всъ сентиментальные и-какъ тогда говорилось-нравоописательные романы и повъсти конца XVIII въка и начала XIX-го. Авторъ все стремился настроить душу читателя, тронуть его сердце, все защищалъ интересы добра передъ трибуналомъ порока, и нравственное воспитаніе читателя было ему дороже эстетической правды. Къ типу такихъ сентиментальныхъ повъстей относятся всъ нъкогда столь прославленныя повъсти Карамзина и Жуковскаго. Въ нихъ было много нѣжности, религіознаго и патріотическаго настроенія, много стилистическихъ достоинствъ, но самое главное - русская жизнь - въ нихъ отсутствовала. Когда Карамзинъ вдругъ, вопреки всъмъ своимъ привычкамъ, задумалъ написать чисто реальную повъсть изъ лично имъ пережитаго, съ сохраненіемъ бытовыхъ подробностей и колорита, онъ прервалъ работу въ самомъ началъ-такъ несвойственны были ему пріемы реальнаго творчества и съ дъйствительной жизнью совпадавшая работа фантазіи. А между тъмъ эта единственная въ своемъ родъ повъсть Карамзина-"Рыцарь нашего времени" обнаруживала въ авторъ большую способность рисовать картины бытовыя и давала образцы хорошей психологической мотивировки. Но на эту сторону своего творчества Карам-

зинъ не обратилъ никакого вниманія.

Послѣ повѣстей Карамзина и Жуковскаго можно упомянуть развѣ только о романахъ Измайлова и Нарѣжнаго, какъ о произведеніяхъ, подымающихся выше ординара. Не отрицая за этими писателями извѣстнаго дара наблюдать жизнь и способности обобщать разрозненныя впечатлѣнія, надо признать, что и для нихъ романъ былъ все-таки лишь удобнымъ предлогомъ—прочитать пороку мораль и одобрить добродѣтель. Коекакія бытовыя детали скрашивали эту проповѣдь ииногда—какъ, напримѣръ, у Нарѣжнаго—разсказъ отливалъ бодрымъ юморомъ. Но ни романъ Измайлова, ни многочисленные романы Нарѣжнаго ни въ какомъ смыслѣ не могутъ быть названы художественными, и потому въ поле нашего зрѣнія не входятъ.

Со всъми перечисленными произведеніями "Евгеній Онъгинъ", конечно, въ сравненіе идти не можетъ. Если имъть въ виду технику выполненія, а не широту содержанія, то его можно признать первымъ по времени

нашимъ реальнымъ романомъ.

Х. Общій обзоръ.

1. Литературная эпоха, за развитіемъ которой мы слѣдили, закончена нами 1825 годомъ, годомъ смѣны царствованія и сопровождавшей эту смѣну политической бури. Имѣемъ ли мы право при обозрѣніи такого непрерывнаго движенія, какъ развитіе литературныхъ вкусовъ, направленій и формъ указывать на какое-нибудь событіе или на какой-нибудь годъ, какъ на моментъ окончанія извѣстнаго періода въ исторіи литературы или какъ на моментъ начала новой эры? Не есть ли это опять возвратъ къ произвольному хронологическому дѣленію словесности или дѣленію ея по царствованіямъ?

Противъ такого дѣленія на царствованія (литература Александровской эпохи, литература Николаевскихъвременъ, литература въ царствованіе Александра ІІ) нельзя, кажется намъ, ничего возразить по существу, если только условиться въ пониманіи этихъ терминовъ. Недоразумѣніе можетъ получиться, если мы эти термины "Александровское время", "Николаевское время" будемъ понимать въ томъ традиціонномъ смыслѣ, къ какому насъ пріучила литература западная, гдѣ мы встрѣчаемъ такія ясныя для насъ рубрики въ исторіи литературы, какъ "вѣкъ Перикла", "вѣкъ Августа", "вѣкъ Елисаветы", "эпоха Медичи", "вѣкъ Людовика XIV" и у насъ "вѣкъ Екатерины". Въ томъ смыслѣ, какой приданъ этимъ терминамъ, мы не можемъ говорить о вѣкѣ Александра І, Николая І или Александра ІІ.

Августъ и Елисавета, и Людовикъ, и даже Екатерина какъ личности съ извъстнымъ міросозерцаніемъ и извъстными литературными вкусами прилагали особое свое стараніекъ тому, чтобы современныя имъ искусство и литература приняли опредъленное внутреннее и внъшнее направленіе, которое эти властители считали наиболъе совершеннымъ и достойнымъ ихъ царствованія. Свою власть правителя и законодателя эти монархи и монархини простерли на область художественнаго творчества, въ которой они были большіе знатоки или любители; и сколько бы непріятныхъ сторонъ въ "меценатствъ" ни было, надо признать, что это покровительство власти принесло искусству большую пользу. Оно часто оказывало художнику поддержку, и матерьяльную, и нравственную.

Императоры Александръ Павловичъ и Николай Павловичъ (ограничимся пока лишь первой половиной XIX въка) были люди тоже съ опредъленнымъ міросозерцаніемъ (у Александра Павловича оно испытало крутую ломку, у его брата, наоборотъ, за всю его жизнь оно было весьма цълостное) и безспорно люди съ любовью и интересомъ къ искусству (Александръ Павловичъ любилъ его не особенно пылко, а Николай Павловичъ любилъ очень). Оба они были меценаты-это безспорно-и о процвътаніи отечественныхъ музъ заботились. Но литература ихъ царствованія никакъ не желала идти по тому направленію, какое имъ было любезно и желательно. Въ лицъ самыхъ сильныхъ художниковъ эта литература шла наперекоръ тому міропониманію, какое стремились провести эти государи въ жизнь народа, которымъ они правили. Начиная съ 20-хъ годовъ XIX въка власть находилась въ постоянной ссоръ со словеснымъ искусствомъ, и поэтъ, романистъ и литераторъ былъ отданъ подъ очень строгую опеку, которая съ каждымъ годомъ становилась все придирчивъе и самовольнъе, что служило показателемъ постепеннаго уменьшенія довърія власти къ литературъ. И такое уменьшение довърія съ точки зрѣнія власти было вполнѣ законно, такъ какъ, дъйствительно, литература становилась во все болъе и болѣе оппозиціонное отношеніе къ государственному режиму-т. е., какъ бываетъ въ странъ, управляемой самодержавнымъ монархомъ, - къ убъжденіямъ, чувствамъ и вкусамъ самого правителя. То направление въ литературъ, которымъ властитель могъ остаться доволенъ, особенной силы и таланта не обнаруживало, а тъ писатели, которые дъйствительно двигали литературу и были наиболъе талантливы, тъ почти всъ шли наперекоръ господствующему и властью одобряемому теченію жизни. Въ царствованіе Александра Павловича этотъ разладъ литературы и власти еще не такъ ръзко проступаетъ наружу. Наиболъе уважаемые властью писатели вмъстъ съ тъмъ и передовые литераторы (для своего времени, конечно), какъ напримъръ, Карамзинъ и Жуковскій. Общее сентиментально-религіозное и патріотическое настроеніе, подогрѣтое борьбой съ Наполеономъ, объединяетъ и власть и литературу. Но уже къ началу двадцатыхъ годовъ начинаетъ чувствоваться разладъ между ними. Сначала власть ссорится съ наукой, затъмъ съ литературой. Ссорится она съ нею изъза либеральнаго ея направленія и изъ-за пробуждающагося въ ней критическаго отношенія къ дъйствительности. Ссора эта не совствить понятна, такъ какъ власть еще такъ недавно была сама проводникомъ либерализма въ жизнь и открыто поощряла, если не свободу дъйствія, то свободу мысли. И либерализмъ, критическое отношеніе къ жизни, свободная философская мысль постепенно просачиваются въ литературу и публицистику-какъ это видно въ поэзіи Пушкина двадцатыхъ годовъ, въ комедіи Грибоъдова, въ философскомъ направленіи кружка Веневитинова, въ гражданской пъснъ Рылъева. Положимъ, что этотъ либерализмъ, эта свободная философская мысль, это критическое отношение еще очень слабы и мимолетны, но власть все-таки считаетъ нужнымъ ограждаться отъ нихъ цензурными строгостями. Такимъ образомъ, словами: "въкъ Александра I" можно окрестить развъ только самые первые годы развитія нашей изящной словесности, когда въ самомъ началъ XIX въка Жуковскій и Карамзинъ были ея учителями и воспитателями.

Съ еще меньшимъ правомъ можно говорить о "Николаевскомъ въкъ" въ литературъ. Императоръ Николай Павловичъ хотълъ давать тонъ литера-

туръ и слъдилъ за ней очень зорко: въ исключительныхъ случаяхъ онъ даже бралъ на себя роль ея защитника передъ цензурой, какъ это было съ Пушкинымъ и Гоголемъ. Но всв его надежды на литературу не оправдались. Развъ только старшее покольніе литераторовъ — все тоть же Жуковскій, Пушкинъ, Крыловъ, – не то, чтобы оправдывали его надежды, а просто не сердили его. Все молодое въ литературъ, критикъ и публицистикъ шло противъ тъхъ тенденцій, какія онъ хотълъ провести въ нашу государственную и общественную жизнь. Достаточно вспомнить о томъ, какъ цензура зажимала ротъ и западникамъ и славянофиламъ, какъ трудно приходилось Бълинскому, Грановскому, Герцену и ихъ друзьямъ, какимъ опаснымъ считался Лермонтовъ. Даже Гоголь, этотъ консервативнъйшій изъ нашихъ писателей, при всей своей благонадежности невольно сталъ обличителемъ тахъ общественныхъ пороковъ, развитію которыхъ, несомнънно, способствовалъ установившійся правительственный режимъ. Такимъ образомъ, въкъ Николая Павловича въ литературъ есть собственно въкъ борьбы литературы съ тѣмъ, что императоръ умышленно или неумышленно бралъ подъ свою защиту. Въ концъ царствованія Николая Павловича, въ годы выступленія на литературное поприще Тургенева, Достоевскаго, Писемскаго, Островскаго, Некрасова, Гончарова и др. художникъ былъ зачисленъ въ разрядъ самыхъ опасныхъ враговъ правительственнаго порядка.

2. Итакъ, если ужъ говорить въ исторіи литературы объ эпохахъ Александра I и Николая I, то не въ старомъ смыслѣ "вѣка", на который эти властители наложили печать своего духа. Дѣлить исторію литературы на эти рубрики по царствованіямъ возможно только при условіи, если подъ царствованіями разумѣть хронологическія грани (1802—1825 и 1826—1855 годы).

Въ этомъ смыслъ дъленіе вполнъ допустимо, такъ какъ общій характеръ нашей духовной и общественной жизни въ первомъ періодъ (1802—1825) значительно отличался отъ его характера во второмъ (1826—1855). Перемъны, которыя произошли въ направленіи всей нашей жизни за это полустольтіе, отразились непосред-

ственно и на литературъ. Подъ вліяніемъ перемѣнъ, происшедшихъ въ жизни общественной и политической, измѣнилось и отношеніе художника къ жизни, измѣнился его взглядъ на себя, измѣнились также и пріемы его мастерства

Теперь, когда мы познакомились съ развитіемъ русской словесности въ царствованіе Александра Павловича, намъ не трудно будетъ уловить особенности психическаго настроенія нашего художника въ эти первые годы его жизни (1802—1825).

3. Припомнимъ вкратцѣ все сказанное.

Во главѣ государства стоитъ человѣкъ, получившій очень либеральное и гуманное воспитаніе и образованіе. Вступаетъ онъ на престолъ съ вѣрою въ людей и въ спасительное дѣйствіе добрыхъ людскихъ пожеланій. Какъ сынъ своего сентиментальнаго вѣка онъ думаетъ, что умъ и воля человѣка, правильно направленные, способны въ самый короткій срокъ переродить людей и осуществить на землѣ царство справедливости. Онъ начинаетъ свою дѣятельность съ цѣлаго ряда самыхъ гуманныхъ и либеральныхъ реформъ и убѣжденъ, что разъ эти реформы имъ подписаны, онѣ уже сами собой сдѣлаютъ свое великое дѣло. Онъ нетерпѣливо ожидаетъ благихъ послѣдствій своего благого настроенія.

Угрожающій рость наполеоновской имперіи заставляеть его однако все свое внимание и время отдать вопросамъ внъшней политики, а заботы о внутреннемъ развитіи своей страны онъ уступаетъ людямъ, которые такъ или иначе успъваютъ овладъть его довъріемъ. Война и дипломатія скоро окончательно отвлекають его отъ кропотливой, требующей большой выдержки домашней работы. Когда война кончается побъдой надъ Наполеономъ, онъ, и безъ того религіозный человъкъ и очень склонный къ мистическому толкованію житейскій явленій, - все болье и болье убъждается въ своей провиденціальной міровой роли; онъ понимаетъ свое призваніе не только какъ царя русскаго, но какъ всемірнаго героя, призваннаго служить всему челов'вчеству. Повседневная забота о Россіи отходить совствить на задній планъ, его настроеніемъ и умомъ овладъваютъ хитрые западные дипломаты, которые начинаютъ экс-

плоатировать его религіозно-сентиментальное настроеніе въ интересахъ реакціи религіозной и политической. Передъ нимъ возстаетъ труднъйшая задача, въ которой онъ разобраться не можетъ. Роль въ предълахъ Россіи кажется ему слишкомъ узкой и ничтожной; подъ вліяніемъ впечатлівній, вынесенныхъ изъ близкаго столкноненія съ культурой Запада, Россія становится ему непріятна своей отсталостью, и общественной, и культурной, и онъ пользуется всякимъ случаемъ убхать изъ ея предъловъ. Нъкоторое время онъ еще говоритъ либеральныя ръчи, которыя объщають даже полную ломку нашего государственнаго строя въ духъ западномъ, но затъмъ въ его душъ начинаетъ происходить нъчто загадочное и необъяснимое. Онъ переживаетъ. должно быть, великую душевную трагедію, которая едва ли можетъ быть возстановлена во всъхъ ея частностяхъ. Быть можетъ, все большее и большее погружение въ мистику, трудность выяснить себъ самому свою задачу, можетъ быть, разочарование въ людяхъ и въ своей родинъ, можетъ быть, вопросы личной этики, -- но только императоръ начинаетъ тяготиться и людьми и своей ролью. Имъ овладъваетъ какая-то тоска, которая заставляетъ его искать облегченія въ безконечныхъ путешествіяхъ, и онъ бъжить отъ работы, довольный тьмъ, что нашлись люди, которые за него готовы взять на себя трудъ управленія, а главное - отвѣтственность за него. Это уже не тъ люди, съ которыми онъ начиналъ свою юную жизнь властителя: тѣ были идеалисты и сентименталисты-люди того же душевнаго склада, что и онъ. Такіе люди теперь едва ли могли бы ему помочь. Ему нужны теперь люди трезвые до сухости, люди не теорій, а дъла, хотя бы самаго грубаго, люди съ волей, хотя бы жестокіе; однимъ словомъ, люди Аракчеевскаго типа. Имъ онъ довъряетъ, потому что они умъютъ ему импонировать и потому что для нихъ не существуетъ никакихъ вопросовъ, которые его мучатъ. И вотъ, вторая половина царствованія императора становится отрицаніемъ той программы, которую онъ возвъстилъ при своемъ вступленіи на престолъ. Наступаетъ реакція безпринципная и непослъдовательная, капризная, зависящая отъ настроенія власти. Насколько императоръ самъ

руководить ею—трудно сказать; върнъе, что онъ махнулърукой на эти внутреннія дъла государства, занятый больше дълами внутренними своей собственной души. По крайней мъръ, когда онъ узнаетъ, что въ государствъ готовится обширный заговоръ противъ него и даже противъ его жизни, онъ не принимаетъ никакихъмъръ огражденія—какъ будто чувствуя близость своей кончины. Говорятъ, что онъ при этомъ случать сказалъ, что не ему карать преступленія, на которыя онъ самънаталкивалъ своихъ подданныхъ. Если онъ, дъйствительно, такъ думалъ, то велика была трагедія, которую онъ переживаль. Въ 1825 году императоръ неожиданно умираетъ и тотчасъ же вспыхиваетъ возстаніе, усмирять которое приходится его брату.

На нашей общественной жизни такая личность правителя, какимъ былъ Александръ Павловичъ, въ общемъ отразилась благотворно. Въ началѣ царствованія онъ покровительствовалъ росту свободы совѣсти, свободы мысли и слова, и стремился пробудить въ своихъ подданныхъ чувства общественныя и политическія. Затѣмъ онъ сталъ гнать эти свободы и чувства, но гналъ какъбы нехотя и осторожно, и несмотря на Аракчеевщину во всѣхъ вѣдомствахъ, общественная самодѣятельность въ его царствованіе не замирала, а скорѣе разгоралась.

Большую помощь этой самодъятельности оказывало наше исключительное тогда положеніе среди другихъ культурныхъ народовъ. Мы приняли большое участіе въ дълахъ Европы. Съ 1807 года по 1815 мы были однимъ изъ главныхъ дъйствующихъ лицъ въ европейской императорской драмъ. Затъмъ мы реставрировали престолъ во Франціи, затъмъ дълили Европу на Вънскомъ конгрессъ, затъмъ почти до самой смерти Императора Александра I все участвовали на разныхъ конгрессахъ, вникая во внъшнія и во внутреннія дъла всего континента. Такое привилегированное положеніе должно было отражаться на нашемъ національномъ самосознаніи и вызвать въ насъ страшную торопливость, чтобы по всъмъ направленіямъ нагонять ту культуру, которая насъ къ себъ сразу такъ приблизила.

И эта культура стала дълиться съ нами всъми своими богатствами. Въ особенности богатъ былъ тогда притокъ къ намъ западной мысли и всевозможныхъ чувствъ и настроеній разныхъ вѣковъ и съ разной національной окраской, съ которыми знакомила насъ западная литература—тогда съ необычайной быстротой и въ большомъ обиліи перелетавшая черезъ нашу границу. Намъ пришлось знакомиться со всевозможными оттънками религіозной, философской, общественной и политической мысли, съ массою литературныхъ направленій и формъ, съ громаднымъ количествомъ историческихъ фактовъ изъ прошлаго культурной жизни Запада и ея настоящаго. Всѣмъ этимъ мы интересовались, все хотѣли усвоить и понять, желали даже всему это-

му противопоставить нѣчто свое.

Таковы были условія нашей внъшней жизни въ тъ годы. Жизнь внутренняя—она была полна самыхъ вопіющихъ несовершенствъ и аномалій, начиная съкрѣпостного состоянія. Сознаніе этихъ несовершенствъ быстро росло и кръпло въ обществъ, и отношение къ нимъ было отношение здоровое, хоть, можеть быть, и недостаточно энергичное. Сентиментальный складъ ума и сердца заставляль людей во многомъ полагаться на Бога, довърять его замъстителю на землъ и вообще върить, что въ человъкъ отъ природы гораздо больше предрасположенія къ добру, справедливости и истинъ, чъмъ ко всъмъ злымъ качествамъ и мыслямъ. При такомъ взглядъ отношение ко всъмъ несовершенствамъ жизни было довольно мягкое; оно могло быть очень сознательное, искреннее и глубокое, но оно ръдкобывало мучительнымъ или острымъ. Всегда была налицо въра въ человъка, въ его разумъ и добрыя его чувства, и какой бы болью и скорбью зло ни отдавалось въ сердить, всегда можно было надъяться, что съ помощью Божьей и силою земной со всъми несовершенствами легко справиться. Въ первые годы царствованія Императора Александра І такое сентиментальное міропониманіе было крайне повышено, но даже и въ последующе годы, годы реакціи, оно людей не покинуло. Нъкоторымъ пришлось, правда, пережить извъстную тревогу духа, извъстное смятеніе мыслей, и какой-то неопредъленный мракъ временно спустился на ихъ душу, мракъ, который поколебалъ въ нихъ дов'вріе къ Богу, власти и людямъ. Но такое настроеніе

улеглось въ этихъ чуткихъ душахъ быстро, и эта "романтическая" разновидность сентиментальнаго отношенія къ міру не разобщила ихъ съ людьми. Они продолжали въ нихъ върить, хотя и говорили о своемъ отчужденіи отъ нихъ. Въра эта въ силу доброй воли человъка и въ быестро торжество справедливости была у нъкоторыхъ столь сильна, что, не смотря ни на какую осязаемую и видимую реакцію, она толкнула ихъ на путь прямого возстанія противъ существующаго общественнаго и политическаго порядка. Нужна была сильная въра въ людей, и полное отсутствіе того, что называется разочарованіемъ, чтобы, не считаясь ни съ какими традиціями, не измъряя нисколько своихъ физическихъ силъ, не изучивъ людскую толпу ринуться такъ ръщительно впередъ, имъя за себя только убъжденіе въ своей правотъ.

И вотъ въ этихъ-то условіяхъ, при такомъ душевномъ настроеніи и образѣ мыслей пришлось жить художнику слова. Вполнѣ естественно, что эти условія опредѣлили его отношеніе къ тому матерьялу, какой ему давала жизнь, и повліяли на его оцѣнку своего

призванія.

Передъ художникомъ открывалось необозримое поле новыхъ ощущеній, впечатлъній и мыслей. Многое въ этомъ было ему дано совсѣмъ готовымъ, какъ итогъ чужой культуры, глубокой по смыслу и красивой по формѣ. Ему оставалось только повторить этотъ итогъ русской художественной рѣчью, которая къ этому времени уже родилась и быстро совершенствовалась. Многое открылось ему также и въ его родной, общественной и идейной жизни, которая сама подъ исключительными историческими условіями стала теперь проявлять все усиливавшееся броженіе.

Самое дорогое въ этой новизнъ впечатлъній и мыслей было для художника, конечно, его личное отношеніе къ ней. Все для него было такъ ново, такъ неожиданно, все такъ возбуждало прежде всего его любопытство, что онъ съ большой поспъшностью переходилъ отъ одного порядка чувствъ къ другому, отъ одной идеъ къ другой, подставляя себя неръдко подъ упрекъ невыдержанности въ настроеніяхъ и мысляхъ. Но этими настроеніями и мыслями, равно какъ и фактами, со

всѣхъ сторонъ на него налетѣвшими, онъ былъ подавленъ, ослѣпленъ и смущенъ. Времени привести все это въ стройную систему у него не было. Еще слишкомъ неопытенъ былъ онъ для такой систематизаціи. Онъ наслаждался новизной жизни, жадно ловилъ всѣ впечатлѣнія своимъ умомъ и сердцемъ, но спокойно, объективно отнестись къ жизни онъ не могъ—занятый больше своей личностью, чѣмъ ею. Такъ, въ ранніе годы, когда, выражаясь словами поэта, "намъ новы всѣ впечатлѣнія бытія", относимся и мы къ жизни, не столько думая надъ ея смысломъ, сколько наслаждаясь ея разнообразіемъ; мы бываемъ при этомъ и веселы и печальны, поддаваясь настроенію минуты.

Субъективное отношеніе къ жизни, какое наблюдается у всѣхъ нашихъ художниковъ за это время,— не есть результатъ какой-нибудь односторонности духа или недостатка художнической организаціи. Это вполнѣ естественное явленіе при тѣхъ условіяхъ жизни общественной, при какихъ художники родились и начали развиваться. Даже тѣ изъ нихъ, у которыхъ былъ несомнѣнный даръ наблюденія, не за собой только, а за жизнью внѣшней, и тѣ не могли удержаться, чтобы не подчеркивать постоянно своихъ чувствъ, своихъ настроеній и мыслей. Ихъ личность стоитъ въ центрѣ всего ихъ творчества, и оцѣнка окружающей дѣятель-

ности сводится для нихъ къ самооцънкъ.

Въ этомъ субъективномъ отношеніи къ міру художники проявляютъ въ общемъ довольно миролюбивое и благодушное настроеніе. Какъ бы они ни сердились и какъ бы порой печальны ни были, они все-таки остаются довърчивыми сентименталистами и только на очень короткое время душою нѣкоторыхъ изъ нихъ овладѣваетъ та "романтическая" тревога духа, та тревожная форма сентиментальнаго міропониманія, которая заставляетъ ихъ, вѣрующихъ и любящихъ, на словахъ стать отрицателями и пессимистами. Но этотъ "романтизмъ" въ Александровскіе годы былъ явленіемъ исключительнымъ и всецѣло овладѣть душой художника, какъ онъ овладѣлъ ею позже, не могъ. Если теперь задать себѣ вопросъ, какую же общечеловѣческую психическую силу преимущественно проявилъ

нашъ художникъ въ своемъ эстетическомъ отношении къ міру, - искалъ ли онъ, какъ художникъ, въ окружающей его жизни импульса для размышленія, для возбужденія въ себъ волевыхъ эмоцій или онъ искалъ въ жизни прежде всего пищи для своей фантазіи, для своего чувствато придется признать, что въ этотъ періодъ своего развитія нашъ художникъ преимущественно жилъ чувствомъ, довольствовался впечатлъніями и ощущеніями, насыщалъ ими свою фантазію, дорожилъ богатствомъ этой фантазіи и въ широчайшемъ развитіи этой чуткости, этой способности чувствовать, видълъ главное свое достоинство и конечную цъль своего призванія. Онъ хотълъ быть "эхо" всей вселенной и до извъстной степени ему это удавалось. Надъ тъмъ, что онъ получалъ извиъ, думалъ онъ мало, такъ какъ впечатлънія смънялись необычайно быстро и кругомъ кипъла жизнь, отливавшая самыми разнообразными красками. Особенно задумываться не приходилось и потому, что слишкомъ довърчиво смотрълъ человъкъ на все, что вокругъ него творилось. Эта довърчивость уменьшала въ художникъ также и желаніе принять непосредственное участіе въ событіяхъ, которыя на его глазахъ вершились. Воля, импульсъ къ дъйствію, желанье сблизить мечту и жизнь были въ эти годы очень слабо развиты въ художникъ. Онъ сторонился отъ "толпы", отъ житейской суеты (подводя подъ названіе суеты иногда весьма серьезные вопросы жизни), онъ хотълъ быть преимущественно созерцателемъ и очень дорожилъ этой способностью сохранять хладнокровіе среди общаго волненія. Эстетическій аристократизмъ считалъ онъ необходимымъ условіемъ для истиннаго творчества, вполнъ увъренный, что на своемъ посту, оставаясь вдали отъ житейской сутолоки, онъ для жизни сдълаетъ больше, чъмъ если непосредственно втянется въ ея омутъ. Свободу, широту и глубину чувствъ, отзывчивость "на все"-вотъ что цѣнилъ онъ всего больше въ искусствъ.

Когда мы такъ напираемъ на эту роль чувства въ психикъ художника того времени, то, конечно, мы не имъемъ въ виду ея исключительной, единственной власти надъ душой человъка. Нътъ людей, которые бы

жили однимъ чувствомъ, безъ импульсовъ воли и склонности къ логической систематизаціи впечатлівній и ошущеній. Были и въ эти годы художники съ большимъ тягот вніемъ къ отвлеченной мысли, какъ наприм'єръ, Веневитиновъ, были другіе, которые, какъ напримъръ, Рыл вевъ, вносили въ свою лирику много боевого настроенія, но это были исключенія; въ общемъ въ поэзій того времени преобладаетъ "чувствительное" отношеніе художника къ жизни, при которомъ, занятый почти исключительно самимъ собою, онъ ловитъ и выслѣживаетъ всѣ новыя для него впечатлѣнія кипучей многоцвътной жизни, спъшить оть одного впечатлънія къ другому, радуется ихъ обилію, красоть и новизнъ, въ общій же ихъ философскій смыслъ вникаетъ мало и еще меньше желаетъ принять въ этой жизни непосредственное волевое и активное участіе. Такова психологія художника за этотъ первый періодъ развитія нашей словесности. Она рѣзко мѣняется во второй.

4. Смерть императора Александра Павловича и декабрьскія событія 1825 года—дата необычайно важная не только въ исторіи развитія нашей гражданственности, но и въ исторіи нашей словесности. Совсъмъ особая психологія художника вырабатывается въ Николаевское

царствованіе.

На престолъ вступаетъ человъкъ совсъмъ иного склада ума и сердца, чъмъ его братъ. Вступаетъ онъ на престолъ среди мятежа, который, какъ онъ убъжденъ, на-половину – дъло рукъ литераторовъ и публицистовъ. Не безъ основанія винить онъ въ этомъ мятежѣ, --который на всю жизнь отравилъ ему воспоминаніе о первомъ днѣ его царствованія, --пылкое чувство энтузіастовъ и впечатлительныхъ натуръ. Такихъ людей императоръ не терпитъ и во все продолженіе своего царствованія гонитъ. Натура совершенно не сентиментальная, а необычайно трезвая, прямолинейная и практичная, императоръ Николай Павловичъ еще терпитъ истинныхъ сентименталистовъ съ религіознымъ и мирнымъ складомъ души; сентименталисты же романтики, "тревожныя души" ему подозрительны какъ натуры "недовольныя".

Самъ онъ-логикъ, и безпощадный логикъ идеи самодержавія. Никакихъ колебаній и переломовъ духа онъ никогда не зналъ (или, можетъ быть, узналъ ихъ только передъ самой кончиной). Слъпо отдался онъ одной цъли - поддерживать безъ какого-либо компромисса существующую форму правленія въ Богомъ хранимой Россіи. Этотъ принципъ онъ проводилъ неумолимо во всъ области и отрасли нашей матерьяльной и духовной жизни. Онъ мнилъ себя высшимъ опекуномъ мыслей, настроеній и образа дъйствія своихъ подданныхъ. Сообразно съ этимъ былъ установленъ и режимъ воспитанія и программы обученія и опредълены границы печатнаго и устнаго слова. То, что при императоръ Александръ Павловичъ придавало нашей жизни такой колоритъ, - свободное или, върнъе, относительно свободное развитіе религіозныхъ, общественныхъ и политическихъ идей, было теперь страшно затруднено строжайшимъ правительственнымъ контролемъ надъ этими идеями. Допущенъ былъ только ростъ мысли философской и то преимущественно въ области одной эстетики. Такимъ образомъ, живой обмънъ мысли исчезалъ мало-по-малу изъ области печатнаго слова и становился достояніемъ частной бесъды или письма. Литература проигрывала отъ этого безмѣрно, художникъ неизбѣжно долженъ былъ чувствовать себя въ постоянной опаскъ, и свободное обращение съ матерьяломъ, который ему давала жизнь, становилось для него почти немыслимо.

Вмъстъ съ этой вялостью гласной мысли шла возрастающая вялость всей общественной жизни. Режимъ требовалъ прежде всего спокойствія и рутинной механичности движенія. Ни о какой общественной самодъятельности, которую стремилось вызвать александровское царствованіе, по крайней мъръ въ первые свои годы, не могло быть и ръчи. Даже на мелкія проявленія этой самодъятельности, какъ напримъръ, на жизнь частныхъ литературныхъ кружковъ власть смотръла косо. И интересъ къ общественной жизни, интересъ къ

вопросу дня падалъ все больше и больше.

Ничего возбуждающаго и бодрящаго не давало и наше международное положение тъхъ годовъ. Турецкая

война, венгерскій походъ, затянувшаяся война на Кавказѣ—какъ это все было жалко сравнительно съ тѣмъ,
что такъ недавно было пережито. Пусть наше положеніе среди державъ и было почетное, но оно лишено
было всякаго блеска. На Западѣ, правда, жизнь шла очень
бурнымъ ходомъ и была полна глубокаго смысла, героизма и внѣшней красоты, въ особенности въ періодъ
времени отъ 1830 до 1848 года,—но наши связи съ Западомъ къ этому времени очень ослабѣли. Связи эти
могли быть только идейныя, такъ какъ прямого участія
въ жизни Запада мы не принимали. Но именно этотъ
обмѣнъ идей былъ тогда очень затрудненъ въ виду
особенно сильнаго подъема либеральной и радикальной
мысли у нашихъ сосѣдей.

Таковы были условія, при которыхъ теперь приходилось жить художнику новаго покольнія: сърая, регламентированная и скучная жизнь внутри, сильное пониженіе въ обмънъ гласной мысли, значительное уменьшеніе притока впечатлъній извнъ и постоянная боязнь сказать что-нибудь лишнее или сдълать что-нибудь не-

дозволенное.

Старшее поколъніе художниковъ, съ Пушкинымъ и Жуковскимъ во главъ, должно было, казалось, всего бользненнъе ошутить происшедшую перемъну въ атмосферъ. Оно ошущало ее безспорно, но съ ней примирилось, попрежнему довърчивое и оптимистически настроенное. Явленіями современной жизни это старшее поколъніе попрежнему интересовалось мало, устраняя изъ области искусства все, могущее возбудить такъ или иначе тревогу духа.

Для художника молодого поколѣнія такое примиреніе было невозможно. Жизнь оказывала своеобразное вліяніе на его психику и учила его нѣсколько иначе смотрѣть на ея явленія, чѣмъ смотрѣли его старшіе братья. Тѣ искали преимущественно впечатлѣній, на все откликались и полагали, что этимъ ихъ роль исполнена. Теперь это отношеніе художника къ жизни

существенно мъняется.

Прежде всего является потребность разобраться въ накопленномъ богатствъ впечатлъній и мыслей. Жизнь перестаетъ давать неустанно новое. Она становится

такъ однообразна и скучна въ своемъ теченіи, что интересоваться ея видимостью нельзя, и для всякаго человъка чуткаго и умнаго остается одинъ выходъ: этоотвлечение отъ фактовъ и переносъ всего своего интереса на ту общую мысль, на тотъ общій смыслъ, который должны же имъть эти разрозненные факты, столь ничтожные и сърые, если ихъ брать поодиночкъ. Стремленіе къ отвлеченной обобщающей мысли, которая помирила бы человъка съ окружающей его безцвътной обстановкой, истолковала бы ему смыслъ того, что не поражаетъ его ни красотой, ни разнообразіемъ, ни неожиданностью, которая наконецъ связала бы въ одно приот все, что онъ успълъ узнать о прошломъ и что успълъ схватить въ настоящемъ-это стремленіе сказывается очень ясно въ нашей критикъ и публицистикъ Николаевскихъ временъ, и проникаетъ также и въ литературу. Кружки Станкевича и Герцена-кружки теоретиковъ, по преимуществу. Пусть въ одномъ кружкъ преобладаетъ интересъ къ чистому умозрѣнію и къ эстетикъ, а въ другомъ къ соціальнымъ вопросамъ,но для членовъ и того и другого братства общій смыслъ явленій дороже ихъ видимости. Эту видимость они готовы всегда истолковать въ угоду извъстной теоріи, и того, что называется практическимъ смысломъ, у нихъ очень мало: нътъ въ нихъ и этой способности любоваться только лишь фактомъ и довольствоваться впечатлъніемъ, какое онъ на нихъ производитъ. Они все и обо всемъ размышляютъ. Этимъ объясняется и ихъ увлеченіе туманностями нѣмецкой философіи, которая повидимому такъ далека отъ русской жизни. Но она для нихъ важна тъмъ, что даетъ готовыя формулы для ихъ теоретическихъ выкладокъ. Изъ этихъ же иностранныхъ философскихъ формулъ съ примъсью нащональнаго сентимента выводятъ свое ученіе и наши славянофилы тъхъ годовъ. И они-теоретики и мыслители по преимуществу, съ весьма малымъ чутьемъ реальнаго факта. Со многими весьма нежелательными явленіями нашей жизни они готовы помириться, прикрывъ ихъ отвлеченнымъ истолкованіемъ. Столь же отвлеченной, какъ эта публицистическая и историческая мысль, становится въ тъ годы и художественная критика. Сначала

Надеждинъ, затъмъ Бълинскій превращаютъ критику въ философско-эстетическій трактать. Критикъ начинаетъ доискиваться главнымъ образомъ смысла тъхъ произведеній искусства, которыя его пліняють. Сначала его интересуетъ больше всего смыслъ самого процесса художественнаго творчества, затъмъ-смыслъ тъхъ явленій жизни, которыя воплощены въ художественные образы. И этотъ смыслъ явленій понимается имъ какъ общій философскій смыслъ и только подъ самый конецъ своей жизни въ серединъ сороковыхъ годовъ критикъ начинаетъ оцтнивать художественные памятники какъ реальный документъ данной исторической эпохи.

Это стремленіе въ живыхъ явленіяхъ дъйствительности цѣнить выше всего ихъ общій смыслъ проникаетъ и въ область чистаго художественнаго творчества. Николаевскія времена не очень богаты настоящими художниками слова. Если говорить объ истинныхъ художникахъ, которые въ эти времена развились и вполнъ созръли, то такихъ было только два: Гоголь и Лермонтовъ. Остальные—либо публицисты, какъ напр., кн. В. Ө. Одоевскій и Герценъ, либо еще не совстить сформировавшіеся таланты, какъ напр., молодые "натуралисты" конца сороковыхъ годовъ - Тургеневъ, Гончаровъ, Достоев-

скій, Григоровичъ, Островскій и Некрасовъ.

Если оставить въ сторонъ этихъ "натуралистовъ" учениковъ Гоголя, расцвътъ творчества которыхъ падаетъ въ болѣе позднюю эпоху, и считаться только съ творчествомъ тъхъ художниковъ, которые въ Николаевскія времена достигли полнаго развитія своихъ творческихъ силъ. то вторжение общей мысли въ искусство сказывается ясно на ихъ произведеніяхъ. Всѣ повѣсти Герцена-этико-соціальныя мысли въ формъ беллетристическаго разсказа. Повъсти кн. В. О. Одоевскаго также не что иное, какъ философскія, эстетическія и этическія разсужденія въ лицахъ.

Но самый характерный примъръ вторженія мысли въ творчество и ръдкій примъръ борьбы этой мысли съ творчествомъ даетъ намъ исторія развитія таланта Гоголя. Взятый самъ по себъ этотъ талантъ былъ чуждъ всякаго раздумья. Рѣдко являлся художникъ, который бы такъ умълъ непосредственно и върно схватывать дъйствительность, какъ Гоголь. Въ особенности веселая и комичная сторона жизни была ему хорошо видна-Но съ самыхъ первыхъ лътъ своей литературной работы Гоголь былъ убъжденъ, что онъ призванъ не только изображать жизнь, но и разгадать ея таинственный смыслъ. Онъ по духу былъ настоящій сентименталистъ и моралистъ, и въ немъ съ годами крѣпла эта склонность истолковывать вст явленія жизни въ религіозномъ и нравственномъ смыслъ. Такой смыслъ онъ хотълъ найти не только въ самихъ житейскихъ явленіяхъ, но и въ собственномъ своемъ творчествъ. И это непосредственное творчество онъ сталъ портить въ угоду разнымъ общимъ взглядамъ, которые онъ съ гръхомъ пополамъ вырабатывалъ, имъя къ отвлеченной мысли весьма слабое призваніе. Долго его крупн'яйшій талантъ боролся противъ этой идеологіи, но къ серединъ сороковыхъ годовъ ослабълъ, и художникъ-Гогольпреобразился въ чистаго проповъдника. И такое насиліе надъ талантомъ было совершено во имя мысли, которую надобно было доказать во что бы то ни стало. Отъ такого насилія пострадаль тогда не одинъ только Гоголь.

Можно вспомнить и о Кольцовъ...

Но не всегда человъкъ способенъ успоконться на какой-нибудь чистой мысли-религіозной, философской или этической. Не для всъхъ людей диссонансы жизни разрѣшаются на такихъ высотахъ или въ такихъ глубинахъ. Раздумье надъ жизнью, надъ противоръчіемъ идеала и дъйствительности для многихъ можетъ такъ и остаться печальнымъ раздумьемъ, изъ котораго нътъ примиряющаго исхода. Такое раздумье можетъ привести человъка къ очень пессимистическому взгляду и повысить въ его душъ то настроеніе, которое мы условно назвали "романтическимъ". И оно очень повысилось въ Николаевскія времена. Въ Александровскую эпоху мы его подм'втили въ очень слабой форм'в у Пушкина, въ періодъ, когда онъ жилъ на югъ. Теперь при новыхъ общественныхъ условіяхъ, столь враждебныхъ всякому благодушію и оптимизму, при неустанной работъ мысли, которая искала разръшенія жизненныхъ диссонансовъ и не могла найти ихъ, - повышение тревоги въ чуткихъ сердцахъ становилось неизбъжно.

Литература очень ясно отразила на себъ эту усилившуюся тревогу. Русскій "романтизмъ" начиналъ находить своихъ наиболѣе сильныхъ выразителей. Это былъ "романтизмъ", который не только проводилъ ръзкую грань между идеаломъ и жизнью, и сокрушался о несоотвътствіи мечты и дъйствительности, это былъ "романтизмъ" въ большой степени озлобленный и пессимистическій. Онъ готовъ быль обрушиться и на Бога, и на людей, и на всякую власть земную, и если онъ этого не дълалъ, то потому, что его принуждали къ молчанію. Стъсненное въ своихъ нападкахъ на самую жизнь, многія стороны которой были ограждены отъ всякаго гласнаго обсужденія, это недовольство жизнью неръдко всею своею тяжестью ложилось на душу самого носителя этой печали и порождало ть острыя формы разочарованія, при которыхъ челов'єкъ разочаровывался въ самомъ себъ и терялъ всякую бодрость духа. Въ конечномъ результатъ такого психическаго процесса могло появиться ощущение и сознание, что человъкъ сталъ совершенно "лишнимъ" среди соотечественниковъ, друзей, знакомыхъ и даже въ своей собственной семьъ. И, дъйствительно, литература и публицистика конца сороковыхъ годовъ отмътили появленіе у насъ такихъ лишнихъ людей.

Всѣ эти различныя формы обострившейся душевной тревоги имъютъ среди писателей Николаевскаго времени своихъ выразителей. Въ формъ очень неопредъленной, но патетической она проявилась въ нъкоторыхъ повъстяхъ и драматическихъ сочиненіяхъ Н. Полевого. Въ повъстяхъ Марлинскаго она же облеклась въ форму очень красивой страстности и демоничности. Мы находимъ ее съ примъсью большой грусти и печали въ стихотвореніяхъ Полежаева. Наконецъ все творчество Лермонтова есть непрерывное раздумье надъ смысломъ жизни, надъ собственнымъ призваніемъ, надъ этической проблемой міра-раздумье, которое привело поэта къ глубоко пессимистическому взгляду на жизнь и разочарованію, близкому къ отчаянію. Вся эта повышенная романтическая тревога духа вытекала не только изъ повышенности чувствъ, но была обусловлена прежде всего тъмъ, что цълый рядъ самыхъ глубокихъ и неотвязныхъ мыслей обступилъ человъка и требовалъ разръшенія. Тотъ, кто не могъ просто отмахнуться отъ этихъ мыслей, кто не могъ разръшить ихъ въ отвлеченныхъ формулахъ—тотъ изнемогалъ подъ ихъ бременемъ и утрачивалъ способность спокойнаго отношенія къ жизни: сначала относился съ большой страстностью даже къ ея мелочамъ, а затъмъ кончилъ разочарованіемъ, которое не хотъло замътить даже самыхъ серьезныхъ сторонъ окружающей дъйствительности.

А время шло, и общественный и умственный уровень жизни повышался. Къ концу сороковыхъ годовъ стало ясно чувствоваться, что такія отношенія къ жизненнымъ явленіямъ, при которыхъ человѣкъ исходитъ изъ повышеннаго чувства или отвлеченной мысли не соотвътствують больше назръвшимъ потребностямъ. Жизнь стала требовать отъ людей, чтобы они, созерцая ее и раздумывая надъ ней, не забывали, что они призваны быть въ ней активной, дъйствующей силой. Въ Николаевскія времена навстрѣчу этому требованію пошли лишь немногіе люди, но почти всѣмъ становилось ясно, что въ отвлеченную мысль отъ жизни не уйдешь, и что разочарованный взглядъ на нее грозитъ перейти въ шаблонную безсодержательную позу. Герои въ родъ Гамлета щигровскаго утвада или Грушницкаго теряли кредитъ и обаяніе, но новый герой не появлялся. Да и не могь онъ явиться при тогдашнихъ общественныхъ условіяхъ.

Но, несмотря на тяжесть этихъ условій, отдѣльныя лица своими словами и своимъ поведеніемъ показывали, что отъ чувствъ и разсужденій они готовились перейти къ дѣйствію. Критика Бѣлинскаго за послѣдніе годы его жизни направляла вниманіе читателя на общественные вопросы и, насколько это было возможно, указывала ему ту общественную программу, которой нужно было придерживаться. Повѣсти и публицистическія статьи Герцена переводили вопросы прямо на практическую почву, и когда работа въ этомъ направленіи стала въ Россіи немыслима, Герценъ переселился за границу. Бакунинъ—самый ярый защитникъ отвлеченной мысли,—тоже бѣжалъ за границу и сразу обнаружилъ темпераментъ революціоннаго агитатора. Мистикъ и

патріотъ консервативнаго склада—Гоголь и тотъ въ своей "Перепискъ съ друзьями" сталъ прописывать читателю рецепты практической дъятельности. Наконецъ къ этому же времени образовался кружокъ Петрашевцевъ — первый кружокъ, въ которомъ западный соціализмъ сталъ предметомъ изученія, и, разумъется, не ради изученія только. Всъ эти симптомы указывали достаточно ясно на то, что на смъну прежнимъ взглядамъ на жизнь шелъ новый, который отъ человъка требовалъ уже не отзывчивости и раздумья только, а извъстнаго напряженія воли. Эту перемъну, которая теперь давала себя чувствовать въ отношеніи человъка къ жизни, — долженъ былъ почуять и художникъ.

Въ недавнемъ прошломъ онъ такъ много созерцалъ и чувствовалъ, и такъ смѣло ставилъ свою личность въ центръ мірозданія; онъ только что пережиль долгіе годы раздумья, и жилъ преимущественно мыслью, чистой, отвлеченной, обобщающей, въ сферъ которой думалъ разръшить всъ противоръчія жизни. И на время онъ, дъйствительно, забывался на ея высотахъ или впадалъ въ отчаянье, не будучи въ состояни удержаться на нихъ. Теперь передъ художникомъ возникалъ совсъмъ иной вопросъ - очень опасный для самого искусства, вопросъ о "направленіи", котораго долженъ держаться писатель и художникъ. Много объ этомъ вопросъ спорили, спорять и въ наши дни. Существуетъ взглядъ, что всякое "направленіе" или, что то же, всякая "тенденція" необычайно вредна для "свободнаго" искусства, что роль художника вовсе не въ томъ, чтобы проводить въ жизнь какую-нибудь программу, что онъ-служитель искусства, а не общественный дъятель въ тъсномъ смыслѣ этого слова. Этотъ взглядъ, который нерѣдко основывался на очень глубокихъ философскихъ размышленіяхъ, неоднократно опровергался самой жизнью, и неръдко великіе художники становились проводниками чисто практическихъ житейскихъ программъ. Иначе оно и быть не могло. Художникъ прежде всего человъкъ, а затъмъ уже художникъ. Какъ бы онъ ни ограждалъ себя отъ общества, онъ все-таки членъ его, участникъ въ развитіи извъстнаго историческаго момента. Какъ можеть онъ уберечься отъ общаго теченія жизни, когда

оно его влечетъ по извъстному направленію? Онъ можетъ разно оцънивать запросы жизни, но удалить ихъ изъ поля своего художественнаго эрънія онъ не можетъ.

Когда со средины сороковыхъ годовъ въ нашемъ обществъ начало ясно сказываться пробужденіе извъстнаго волевого, активнаго начала, когда чувство общественности настолько окръпло, что созерцаніе и раздумье перестали удовлетворять людей, — естественно, что такая чуткая организація, какъ психика художника, не могла не почувствовать происходящей перемъны въ общественномъ настроеніи. Волевое начало просыпалось и въ душть художника, и возникалъ передъ нимъ этотъ труднъйшій вопросъ — какъ удовлетворить это

новое, необычное для него чувство?

Удовлетворить его было потому трудно, что оно предполагало прежде всего широкое и глубокое знаніе окружающей дъйствительности. Какъ дъйствовать или какъ рекомендовать действіе въ известномъ направленій, когда не располагаешь достаточнымъ знаніемъ деталей жизни? Русская жизнь была такъ разнообразна и своеобразна во всъхъ своихъ слояхъ-а что зналъ о ней русскій художникъ? Онъ былъ занять до сихъ поръ почти исключительно своей собственной личностью, своими настроеніями и своими идеями. Онъ не изучалъ того необозримаго поля реальныхъ фактовъ, которое передъ нимъ раскинулось, а между тъмъ онъ начиналъ сознавать, что это-то поле и есть та арена, на которой онъ призванъ "дъйствовать", быть можетъ, по своему дъйствовать, но во всякомъ случат не только созерцать или погружаться въ раздумье.

И вотъ съ конца сороковыхъ годовъ мы наблюдаемъ въ нашей словесности необычайно быстрый полъемъ интереса художника къ окружающей его дъйствительности. Еще Гоголь, при всей своей субъективности и при своемъ желаніи истолковывать житейскіе факты въ угоду извъстной теоріи, —показалъ, какое колоссальное богатство поэзіи таится въ томъ, что принято называть прозой жизни. Теперь на эту прозу и было устремлено вниманіе художника. Молодая, какъ ее тогда называли, "натуральная" школа въ лицъ писателей очень крупнаго таланта принялась разрабатывать матерьялъ, до-

сель почти нетронутый. Тургеневъ въ "Запискахъ охотника" сдълалъ цълыя открытія въ области народной крестьянской психики и далъ намъ въ первый разъ вполнъ правдивыя картины крестьянскаго и помъщичьяго быта. На помощь ему пришелъ Григоровичъ со своимъ "Антономъ Горемыкой". Островскій въ своемъ "Банкроть" (переименованъ позднъе въ "Свои люди сочтемся") знакомилъ читателя со средой совсъмъ пока неизвъстной - съ купеческимъ бытомъ. Гончаровъ въ "Обломовъ" готовилъ цълую эпопею изъ жизни помъстнаго дворянства, и въ "Обыкновенной исторіи"вскрылъ передъ нами чиновную душу высокаго, столичнаго полета, и наконецъ Достоевскій въ "Бъдныхъ людяхъ" и въ первыхъ своихъ разсказахъ не убоялся завести читателя въ компанію лицъ, стоящихъ на самыхъ низкихъ ступеняхъ общественной лъстницы. Тогда же начиналъ свою литературную дъятельность и Некрасовъ, который, къ великому соблазну современниковъ, сталъ рядить въ стихотворную форму самые

прозаическіе сюжеты.

Нъкоторыя темы, которыя въ своихъ произведеніяхъ затрогивали эти писатели, были не новы, но отношеніе писателя къ этимъ темамъ было и новое, и своеобразное. Для художника первымъ условіемъ стала правда самой жизни, правда, которая могла идти въ разрѣзъ съ ихъ собственными ожиданіями, настроеніями и идеями. Раньше они требовали правды только отъ себя самихъ, теперь они свою личность отодвинули совствить на задній планть и сама жизнь во всемть ея разнообразіи стала ихъ первой заботой. Субъективное отношение къ матерьялу уступило мъсто объективному, и художникъ становился бытописателемъ. Онъ не выбиралъ, какъ прежде, изъ жизни только то, что гармонировало съ его настроеніемъ или міропониманіемъ, онъ цънилъ фактъ не постольку, поскольку онъ будиль въ немъ извъстныя чувства и мысли, -ему фактъ становился дорогъ самъ по себъ, какъ проявление жизни, которая теперь обращалась къ нему съ требованіемъ войти въ ея интересы, принять въ ея движеніи бол'є непосредственное участіе, ч'ємъ онъ принималъ раньше.

Съ каждымъ годомъ это новое требованіе сознавалось художникомъ все отчетливъе и онъ, занятый собираніемъ и изученіемъ матерьяла, естественно не могь остановиться на простомъ его воспроизведеніи, хотя бы и художественномъ; нарастаніе волевого начала, повышеніе активнаго отношенія къ жизни, какое чувствоваль онъ вокругъ себя и въ себъ самомъ, —должно было привести его къ ръшенію оттънить и подчеркнуть въ своихъ произведеніяхъ то "направленіе", въ какомъ, по его мнънію, родная ему жизнь должна двигаться.

И, дъйствительно, онъ сталъ проводить это направленіе въ своемъ творчествъ. Дъло было очень трудное въ Николаевскія времена, такъ какъ именно въ то время, когда художникъ почувствовалъ въ себъ это повышеніе волевого начала, власть, напуганная событіями 1848 года, обрушилась невъроятными репрессіями на всякое печатное слово. Проводить открыто какоенибудь направленіе при такихъ условіяхъ было невозможно, и у нашихъ "натуралистовъ", какъ ихъ тогда называли, въ концъ сороковыхъ годовъ мы можемъ подмътить лишь самое общее направленіе— "гуманное", которое имъло въ виду повысить въ читателъ интересъ ко всъмъ униженнымъ, оскорбленнымъ, бъднымъ въ матерьяльномъ смыслъ и въ духовномъ.

5. Съ 1855 года, послъ кончины императора Николая Павловича, послъ Крымской войны, общественная наша жизнь, а вмъстъ съ ней и наше словесное художественное творчество вступаетъ въ новый періодъ своего развитія, отличный отъ двухъ предшествующихъ.

Общій характеръ такъ называемой "эпохи реформъ"— по преимуществу практическій и активный. Сознавая недостатки стараго строя, власть сама рѣшилась призвать общество на помощь въ дѣлѣ обновленія всѣхъ устоевъ нашей общественной жизни. Призывъ былъ сначала очень искренній, и въ первые годы довъріе власти къ обществу и общества къ власти обѣщали очень плодотворную работу. Но очень скоро это довъріе исчезло; требованія, которые ставило общество въ лицѣ своихъ передовыхъ элементовъ, повышались очень быстро. Власть не нашла возможнымъ удовле-

творять ихъ, и, не считаясь съ психологическими мотивами, изъ которыхъ такія требованія вытекали, взглянула на нихъ, какъ на преступленіе. Вм'єсто того, чтобы использовать силу ума, характера, темперамента, которую проявляло общество, и умълыми и своевременными мърами избъжать или обезвредить неизбъжныя крайности въ чувствахъ и мысляхъ, власть прибъгла къ старымъ репрессивнымъ пріемамъ, которые, конечно, цъли своей достичь не могли. Послъ краткаго періода относительнаго мира между обществомъ и властью (1855 — 1861) началась та внутренняя война "охранительнаго" начала съ "прогрессивнымъ", война партизанская, безъ перемирія, которая длится вплоть до нашего времени, вотъ уже болве полустольтія. Въ предълы нашей задачи не входить оцънка этой войны или ея исторія, но одинъ непосредственный ея результать для насъ необычайно важенъ. Какой бы ни былъ темпъ этой борьбы передовыхъ общественныхъ силъ, затихала ли она временно или ярко вспыхивала, велась ли она цълыми широкими кругами общества или болъе тесными группами, но во всехъ образованныхъ людяхъ, даже и полуобразованныхъ она повышала энергію и возбуждала ихъ къ дъйствію. Мы часто привыкли жаловаться на то, что наше общество инертно и вяло, что изъ всъхъ психическихъ силъ воля развита въ немъ слабъе другихъ. Нельзя, конечно, похвастать особенной склонностью нашего общества къ самодъятельности, - но если вспомнить, что пятьдесять лътъ тому назадъ мы имъли многомилліонную кръпостную массу, совершенно темную, пожалуй не менъе темное сословіе мъщанское и купеческое, что дворянство наше въ большой массъ было полутемное, какъ и чиновничество и духовенство, что наконецъ всъ эти сословія и группы жили жизнью очень рутинной, и инертной, безъ малъйшихъ признаковъ самодъятельности, то, быть можеть, мы не будемъ столь строги къ достигнутымъ за пятьдесять лізть результатамъ нашей общественной работы. При всъхъ неблагопріятныхъ условіяхъ — эта работа крѣпла изъ года въ годъ, и очень большую роль въ этомъ процессъ напряженія общественной воли и въ дълъ развитія самодъятельности сыграла литература, критика и публицистика.

Выразители этой стороны нашей духовной дъятельности разбились на разныя партіи, враждебно другъ противъ друга настроенныя, но всъхъ ихъ объединяло одно стремленіе—увидать въ жизни осуществленіе и оправданіе тъхъ мечтаній, желаній, мыслей и убъжденій, въ которыя они—публицисты, критики и писатели—вложили свою душу. Они понимали свою роль какъ роль активныхъ дъятелей и всъ они стали проводить извъстное направленіе въ жизнь—даже тъ изъ нихъ, которые на словахъ открещивались отъ всякаго направленія.

Съ наступленіемъ эпохи великихъ реформъ художникъ почувствовалъ себя неразрывно связаннымъ съ даннымъ историческимъ моментомъ и со всею повседневной прозой окружавшей его дъйствительности. Не только писатели второго ранга отдали свое творчество въ услужение извъстнымъ "идеямъ", которыя они доказывали или опровергали бытовыми очерками и зарегистрированными своими наблюденіями надъ жизнью, но даже крупные, первоклассные таланты, даже геніи, и тъ стали искать въ жизни подтверждение своимъ этическимъ взглядамъ и общественнымъ идеаламъ. Всъ они стали создавать героевъ, которымъ влагали въ уста свои рѣчи, свои сужденія или стали разв'єнчивать других в героевъ, съкоторыми были несогласны. Напряжение воли цънилось въ этомъ героъ особенно высоко, да и всъ выводимыя на сцену лица рисовались въ постоянномъ движеніи и по всему чувствовалось, что художникъ не стоялъ поотдаль отъ жизни, но находился въ самомъ центръ ея, полный стремленій, желаній, жажды дъйствія, иногда съ совершенно опредъленной программой, которую думалъ провести въ жизнь, возбуждая въ людяхъ эстетическія эмоціи.

Самый бъглый взглядъ на творчество нашихъ крупнъйшихъ писателей шестидесятыхъ и послъдующихъ

годовъ подтверждаетъ эти положенія.

Всѣ больше романы Тургенева—что они такое, какъ не исторія нашего общественнаго движенія съ 1855 года по конецъ семидесятыхъ? Каждое лицо въ нихъ—лицо историческое, иногда идеализированное, но списанное съ натуры, иногда угаданное, но не вымышленное,—лицо, которое дъйствуетъ, живетъ, движется не

по волѣ автора, но волею историческаго, на нашихъ глазахъ развивающагося, процесса. Тургеневъ любилъ называть себя ученикомъ Пушкина, и это вѣрно въ томъ смыслѣ, что изъ всѣхъ нашихъ реалистовъ онъ обнаружилъ наибольшую способность спокойнаго созерцанія жизни. Но для всѣхъ ясно, какое разностороннее пониманіе этихъ программъ и какой широкій интересъ къ нимъ онъ обнаружилъ, когда созерцалъ людей его окружающихъ. Каждый его романъ какъ будто говорилъ: "Вотъ что дѣлается, и вотъ что слѣдовало бы дѣлать, а вотъ отъ чего слѣдовало бы уберечься".

Другой, также очень спокойный по темпераменту писатель—Гончаровъ, и тотъ былъ увлеченъ потокомъ своего дъловитаго времени. Онъ чувствовалъ себя въ немъ не ко двору и писалъ мало. Но когда онъ ръшился наконецъ передълать старый романъ, начатый еще въ сороковыхъ годахъ, и подъ заглавіемъ "Обрывъ" выпустилъ его въ свътъ—въ этомъ романъ оказалось больше "программности", чъмъ художественности. Передъ нами были разныя программы поведенія, и художникъ открыто награждалъ ихъ то одобреніемъ, то поринаніемъ.

Не скрывалъ своихъ общественныхъ взглядовъ и Островскій, и въ своихъ драмахъ попытался прочитать извъстный урокъ. Русская народная душа и ея простая житейская мудрость — вотъ какого героя въ дъйствіи хотълъ намъ показать драматургъ. Въ этихъ ультрареальныхъ сценахъ была передъ нами программа жизни.

Когда такія тенденцій и программы проводились въроманахъ, повъстяхъ, то съ этимъ еще какъ-то мирились. Но когда Некрасовъ сталъ облекать въ стихотворную форму свое тяготъніе къ общественнымъ вопросамъ и поэта-пъснопъвца превратилъ въ бойца за демократическіе идеалы, то, какъ извъстно, поднялась на Парнассъ неописуемая буря. Раздались крики о профанацій "поэзій", и пошелъ нескончаемый споръ о свободномъ искусствъ и о тенденціозномъ. Этотъ споръ лишній разъ доказалъ, какъ въ художникъ вскипала воля въ ущербъ безстрастному созерцанію и хладнокровному мышленію. Наиболъе сильный пъвецъ стараго типа—

Фетъ остался одинъ спокойно на своихъ высотахъ, а его товарищи Майковъ и Полонскій принялись воевать за свободную музу и стали тенденціозны только въ обратномъ смыслѣ, а истинный поклонникъ и жрецъ красоты—Алексѣй Толстой сдѣлалъ въ своемъ творчествѣ большія уступки духу времени и въ фантастическіе образы облекалъ самые повседневные вопросы политики и общественности. Если, сравнивая въ общемъ поэзію гражданскую и поэзію "чистой красоты", мы должны признать, что поэты гражданской скорби дали въ общемъ гораздо менѣе художественно цѣннаго, чѣмъ поэты "незлобивые", то это объясняется простой случайностью: за исключеніемъ Некрасова въ его лагерѣ не было ни одного сильнаго таланта.

Такимъ же нареканіямъ, какъ Некрасовъ, подвергся и Щедринъ-Салтыковъ за профанацію литературы вообще, за превращеніе будто бы искусства въ гаерство и буффонаду. Щедринъ былъ безспорно одинъ изъ нашихъ крупнъйшихъ художниковъ, и если на него такъ ожесточенно нападали, то потому, что никто изъ нашихъ писателей того времени не обладалъ такимъ боевымъ темпераментомъ какъ онъ. Для него художественное творчество было именно дъйствіемъ, непосредственнымъ воздъйствіемъ на окружающую жизнь. Воинственно настроенная воля заставляла его брать перо въ руки, и всъ недочеты его какъ художника объясняются именно этимъ преобладаніемъ сангвиника—общественнаго дъятеля надъ художникомъ-созерцателемъ и мыслителемъ.

Самымъ глубокимъ мыслителемъ художникомъ того времени принято считать Достоевскаго, и несомнънно, что какъ мистикъ, богословъ и философъ онъ—исключительное явленіе, не только въ нашей словесности, но и въ литературт всего міра. Но вмъстъ съ этимъ даромъ глубокаго отвлеченнаго мышленія, природа дала ему темпераментъ настоящаго проповъдника, временами фанатика. Это проповъдничество пропитало насквозь всть его романы, и главные герои его, это—все онъ въ разныхъ лицахъ и положеніяхъ. Христіанинъ, какимъ онъ желалъ быть, онъ все говорилъ о кротости и смиреніи и очень настойчиво подчеркивалъ эти,

какъ онъ увърялъ насъ, національныя наши качества. Въ его душъ была однако достаточная доза нетерпимости и задора и когда ему приходилось не только какъ публицисту, а какъ художнику отстаивать свою религіозную, національную или вообще этическую программу, онъ пользовался художественнымъ словомъ какъ карающимъ мечомъ, и искусство было для него тъмъ же орудіемъ непосредственнаго воздъйствія на умъ, сердце и волю ближняго, чъмъ оно было и для его антипода — Щедрина.

Достоевскаго обыкновенно противопоставляють Толстому, и какъ художника и какъ моралиста. Дъйствительно, эти два нашихъ національныхъ генія обладають совершенно своеобразными пріемами мастерства и ихъ философскіе взгляды на міръ и человъка во многомъ разнствуютъ, но они дъти одного времени, и духовное родство ихъ несомнънно. Оба они проповъдники морали, - личной и гражданской, и для обоихъ эта мораль. ея истинность и возможность ея проведенія въ жизнь дороже того поэтическаго дара, которымъ они от-

мъчены.

Толстой по силъ своего таланта-міровой феноменъ и если о комъ можно сказать, что онъ какъ художникъ способенъ откликнуться на все разнообразіе явленій, съ одинаковой правдой и силой, такъ только о немъ. Его сочиненія дають намъ эту правдивую полноту разнообразія жизни, и между тѣмъ мы видимъ, что именно этотъ неодъненный даръ всепониманія и полнаго воплощенія жизни въ искусствъ-тяготить художника, какъ нѣчто мѣщающее ему направить всъ свои силы туда, куда бы онъ этого желалъ. Душевная трагедія Толстого во многомъ напоминаєть трагедію Гоголя. Излишнее раздумье надъ задачей своего творчества погубило въ Гоголъ художника, постоянная мысль о непосредственной практической пользъ своей дъятельности постоянно портила произведенія Толстого и довела его до откровеннаго признанія въ томъ, что онъ отрекается ото всего, что имъ создано какъ художникомъ. Воздъйствіе на жизнь людскую въ смыслѣ полной реорганизаціи личной и гражданской морали—вотъ въ чемъ Толстой полагалъ свою миссіюи уже въ первыхъ своихъ произведеніяхъ говорилъ объ этой миссіи устами разныхъ героевъ. Затъмъ онъ всю жизнь велъ борьбу со своимъ талантомъ, навязывая ему доказательство извъстныхъ этико-религіозныхъ положеній. Только благодаря тому, что этоть талантьколоссальной силы, онъ не сломился подъ этимъ напоромъ морали и до послъдняго дня остается силенъ и свѣжъ въ тѣ рѣдкіе часы, когда художникъ предо-

ставляетъ ему полную свободу.

Итакъ, нътъ сомнънія, что съ наступленіемъ новой исторической эры, психика художника обогатилась и въ его искусство стало вторгаться то волевое, активное начало, которое дълало писателя сторонникомъ извъстной этической и общественной программы и заставляло его цънить въ своихъ герояхъ всего больше ихъ склонность и способность къ дъйствію. Художникъ-по преимуществу созерцатель, занятый почти исключительно своими ощущеніями, впечатлівніями, своими чувствами, равно какъ и художникъ, по преимуществу раздумывающій надъ смысломъ явленій, въ сторонъ отъ которыхъ онъ стоитъ, и унывающій и разачарованный въ своемъ раздумьи-этотъ художникъ стараго времени и типа уступалъ теперь свое мъсто другому, которому, конечно, нельзя отказать ни въ способности чувствовать, ни въ склонности размышлять, но который однако всегда въ лицъ своихъ героевъ защищалъ и оправдывалъ или отвергалъ и отрицалъ какую-нибудь программу дъйствія и поведенія, вызванную потребностями современной минуты.

Можно спросить однако, не есть ли эта защита извъстныхъ программъ и направленій возвратъ къ прежней субъективности? Въдь всякій писатель съ опредъленнымъ направленіемъ всегда защитникъ своего субъ-

ективнаго міропониманія.

Какъ же эта новая форма субъективнаго отношенія художника къ своему матерьялу отразилась на искусствъ? Осталось ли въ полной силъ то реальное направленіе, которое съ конца сороковыхъ годовъ утвердилось въ нашей литературъ?

Оно осталось въ полной своей силъ благодаря тому, что то, что мы называемъ направленіемъ художника и

его программой, не было, какъ прежде, на въру принятой любезной мечтой, непровъренной фактами или теоріей, заранъе составленной въ умъ и приноравляемой къ жизни. Этотъ старый субъективизмъ отошелъ въ прошлое, и не собой интересовался и любовался теперь художникъ. Программу жизни и направленіе онъ вычитывалъ изъ самой жизни; онъ кропотливо собиралъ мельчайшіе факты жизни, изучаль ихъ соотношеніе и сцъпленіе, онъ слъдилъ за людьми въ жизни, наблюдалъ ихъ во всъхъ самыхъ прозаическихъ обстановкахъ, вникалъ въ ихъ психологію даже когда она совсъмъ не совпадала съ его личной; онъ забывалъ себя, когла рисовалъ эти типы: онъ хотълъ чтобы его произвеленіе всецъло покрывалось жизнью, однимъ словомъ, какъ художникъ онъ былъ реалистъ самый послъдовательный и убъжденный. Онъ хотълъ только, чтобы сама жизнь свидътельствовала о правотъ его взглядовъ и сама своимъ естественнымъ развитіемъ доказывала законность и торжество того направленія, котораго держался писатель, той программы, которую онъ развиваль. Стремясь быть реальнымъ и объективнымъ, художникъ изо всѣхъ силъ старался спрятать себя самого за спиной кого-нибудь изъ действующихъ лицъ его романа или повъсти, но, конечно, эту роль онъ не выдерживалъ и начиналъ говорить отъ своего имени. Но такой субъективизмъ нисколько не нарушалъ правдивости и широты той реальной картины, которую рисоваль художникъ.

На обозрѣніи творчества нашихъ художниковъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ можетъ быть законченъ общій очеркъ развитія нашей художественной словесности. Со смертью Достоевскаго (1881), Писемскаго (1881), Тургенева (1883), Островскаго (1887), Щедрина (1889), Гончарова (1891), съ окончательнымъ поворотомъ Л. Толстого на путь чистой проповѣди закончился, если такъ можно выразиться, золотой вѣкъ нашей словесности. Новыхъ талантовъ, равныхъ по силѣ старымъ,—съ тѣхъ поръ не появлялось. Это была, конечно, печальная случайность. Что же касается литературнаго движенія самыхъ послѣднихъ лѣтъ, то время для его исторической оцѣнки еще не наступило. Ко всякой попыткѣ разобраться въ немъ, авторъ неизбѣжно примѣшаетъ большую дозу личныхъ вкусовъ и симпатій, а имъ не мѣсто въ книгѣ, предназначенной для самообразованія.

XI. Книги для чтенія.

Для достиженія той ц'али, которую себ'є ставитъ эта книга, громоздкое чтеніе совс'ємъ не нужно. Д'ало идетъ не объ изученіи ц'алой литературной эпохи, даже не объ изученіи отд'альныхъ крупныхъ писателей, а только лишь о самомъ общемъ знакомств'є съ первыми годами развитія русской изящной словесности. Своимъ читателямъ авторъ хот'алъ лишь дать почувствовать красоту изв'єстныхъ художественныхъ произведеній и помочь имъ разобраться въ психик'ъ художника Александровской эпохи. Ему хот'алось приблизить людей той эпохи къ читателю, дать ему возможность пережить изв'єстныя настроенія и ввести его въ кругъ изв'єстныхъ мыслей.

Если бы читатель пожелаль—что весьма желательно провърить выводы книги, то списокъ необходимыхъ источниковъ для этой провърки былъ бы не лишнимъ.

Необходимо подобрать такія книжки, въ которыхъ люди тѣхъ годовъ жили бы на глазахъ читателя... Біографіи и изслѣдованія въ достиженіи этой цѣли мало помогутъ. Изслѣдованія и біографіи необходимы для дальнѣйшей работы, и читатель найдетъ всѣ указанія на такія книги въ программахъ для самообразованія. (Какъ напр., "Программы чтенія для самообразованія" Спб., 1905, 5-е изданіе).

Чтобы получить бол'ве интимное понятіе о "духъ" той литературной эпохи, о которой мы говорили, для

этого, конечно, прежде всего необходимо весьма внимательное чтеніе всъхъ указанныхъ нами литературныхъ памятниковъ. Это не значитъ, что читатель обязанъ взять полное собраніе сочиненій поименованных ваторовъ и начать читать съ первой страницы. Такъ напр., изъ полнаго собранія сочиненій Грибо і дова и Крылова можно ограничиться только одной комедіей "Горе отъ ума" и "Баснями". Изъ стихотвореній Батюшкова, Языкова и Веневитинова вполнъ достаточно того, что приведено въ нашей книгъ. Стихи Рылъева нужно дополнить указанными въ книгъ. "Думами" и "Войнаровскимъ" Баратынскаго, въ виду особой глубины его мысли и красоты формы, авторъ рекомендовалъ бы прочитать всего, не забывая однако о томъ, что лучшее, что имъ написано, относится не къ Александровской эпохъ. Изъ стихотвореній Жуковскаго необходимо сдълать выборъ *).

^{*)} Тақъ қақъ стихотворенія Жуковскаго-цълая литературная хрестоматія, то авторъ рекомендовалъ бы не жалъть времени на чтеніе произведеній Жуковскаго, и предложиль бы такой выборъ въ хронологическомъ порядкъ (по изданію Маркса, редактированному проф. Архангельскимъ): Сельское кладбище 1802. Людмила 1808. Кассандра 1808. Моя богиня 1809. Путешественникъ 1809. Свътлана 1809. Двънадцать спящихъ дъвъ 1810-1817. Пловецъ 1811. Жалоба 1811. Желаніе 1811. Півецъ въ стані 1812. Пустынникъ 1812. Адельстанъ 1813. Ивиковы журавли 1813. Уединеніе 1814. Баллада, въ которой описывается какъ одна старушка... 1814. Варвикъ 1814. Алина и Альсимъ 1814. Эльвина и Эдвинъ 1814. Ахиллъ 1814. Эолова арфа 1814. Теонъ и Эсхинъ 1814. Стансы 1815. Пъсня бъдняка 1816. Мщеніе 1816. Гаральдъ 1816. Три пъсни 1816. Овеяный кисель 1816. Красный карбункулъ 1816. Деревенскій сторожъ 1816. Утъшеніе въ слезахъ 1817. Рыцарь Тоген-бургъ 1818. Върность до гроба 1818. Горная дорога 1818. Лъсной царь 1818. Невыразимос 1818. Утъшеніе 1818. Жизнь 1819. Узникъ 1819. Три путника 1820. Пери и Ангелъ 1821. Шильонскій узникъ 1821. Замокъ Смальгольмъ 1822. Море 1822. 19 марта 1823. "Я музу юную бывало" 1824. Таинственный посътитель 1824. Торжество побъдителей 1828. Сидъ 1831. Кубокъ 1831. Перчатка 1831. Неожиданное свиданье 1831. Поликратовъ перстень 1831. Жалоба Переры 1831. Доника 1831. Судъ Божій надъ епископомъ 1831. Замокъ на берегу моря 1831. Алонзо 1831. Ленора 1831. Покаяніе 1831. Королева Урака 1831. Дъб были и еще одна 1831. Пери 1831. Сраженіе со зм'ємъ 1831. Сказка о цар'є Беренде 1831. Война мышей и лягушекъ 1831. "Въ долину къ пастырямъ смиреннымъ" 1831. Судъ въ подземельъ 1832. Роландъ-оруженосецъ

Въ виду особаго историческаго значенія, какое имъютъ типы Чацкаго и Онъгина, было бы желательно ознакомиться съ тъмъ, что по поводу этихъ типовъ говорила наша критика. Въ ней есть изсколько очень цѣнныхъ статей, которыя помогли бы читателю согласиться или не согласиться съ тъмъ толкованіемъ, какое дано этимъ типамъ въ нашей книгъ. Изъ литературы, посвященной разъясненію типа Онъгина, должно указать на: Бълинскій послѣдняя глава VIII тома его сочиненій: "Сочиненія А. С. Пушкина". Сиповскій, В. "Онъгинъ, Татьяна и Ленскій" (статья эта пом'вщена въ книгъ В. Сиповскаго "Пушкинъ; жизнь и творчество" Спб. 1907. цъна 3 р. 50 к. Рекомендуемъ эту книгу какъ лучшую для перваго ознакомленія съ біографіей и исторіей творчества Пушкина). В. Ключевскій, "Евгеній Онъгинъ и его предки", "Русская Мысль" 1887 г. Февраль. Д. Овсянико-Куликовскій, Исторія русской интеллигенціи. Томъ I. Авджевъ, Наше общество въ герояхъ и героиняхъ (книга очень элементарная, но съ хорошей исторической перспективой). Изъ литературы о Чацкомъ надо знать слъдующія статьи: Бълинскій, статья "Горе отъ ума". Гончаровь, "Мильонъ терзаній". Алексти Веселовскій, "Альцестъ и Чацкій" въ книгѣ "Этюды и характеристики". Суворинъ, А. Предисловіе къ изданію "Горе отъ ума" 1886 года (самая лучшая защита "Горе отъ ума" какъ "комедіи"). Указанныя книги Авдъева и Д. Овсянико-Куликовскаго.

Когда читатель ознакомится съ художественными памятниками литературы александровской эпохи и съ

указанными критическими статьями и книгами, авторъ рекомендоваль бы ему удълить время на чтеніе памятниковъ литературы иностранной, на которой воспитывались всѣ наши художники того времени. Безъ ознакомленія съ литературой западной нельзя себѣ составить правильнаго понятія о поэтическомъ кругозорѣ нашихъ художниковъ. Во многихъ случаяхъ западная словесность объяснитъ намъ ихъ психику лучше, чѣмъ данныя общественной и политической жизни ихъ времени. Въ тотъ періодъ своего развитія, о которомъ мы говорили, наши художники чувствовали себя въ мірѣ мечты ловче и пріятнѣе, чѣмъ въ мірѣ реальныхъ фактовъ, а этотъ міръ поэтическихъ образовъ открывался имъ въ творчествѣ западныхъ поэтовъ, древнихъ и новыхъ.

Поставить границы, въ какихъ для нашей цъли должно ознакомиться съ западной словесностью—крайне

трудно. Здъсь всякій излишекъ-всегда выгода.

Первое, о чемъ должно себъ составить хотя бы самое общее представленіе, это—словесность античная. Художникъ александровскаго времени очень любилъ античный міръ и зналъ хорошо его литературу. Нельзя сказать, чтобы онъ вполнъ освоился съ ея духомъ, нельзя забывать также, что "античное" онъ иногда получалъ изъ вторыхъ — французскихъ и нъмецкихъ рукъ, —но образы античной фантазіи и исторіи были всегда живы въ его памяти. Они служили ему готовой внъшней формой для выраженія многихъ настроеній — и веселыхъ и печальныхъ.

Знакомство читателя съ античной словесностью могло бы ограничиться слъдующими ея характерными памятниками: Иліадой (въ переводъ Н. Гнъдича. Съ Одиссеей читатель ознакомится въ переводъ Жуковскаго), Драмами: "Скованный Прометей" Эсхила, "Эдипъ-царь" и "Антигона" Софокла. "Вакханки", "Медея" и "Ипполитъ" Эврипида, "Одами" Горація, "Сатирами" Ювенала,

"Метаморфозами" Овидія.

Наряду съ этими образцами греко-римской словесности большое воспитательное значеніе для нашего художника им'єла литература французская "классическаго" періода. Она въ большомъ количеств'є входила въ про-

^{1832.} Рыцарь Роллонъ 1832. Братоубійца 1832. Старый рыцарь 1832. Уллинъ и его дочь 1833. Элевзинскій праздникъ 1833. Ночной смотръ 1836. Сельское кладбище 1839. Маттео Фальконе 1843. Капитань Боппъ 1843. Выборъ креста 1845. "У сына Франціи" 1849. Царскосельскій лебедь 1849. Орлеанская Дѣва 1821. Разрушеніе Трои 1822. Ундина 1836. Камоэнсъ 1839. Наль и Дамаянти 1841. Рустемъ и Зорабъ 1847. Одиссея 1849. Странствующій жидъ 1850-2. Ознакомиться съ поэзіей Жуковскаго только по тѣмъ стихотвореніямъ, которыя написаны Жуковскимъ въ Александровское царствованіе, конечно, можно, но такъ какъ поэзія Жуковскаго не мѣняла своего настроенія и міросозерцанія за всю его жизнь, то лучше всего изучить ее по самымъ сильнымъ гобразцамъ, а ихъ далъ Жуковскій въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ.

грамму, и домашняго, и школьнаго образованія. Для самаго общаго ознакомленія съ этой литературой надо превозмочь І. art роетіque Буало и прочитать трагедіи Корнеля: "Сидъ", Расина: "Говолія" "Эсфирь" "Андромаха" "Федра" "Титъ и Вероника" и Вольтера: "Заира" и Танкредъ". Англійская старая литература имъла у насъ немногихъ поклонниковъ и если читатель знакомъ съ Шекспиромъ, то остальныхъ онъ можетъ обойти.

Еще большее значене, чѣмъ знакомство съ этими старыми образцами литературы, имѣетъ знакомство съ тѣми памятниками иностранной словесности, которые были для нашихъ писателей александровской эпохи новинками или почти новинками дня. Нѣкоторые изъ нихъ были съ большой примѣсью сатирической соли,

другіе строго сентиментальнаго типа.

Чтобы назвать изъ нихъ лишь главнъйшія, знакомство съ которыми весьма желательно, укажемъ "Мысли" Ларошфуко, романы Вольтера, "Новую Элоизу" и "Эмиля" Руссо (читать сплошь эти многотомныя сочиненія Руссо—трудно. О нихъ достаточно навести справки въ сочиненіяхъ, посвященныхъ Руссо, какъ напр., у Гетнера и Морлея. "Исповъдь Савойскаго священника" изъ "Эмиля" прочитать нужно), "Павелъ и Виргинія" Бернардена-де-Сенъ-Пьерра, "Сентиментальное путешествіе" Стерна и "Афоризмы" Шамфора.

Всѣ эти весьма крупныя по своей литературной цѣнности произведенія XVIII вѣка имѣли въ началѣ XIX вѣка прямое и живое вліяніе на нашихъ писателей. Изъ этихъ сочиненій, съ добавленіемъ философскихъ и политическихъ трактатовъ, Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескье и другихъ, наши писатели вычитывали свою мудрость по вопросамъ религіи, этики и политики.

Что касается нъмецкой литературы конца XVIII въка, то ея неисчислимыя богатства находили себъ у насъ малыхъ и—за ръдкими очень исключеніями — неглубокихъ цънителей въ александровское царствованіе. Жуковскій и московскіе шеллингисты пожалуй одни знали имъ настоящую цъну. Большинство было знакомо съ нъмецкой литературой больше по наслышкъ. Это обстоятельство однако не можетъ избавить читателя отъ не-

обходимости ознакомиться съ тѣми памятниками классической нъмецкой литературы, которые котя бы въ видъ смутныхъ образовъ тревожили фантазію нашихъ писателей того времени. "Лирическія стихотворенія "Гете, его "Вертеръ", "Эгмонтъ", "Тассо" и "Германъи Доротея" упоминаются въ тогдашней критикъ чаще другихъ его произведеній. "Фаустъ" не нашелъ еще тогда достойной оцънки. Шиллера любили больше, чъмъ Гете, и его драмы и баллады имъли ревностныхъ поклонниковъ. Лирика Шиллера довольно полно представлена въ поэзіи Жуковскаго, а съ драмами (за исключеніемъ "Орлеанской Дъвы", переведенной Жуковскимъ) надо ознакомиться въ новъйшихъ переводахъ. Въ драмахъ цънилось не только ихъ художественное совершенство, но и ихъ политическая тенденція, и въ этомъ смыслів на "Разбойниковъ", "Фіэско", "Коварство и любовь" и "Донъ-Карлоса" должно обратить особенное внимание. Къ этимъ произведеніямъ нъмецкихъ "классиковъ" надо добавить одно сочинение, вышедшее изъ школы нъмецкихъ романтиковъ, и пользовавшееся большимъ почетомъ у московскихъ философовъ.

Это былъ трактать объ искусствъ въ формъ повъстей и разсужденій, принадлежавшій перу рано умершаго Вакенродера подъ заглавіемъ "Размышленія отшельника, любителя изящнаго", 1826. (Книга, къ сожальнію, очень ръдкая, которую слъдовало бы переиздать

или перевести вновь).

Переходя наконецъ къ тъмъ памятникамъ иностранной словесности, которые для писателей александровской эпохи были настоящими новинками — затрудняешься въ ихъ выборъ, такъ какъ несомнънно, что все выдающееся, въ особенности во французской, и англійской литературъ, вращалось на нашемъ литературномърынкъ. Укажемъ лишь на самыя выдающіяся произведенія, которыя оставили ясный слъдъ на нашей словесности.

Къ числу такихъ должны быть отнесены прежде всего памятники ранняго французскаго романтизма, а именно повъсти Шатобріана "Рене" и "Атала", романъ М-те де-Сталь "Коринна", повъсть Бенжамена Констана "Адольфъ" и разсказъ Нодье "Жанъ Сбогаръ". Эти

памятники надо знать, такъ какъ на нашъ "романтизмъ" они сильно повліяли.

Но главное вліяніе на этотъ "романтизмъ" оказалъ, какъ извъстно, Байронъ и потому чъмъ глубже будетъ знаніе этого писателя, тъмъ яснъе и туманности

нашего "романтизма".

Въ настоящее время вышло подъ редакціей С. А. Венгерова полное собраніе сочиненій Байрона въ русскомъ перевод'є, снабженное обширными вводными статьями историко-литературнаго характера. Это изданіе значительно облегчаетъ работу, такъ какъ въ немъ сведены выводы всей обширной литературы о Байрон'ъ. Само собою разум'єтся, что читать полностью вс'є сочиненія Байрона было бы для нашей ц'єли излишне. Надо остановиться на т'єхъ произведеніяхъ, которыя характерны для самого Байрона и на такихъ, которыя у насъ въ Россіи им'єли наибольшее распространеніе.

Ограничиться можно слѣдующимъ: "Гяуръ" "Абадосская невѣста", "Корсаръ", "Лара", "Осада Кориноа", "Манфредъ", "Каинъ", "Сарданапалъ" и первыя четыре главы "Донъ Жуана". "Чайльдъ Гарольда", о которомъ такъ много говорилось въ Россіи, читать въ настоящее время очень трудно, и чтеніе самого памятника можно замѣнить статьей, которая въ русскомъ

изданіи ему предшествуєть.

Изъ остальныхъ англійскихъ поэтовъ (одного изъ сильнъйшихъ Шелли мы тогда просмотръли) хорошій выборъ данъ онять-таки въ переводахъ Жуковскаго.

Нъмецкіе писатели двадцатыхъ годовъ были намъ мало извъстны за исключеніемъ тъхъ, которыхъ переводилъ опять таки Жуковскій.

Для цъли, которую мы себъ поставили и которая сводится къ тому, чтобы при возможно большей экономіи времени возможно полнъе ознакомиться съ нашей художественной словесностью въ первые годы ея роста, — чтеніе самихъ памятниковъ кажется намъ важнъе чтенія книгъ о нихъ. Всъ памятники

русской словесности, которые на нашъ взглядъ имъютъ безспорную художественную стоимость, мы перечислили. Указали также на тъ образцы западнаго художественнаго творчества, которые стоятъ въ тесной связи съ ними. И мы думаемъ, что безъ знакомства съ этими иностранными памятниками оцънка русскаго художественнаго творчества тахъ годовъ будетъ неполна и не совствить правильна. Поставленная рядомъ съ западной наша литература въ нъкоторыхъ своихъ сторонахъ проиграетъ (напр., въ смыслѣ идейности и широты общественныхъ интересовъ), но зато рельефно выступить наружу и ея сила, — сила нарождающагося художественнаго творчества, но уже своеобразнаго, и самобытнаго. Національныя краски нашего таланта хорошо вырисовываются, когда за ними виденъ яркій фонъ западнаго творчества. На этомъ сверкающемъ фонъ онъ не тонутъ даже въ ранніе годы нашего литературнаго развитія.





ОГЛАВЛЕНІЕ.

		one syllaporoasin we accompanie amen gold crp.	
Пре	едисл	овіе	
		Когда родилась наша изящная словесность 1	
"	II.	Жуковскій 27	
"		Ранніе годы Пушкина 57	
27	IV.	Первые художественные ростки русскаго	
		романтизма	,
22	V.	Примиреніе съ жизнью	
"	[VI.	"Плеяда"	1
22	VII.	Сатира	,
"	VIII.	"Горе отъ ума"	-
99	IX.	"Евгеній Онъгинъ" 210	,
"	X.	Общій обзоръ	
22	XI.	Книги для чтенія 268	,



